А. АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО

ТЕАТР ИОСИФА СТАЛИНА



А.АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО

ТЕАТР ИОСИФА СТАЛИНА

«ГРЭГОРИ-ПЭЙДЖ»
МОСКВА
1995

Разработка оформления
Столбов Ю. П.

Художник
Баталов И. Г.

ISBN 5-900493-15-6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Можно ли рассматривать историю общества как сквозное театральное действо? Правомерно ли, рисуя портреты властителей, будь то Нерон или Карл Великий, Наполеон или Мао — снимать с этих лиц маски вместе с гримом? Автор надеется, что на эти вопросы ответит его книга.

История ее создания и появления в свет драматична и запутана, как само наше время. Первая публикация — своеобразный зародыш книги — прорвалась в 1988 году в журнале «Театр». Готовилась она в секрете от многих членов редколлегии и состоялась вопреки негативному отзыву цензуры. В редакции побывал представитель Лубянки, он выразил недовольство своего ведомства деятельностью автора, издавшего за рубежом «Портрет тирана».

В следующем году тот же журнал опубликовал очерк «Театр в Зоне Малой», и тогда созрел план создания книги. Более двух лет продержали рукопись в одном московском издательстве, отдали, наконец, в печать в Минск. Там она застряла еще на полгода и попала в... Румынию. А там типография пострадала во время уличных беспорядков, но рукопись не погибла. После этого дело заглохло, чем в наши дни уже никого не удивишь.

Эта книга-памфлет позволяет по-новому, через театральный бинокль рассмотреть горестное прошлое. Представления шли в Кремле и в колхозах, на партийных съездах и судебных процессах, на дипломатических раутах и в лагерных зонах. Бесчисленные спектакли слились в единое театральное представление — от Днестра до Колымы...

Этот политический театр зародился при Ленине, но именно Сталин превратил его в универсальное орудие оглупления народа и внедрения массового психоза, выработав особые каноны, регламент и стиль. В процессе становления театра расцвел талант Сталина-драматурга, режиссера, актера. На всем, что происходило в стране, лежит печать многоликого лицедея. Перед автором, прошедшим школу лагерного театра, Сталин предстал и в другой ипостаси — Мецената-экзекутора.

Новая книга продолжает тему, развитую в двух первых — «Портрет тирана» и «Лаврентий Берия». Кому-то угодно уподобить разоблачение Системы краткосрочной политической кампании. Но в таком деле останавливаться нельзя. Наша обязанность — будить память старших поколений и воспитывать в молодых свободолюбие и человеческое достоинство.

Но может быть после смерти главного героя пришел конец его театру. Ведь похороны Сталина — это последний спектакль на московской сцене. Последний? Нет, этому театру суждена долгая жизнь. Десятилетиями складывались традиции сталинского театра: всеохватная лживость, внедрение стандартных чувств и мыслей, сусальная помпезность на фоне неусыпной политической демагогии. Последыши зачинателя, все эти хрущевы, брежневы и прочая, прочая, не создали ничего нового ни на кремлевской сцене, ни за ее пределами. Партийная номенклатура по сей день пользуется закоснелыми театральными штампами. И когда очередной вождь с провинциальной неуклюжестью меняет маски, пытаясь обмануть зрителей — своих и зарубежных — ему приветственно машет рукой с Мавзолея Тот, кому он подражал с младых ногтей.

Автор выражает глубокую признательность
Евгению Михайлову-Длугопольскому
Михаилу Писареву
Гелию Некрасову
Вячеславу Лурье
Вадиму Ясному
Инне Левитан

Их бесценная помощь в работе над книгами о Сталине и Берия отличает высокий профессионализм и самоотверженность. Сотрудничая со мной в период до 1985 года, они рисковали своим благополучием и самой свободой.

Антон Антонов-Овсеенко.

Театр
Иосифа
Сталина

ОН БЫЛ НЕОТРАЗИМ

Искуситель

Осень 1936 года. Прокурор Российской Федерации Владимир Александрович Антонов-Овсеенко пришел домой радостный, взволнованный.

— Еду в Испанию! Я был у Сталина. Это необыкновенный человек. Какая концентрация воли и ума... Какая колоссальная энергия!

В Барселону генеральный консул уезжал обласканный, унося в сердце образ обаятельного человека, прозорливого Вождя.

Мария Александровна Иоффе, вдова известного революционера и дипломата Адольфа Абрамовича Иоффе, рассказывает:

«Сталина мы видели часто. Мы встречались с ним на премьерах Большого театра, на которые администрация бронировала нам места в ложе. Сталин обычно появлялся в окружении приближенных. Среди них были Ворошилов и Каганович... Он держался как открытый, душевный собеседник, был чрезвычайно общителен и дружески настроен, но во всем этом не было ни единой искренней нотки.. В общем, Сталин был актером редкого таланта, способным менять маски в зависимости от обстоятельств. Одна из его любимейших масок — простой, добрый парень без претензий, не умеющий скрывать своих чувств».

Со временем лицемерие стало его второй натурой.

Бывал ли он когда-нибудь правдивым, искренним? Разве что в приступе неутолённого садизма, когда приказывал «бить, бить, бить!» упорствующего на следствии «врага народа», вчерашнего верного подручного. Или у могилы убиенной супруги.

На другой день после гибели Надежды Аллилуевой Сталин участвовал в заседании Политбюро. Выглядел Он потрясенным, лицо будто почернело, плечи бессильно опустились. Генсек играл безысходную скорбь, он ни разу не поднял глаз на своих соратников. Обычно в своем кабинете, или за ночным ужином, или за столом президиума — он пронзал каждого тяжелым, взыскующим взглядом.

Была у Сталина одна сквозная роль, с которой он никогда не расставался, роль ленинца-ортодокса. Современникам запомнилось всего несколько случаев, когда кремлевский лицедей пренебрег этой ролью. Однажды Федор Раскольников, прибывший из Кабула, где он служил полпредом, рассказал генсеку о внезапной гибели лидера оппозиции, который метил на пост главы государства. Его убрали. «Вот так надо кончать политические дискуссии...» — заметил Сталин.

Достигнув абсолютной власти над подданными, он мог позволить себе подобные откровения, Иосиф Сталин.

Он мнил себя «русским интеллигентом» и считал обязательным вставлять в доклады и речи мудрые русские пословицы. Этой манере он не изменял и в самые трагические моменты войны. Выступая с докладом на торжественном собрании

в канун 26 годовщины Октября, Сталин «вспомнил» старую пословицу «кому на войне достанутся пироги и пышки, а кому придется делить синяки и шишки».

Вождь скоморошничал, публика смеялась, на полях сражений лилась кровь.

Генсек пробавлялся не одними русскими пословицами. Готовясь к беседе с учеными, он выбирал соответствующие случаю мудрости, вроде вот этой: «Учение — семена знаний, а знания — семена счастья».

Грузинский тамада всегда держит в запасе свежий анекдот, интересную байку, меткую пословицу. На своих знаменитых дачных сатурналиях Сталин брал на себя иногда приятные обязанности тамады, но ведь, в сущности, он был непременным тамадой на всех игрищах, будь то заседание Политбюро или съезд партии. Разве не он вёл эти представления, разве не он определял субординацию выступавших? Его можно без всякой натяжки назвать Всесоюзным Тамадой.

Оратор он был никудышный. В год Революции его на митингах не видели. Но потом, особенно после смерти Ленина, он уже не желал уступать таким лидерам, как Троцкий или Зиновьев. Сталин набирался опыта, и уже в 30-е годы научился владеть любой аудиторией, выработав свой, ему одному присущий стиль. Прежде всего жест. Он должен быть скупым. Ведь вот как Василий Качалов играет!.. Какие благородные жесты, позы. А читает? Целое стихотворение прочтет и только раз рукой двинет. Зато как!.. Политический деятель, а вождь в особенности, должен это учитывать, если не хочет показаться смешным. Киров этого не понимал, то и дело воздевал руки к небу.

Ни к чему это. Не того ранга личность была. Выскочка...

А взять этого бесноватого «фюрера» — то, разглагольствуя, одну руку поднимет, а другую опустит, будто семафорит, то обе руки выбросит вперед, сжав кулаки. Карикатура, да и только...

Сталин решил ограничиться позой благородного достоинства — одну руку за борт френча, корпус неподвижен, голова все время прямо, чуть поднята,— просто и величественно. Никаких порывистых движений, никакой торопливости. Торопится только человек, неуверенный в себе. И смеяться ни к чему. В нашу, то есть в мою великую эпоху не до смеха. Это время борьбы и побед. Можно позволить себе иногда улыбку, снисходительно-одобрительную полуулыбку — и всё. Оставим смех комедиантам. Вождю, если он настоящий Вождь, смех не к лицу.

Многоликий комедиант, он с поразительной легкостью перескакивал из одного амплуа в другое... Жесткие манеры, решительный взгляд властителя, едва прикрытый благожелательными репликами на заседании Политбюро... В Горках, в 1922 году, сидя рядом с Лениным, уже замыслив злодейство, товарищ Коба играл роль его ученика и верного друга... Вальяжные позы, приятная улыбка в обществе писателей... Мудрость государственного мужа, разливанная доброта и предупредительность в беседах с иностранцами. Щедрый на посулы, но жадный до чужих земель партнер глав союзных держав Дядюшка Джо... Резкость, непримиримая вражда в перемешку с ерничаньем в политических схватках... Оригинальный философ, ниспровергатель авторитетов (с ухватками

зауряд-фельдфебеля) — на дискуссиях с учеными... Рачительный хозяин, рубаха-парень, выпивоха себе на уме — на ночных пирушках в кругу соратничков, скованных пытливым взглядом рысьих глаз... Умудренный боевым опытом стратег, оживший монумент Великого Полководца — в присутствии маршалов и генералов... Добродушно-лучезарная улыбка, родственный жест руки, открытость, простота,— образ Отца Народов на трибуне мавзолея.

Известный режиссер Николай Охлопков в стремлении помочь своему театру принял пост заместителя министра культуры. Его спросили:

— Как же вы решились на такое?

— А что, я ведь по ходу спектакля и царей играл...

Сталин тоже играл роль монарха, но в отличие от Охлопкова он и был царем.

В 1935 году Ромен Роллан записал в своем дневнике: «Мне не удается найти согласия между Сталиным, который позавчера беседовал со мной в Кремле и Сталиным, который подобно римскому императору в течение 6-ти часов наслаждался своим апофеозом... Сталин как бы смущенный, стесняющийся, прячущийся, но в то же время демонстрирующий себя. Какое удовольствие получил бы Шекспир, изображая двух этих Цезарей, двух Сталиных, слитых в одном человеке!» Случись необходимость, этот человек мог бы выступить с программой «Театр одного актера». Но успех ожидал Сталина только у неискушенного зрителя, ибо его игра была поверхностной, изобиловала штампами. До высот внутреннего перевоплощения ему добраться было не дано. Впрочем...

Случается в игре актера, даже весьма опытного, не теряющего самоконтроль в самых ответственных сценах, что он поверит в реальность происходящего. Нечто подобное происходило со Сталиным. Он так умело, так усердно нагнетал атмосферу всенародного поклонения, что порой ощущал себя божеством, приносящим человечеству мир и благоденствие. В такие минуты Отец Народов говорил о себе в третьем лице: «Товарищу Сталину об этом уже известно». Или: «Товарищ Сталин об этом успел позаботиться». Или: «Что, товарища Сталина хотели убить?!»

Иногда генсек надевал маску скромного партфункционера, подвластного какой-то высшей силе.

...Молотов никак не решался спросить Сталина, почему арестовали его жену, Полину, а когда отважился, получил полушутливый ответ:

«Понятия не имею, Вячеслав, о н и и моих родственников всех пересажали...»

В 30-е годы большим доверием Сталина пользовался редактор «Известий» Иван Михайлович Гронский. Он присутствовал постоянно на заседании Политбюро, общался с генсеком по кремлевской вертушке, установленной в кабинете и дома. Если Гронский докладывал Сталину о важной проблеме, о частной просьбе деятеля культуры или ученого, Хозяин спрашивал Ивана Михайловича, что он сам полагает нужным предпринять? И, выслушав предложение советника, говорил: — Передайте ему (наркому или секретарю ЦК, обкома) соответствующее указание от своего и моего имени...

Высокообразованного, весьма проницательного Гронского покоряли скромность и доброжелатель-

ность Сталина. В соединении с большевистской принципиальностью эти черты характера составляли портрет замечательного политического деятеля, достойного Вождя.

...Иван Михайлович дожил до девяноста лет и незадолго до кончины заметил с горечью в голосе:

— А ведь мы любили Его, Антон Владимирович.

«Театр — это цепь разумных компромиссов». К театру Сталина этот афоризм Немировича-Данченко неприменим. Если на подходе к абсолютной власти генсек еще допускал компромиссы с конкурентами, то став непререкаемым, действовал соответственно своему новому статусу. И еще одно высказывание Немировича-Данченко менее всего беспокоило Сталина: «На сцене ничего не может быть чересчур, если это верно». Кремлевский лицедей постоянно переигрывал, пользуясь одними и теми же штампами — в слове, мимике, жесте, походке. Сценический успех у невзыскательной публики был предопределен. А у взыскательной?

Склонность Сталина к лицедейству и мистификациям проявилась и в общении с лидерами союзных государств. В августе 1942 года, во время первого визита Уинстона Черчилля в Москву, Сталин спросил его о сроках предполагаемого открытия второго фронта. Премьер-министр Великобритании обещал ускорить высадку десанта союзников на побережье Германии. И Сталин, облегчённо вздохнув, перекрестился. Пусть Черчилль думает, что имеет дело с набожным пастырем великого народа...

...На Ялтинской конференции в феврале 45-го, при обсуждении послевоенного устройства Польши, Рузвельт предложил, не откладывая, здесь же сконструировать польское правительство.

— Этого делать нельзя,— возразил Сталин, встав в позу оскорблённого в лучших чувствах убеждённого демократа.

— Мы невправе назначать министров, да ещё и без участия самих поляков!

Неужто партнёры по тройственному союзу, искушённые политики, поверили в искренность устроителя катынского побоища?

Всё возможно, всё возможно...

Начинал он в роли бунтаря. Обидно обделённый природой, лишенный родительской любви, он вырос озлобленным люмпеном, завистливым, жестоким. И вышел на политическую сцену в роли ниспровергателя самодержавия.

Не прошло и десяти лет после падения царизма в феврале 1917 года, как Сталин делает первые попытки выступить в роли нового самодержца всея Руси. И закрепляет за собой эту роль навсегда — но уже в иных исторических декорациях.

Он обладал сильным волевым полем, умело воздействовал на собеседников. В напряжении этого агрессивного поля он держал своих подручных — министров и генералов, писателей и ученых, мелких партчиновников и членов придворного политбюро. Вот он размеренными, значительными шагами входит в зал заседаний, надев

маску Вождя, наэлектризованные участники действа на мгновение замирают, потом взрываются восторженными воплями. Лишенный импозантности и артистизма, банальный, примитивный фигляр, чем он привораживал публику?.. Этот феномен можно назвать феноменом Диктатора, особым театральным эффектом. Или объяснить гипнотическим свойством натуры,— суть останется неизменной. Сталин подавил волю и сознание всех подданных, ближних и дальних. И когда он на склоне лет взял на себя роль Божества, народ и это представление принял всерьез...

К пятидесяти годам Сталин был убежден, что вполне созрел для выхода на международную сцену. Дебют прошел удачно. На Юджина Лайэнза, посетившего Кремль в конце ноября 1930 года, генсек произвел благоприятное впечатление. А этот американский журналист был довольно хорошо информирован о характере сталинского правления. Еще большего успеха Сталин добился у Розиты Форбст, леди Астор и нескольких других влиятельных дам. Он совершенно очаровал их, разыгрывая милые сценки с детьми да с собачками...

С большим искусством дал он в декабре 1931 года представление немецкому писателю Эмилю Людвигу и два с половиной года спустя — английскому фантасту Герберту Уэллсу. Они тоже не устояли перед его чарами. Правда, Уэллс заметил, что генсек ни разу не посмотрел ему в глаза, но о таких пустяках и говорить не стоило. Знаменательно, что Уэллс написал: «Я никогда не встречал более чистосердечного, справедливого и честного человека, и своим потрясающим, неоспоримым восхождением он обязан именно этим каче-

ствам, а не чему-то тёмному и зловещему... До встречи с ним я думал, что он, возможно, находится на этом посту потому, что люди боятся его, но скоро понял, что его никто не боится и что все ему доверяют».

Среди писателей, которых он обвел вокруг пальца — а ведь проницательность считается чертой, присущей настоящему писателю,— назовем Ромена Роллана, Лиона Фейхтвангера, Бернарда Шоу... Да, и его!

Он впервые приехал в Москву в 1931 году. Будучи под впечатлением торжественного приема, устроенного в его честь по случаю семидесятипятилетия, великий сатирик всё же раскусил Сталина, написав, что манеры диктатора были почти безупречны, «нам с трудом удавалось скрывать то, что он нас ужасно забавлял». С афористичной точностью Шоу описал Сталина как помесь папы и фельдмаршала. В целом, однако, у английского гостя осталось благоприятное впечатление от встречи, и в 1941 году он публично атаковал критиков Сталина.

В годы войны актерский талант генсека достиг вершины. В переговорах с главами государств он всегда попадал точно в тон. В присутствии проницательного и недоверчивого Черчилля играл с большой осторожностью, сдержанно. Рядом с прекраснодушным Рузвельтом накладывал иной грим. В конце концов он перехитрил их обоих, может быть, не во всем, но во многом.

Сталин пытался убедить каждого, что он вовсе не диктатор, а просто первый среди равных, и что все важные вопросы, касающиеся государства и партии, решаются коллективно, «по-ленински». Не так уж легко ему было выказывать искреннее

почтение и изображать благородные манеры, но он преодолел эти технические трудности.

Уинстон Черчилль вспоминал в 1959 году:

«Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все, словно по команде, вставали и — странное дело — держали почему-то руки по швам...»

Однажды Черчилль твердо решил не вставать при появлении Сталина. К началу очередной встречи они с Рузвельтом, как обычно, заняли свои места и стали ждать главу СССР. Сталин вошел, и будто потусторонняя сила подняла английского премьера с места...

По окончании войны главы союзных держав встретились вновь, но уже в Потсдаме. Там Сталин выступал в роли Победителя, утомленного заботами планетарного масштаба. Походка, жесты, мимика стали еще медлительнее, паузы между словами и фразами увеличились, само молчание стало ещё многозначительнее. Подыгрывающих он взял с собой самых надежных, прошедших многолетнюю кремлевскую школу. Вячеслава Молотова и Андрея Вышинского Сталин испытал на сцене в разных постановках лично.

Свой выход в потсдамском спектакле наш бенефициант продумал тщательно. Вот как выглядел, в передаче одного дипломата, приезд большой тройки в Потсдам.

Первым прибыл Трумэн. Его автомобиль был окружен эскортом американских мотоциклов, со снятыми глушителями. Треск стоял на всю округу... Многочисленная охрана в парадной форме сопровождала английского премьера Черчилля.

На этот раз он был необычайно импозантен. Последней показалась машина Вождя советской России — безо всякого сопровождения. Медленно подъезжает к месту, из нее нарочито не спеша выходят Сталин, за ним Молотов. Сталин идет почему-то к девушке-регулировщице, здоровается с ней и лишь тогда поворачивается ко входу в здание.

Зрители поражены величием и отвагой Победителя. Не знали иностранцы, что из близстоящих домов заранее выселили всех немцев, а их квартиры заняли функционеры НКВД — целую дивизию внедрили туда постановщики этого спектакля...

«В самые критические минуты, а также в моменты торжества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям, был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов. Заставил даже нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов».

Премьер-министр Великобритании все-таки разглядел под маской Отца Народов жестокого, беспощадного диктатора. Анри Барбюсу этого не было дано.

Он приехал в Москву в 1934 году. Сталин пригласил его на дачу в Зубалово. Беседовали до глубокой ночи, великий француз и вождь советского народа. Сталин буквально очаровал писателя:

«Вы не знали его, а он знал вас, он думал о вас. Как бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом друге и кто бы вы ни были, лучшее в вашей судьбе находится в руках того, другого человека, который тоже бодрствует за всех и работает,— чело-

века с головою ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата».

Эти невероятные строки, венчающие книгу Анри Барбюса о Сталине, с той же степенью достоверности, что и архивный документ, помогают воссоздать его подлинный образ. Провести такого гуманиста и проницательного художника как Барбюс... Такое мог сделать только Иосиф Сталин.

Создается впечатление, что он вступил в соревнование со всеми именитыми деспотами истории. На втором десятилетии властвования он превзошел их всех, и после этого его уже не с кем было сравнивать.

Его клака

Почитатели таланта Федора Шаляпина помнят историю, связанную с его дебютом на сцене Миланского театра Ла Скала. Театральная клака пыталась освистать великого артиста: он не только отказался оплачивать её труды, но велел гнать в шею шантажистов, когда те явились к нему в номер гостиницы.

Сталин в начале 20-х годов создал свою клаку для заседаний пленумов ЦК, партконференций, съездов. Крикуны могли сорвать выступление любого партийного деятеля.

...В декабре 1925 года Сталин обнародовал свою теорию построения социализма в одной стране. Это совпало с дискуссией о нэпе и спорами об организационной политике ЦК на XIV съезде.

Слово взяла Крупская. Она с тревогой говорила о положении в партии и коснулась, между прочим, теории непременной правоты большинства.

Сталинская клака устроила вдове Ленина обструкцию. Кто-то ехидно поздравил Троцкого с новым соратником в лице Надежды Константиновны Крупской. Она растерялась...

Каменев оказался покрепче. «Давайте договоримся,— предложил он свирепоглазым крикунам,— если у вас есть поручение перебивать меня, то вы так и скажите... Вы меня не заставите замолчать, как бы громко ни кричала кучка товарищей».

В заключение Каменев, уже высказавшийся против теории «вождя», мужественно повторил главное:

«Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба... Мы против теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя!»

Зал на мгновение замер. Так бывает перед тем, как потрясенные ярким монологом зрители разражаются овацией.

Настала одна из тех кульминаций, к которой генсек так старательно готовил свою клаку.

— Неверно! Чепуха!

— Сталина! Сталина!

— Да здравствует Российская коммунистическая партия! Ура! Ура!

— Партия выше всего!

— Да здравствует товарищ Сталин!!!

И клака подняла зал.

«Делегаты встают и приветствует товарища Сталина»,— записано в протоколе.

То было не первое выступление клаки. В январе 1924 года, за несколько дней до смерти Ленина, на XIII партконференции И. Я. Врачев выступил против утвердившихся методов борьбы с оппозицией. Клакеры резко обрывали его.

«Товарищи, может быть, у нас осталось всего несколько часов демократии, так разрешите нам этими часами воспользоваться»,— обратился делегат к слишком дружной «команде».

...На объединенном пленуме ЦК и ЦКК 1927 года (июль — август) Сталин высмеивает Каменева, потом выдвигает вздорные аргументы против статьи Зиновьева «Контуры будущей войны». Генсек не боится позы скомороха — клака вовремя засмеется. И не забудет, к месту — а оратор уж выдержит паузу — крикнуть: «Правильно!» и «Позор!».

Когда Сталин сравнивает Троцкого с Клемансо, активисты послушно высмеивают «этого опереточного Клемансо».

Но вот генсек извиняется: ему, видите ли, «придется также сказать несколько слов о выпадах Зиновьева против Сталина».

— Просим! — раздаются голоса.

...Сталин уже вошел в роль прокурора, он обвиняет оппозиционеров в том, что они ведут к расколу Коминтерна.

— Правильно! — откликаются хористы.

Генсек цитирует резолюцию X съезда, где говорится о мерах против фракционеров — вплоть до исключения из партии.

— Надо осуществить это сейчас же! — дружно звучат голоса.

— Подождите, товарищи,— вступает Сталин,— не торопитесь.

Ну, чем не спектакль?

Но и партсъезды, и пленумы ЦК стали под жестким водительством Сталина не только спектаклями, но и уроками смирения. И — ступенями вниз, к самоуничтожению ради возвеличения Одного. Так было и на XVII съезде.

Делегаты исправно играли в массовой сцене порученные им роли «победителей». Море восторга плескалось вкруг ножек стола президиума. Вождь стоял на трибуне в позе могучего утеса. На этот раз, однако, не все исполнители довольствовались положением статистов. Сразу же по окончании первого действия началась закулисная возня — не на жизнь — на смерть. Оказывается, горячими овациями часть делегатов прикрывала крамольное желание избавиться от Главного режиссера: против генсека при голосовании за список кандидатов в члены ЦК было подано без малого триста голосов. Утес оказался с трещиной. Что тут началось!.. Помреж Лазарь Каганович, подхватив председателя счетной комиссии Затонского, помчался в полночный час к Хозяину. Тот приказал сфальсифицировать результаты голосования. Но это уже другая тема.

Январь 1924. Антонов-Овсеенко обратился к пленуму ЦК с жалобой на Оргбюро, которое решило снять его с поста начальника Политуправления Реввоенсовета.

Из выступления Антонова-Овсеенко на пленуме:

«Настаиваю на совершенной ясности в постановке вопроса обо мне. Речь идет об отстранении с поста начальника Политуправления члена партии, осмелившегося выступить в партийном порядке против линии большинства ЦК, вредной для единства партии и моральной сплоченности армии.

Все обвинения в том, что ПУР был мною превращен в штаб фракции, отметаю с презрением — никто этого не доказал и никогда доказать не сможет. А до тех пор, пока это не доказано, смысл

моего устранения будет один — еще до съезда партии свести групповые счеты со слишком партийно выдержанным, не способным на фракционные маневры товарищем».

Владимир Александрович разоблачает клеветническую кампанию, начатую центральным аппаратом против него с целью запугать всех активных коммунистов, причисленных к «троцкистской оппозиции».

«Я отнюдь не заблуждаюсь,— заявил членам ЦК Антонов,— что этой широко ведущейся кампании дан определенный тон и никем другим, как товарищем Сталиным».

Большинство членов ЦК заняло выжидательную позицию. В поддержку резолюции Оргбюро выступили Молотов, Шверник, Шкирятов, Ярославский. Да, товарищ Емельян тоже. В марте 1906 года Антонов вместе с ним после провала Московской конференции военных организаций РСДРП(б) угодил в тюрьму. Вместе бежали на волю, и вот теперь... Теперь Емельян Ярославский играет порученную ему роль. Вместе с Молотовым, Шверником, Шкирятовым.

Пройдет всего четырнадцать лет, и эти же лица санкционируют казнь героя Октября. Сколько раз Молотов своей рукой помечал проскрипционные списки резолюцией «ВМН» — высшая мена наказания. Сколько тысяч честных коммунистов передали в руки Ягоды, Ежова и Берия Николай Шверник и Матвей Шкирятов. Сколько товарищей по борьбе предал Емельян...

Функционеры клаки обернулись функционерами смерти.

Антураж

Подручных Сталин подбирал не только по признаку духовной ущербности, но и убогих физически. Вячеслав Молотов был невысок, говорил заикаясь. Не блистали внешними данными и Анастас Микоян, Михаил Калинин, Лазарь Каганович. А Георгий Маленков... Эту бабью физиономию даже тщательная ретушь не спасала. В сталинском окружении его называли Маланьей. Не скоро забудется иезуитская ухмылка партийного экзекутора Матвея Шкирятова. И наглая самоуверенность сталинского фаворита Андрея Жданова. Портрет заведующего особой канцелярией — Александра Поскребышева не появлялся ни в печати, ни на фасадах домов. Средой обитания этого бритоголового, приземистого уродца было затемненное закулисье. Пыжился в своем маршальском мундире Клим Ворошилов, пытаясь походить на великого стратега. Но дальше репетиций дело не пошло. Чем больше пыжился, тем явственней проступала врожденная придурковатость и благоприобретенная лакейская угодливость многолетнего подручного.

Какие отвратительные рожи,
Кривые рты, нескладные тела...
Вот Молотов, вот Берия, похожий
На вурдалака, ждущего кола...

Обычно скупой в выборе изобазительных средств Георгий Иванов, на этот раз дал волю естественному чувству омерзения. Все они, нанятые на роли малых вождей, отличались бедной фактурой и абсолютным отсутствием интеллигентности.

На этом пакостном фоне облик Диктатора мог показаться не столь отталкивающим.

Заглянем в портретную галерею ответственных актеров театра Сталина. Это беглые зарисовки, сделанные Милованом Джиласом в военную пору. Интересно было наблюдать Сталина и Молотова во взаимодействии.

«Черчилль охарактеризовал Молотова как совершенного современного робота. Это верно — замечает Милован Джилас.— Но это только внешняя и только одна из его особенностей. Сталин был холоден и расчетлив не меньше, чем Молотов. Но у Сталина была страстная натура со множеством лиц — причем каждое из них было настолько убедительным, что казалось, что он никогда не притворяется, а всегда искренне переживает каждую из своих ролей. Именно поэтому он обладал большей проницательностью и большими возможностями, чем Молотов.

...Глядя в прошлое, мне кажется, что Молотов со своим релятивизмом и способностью к мелкой ежедневной практике, и Сталин со своим фанатическим догматизмом, более широкими горизонтами и инстинктивным ощущением будущих, завтрашних возможностей — идеально дополняли друг друга».

Лицедейство Сталина, многогранность его вульгарного дарования раскрылись для Джиласа на ночном банкете, на который пригласили делегацию Югославии. Одно из поручений, полученных от Тито,— добиться прекращения мародерства, изнасилования женщин, убийств со стороны солдат и офицеров Советской Армии. Итак, место действия — подмосковная дача Сталина. В ту ночь Сталин устроил там представление, какое можно

встретить только в шекспировских драмах... Он с возбуждением говорил о страданиях Красной Армии и ужасах, которые ей пришлось пережить, пройдя с боями тысячи километров по опустошенной земле. Он лил слезы, восклицая: «И эту армию оскорбил не кто иной, как Джилас! Джилас, от которого я этого меньше всего бы ожидал! Которого я так тепло принял!.. Знает ли Джилас, который сам писатель, что такое человеческие страдания и человеческое сердце? Разве он не может понять бойца, прошедшего тысячи километров сквозь кровь, огонь и смерть, если тот пошалит с женщиной или заберет какой-нибудь пустяк?»

Он каждую минуту провозглашал тосты, льстил одним, шутил с другими, подтрунивал над третьими, целовался с моей женой, потому что она сербка, и опять лил слезы над лишениями Красной Армии и над неблагодарностью югославов».

Присутствующим трудно было установить, «где в этом сталинском представлении была игра, а где искреннее огорчение. Мне лично кажется, что у Сталина и невозможно было отделить одно от другого — у него даже само притворство было настолько спонтанно, что казалось, будто он сам убежден в искренности и правдивости своих слов. Он очень легко приспосабливался к каждому повороту дискуссии, к каждой новой теме и даже новому человеку».

И еще один портрет.

«Берия был тоже небольшого роста — в Политбюро у Сталина наверное и не было людей выше его. Берия тоже был полным, зеленовато-бледный, с мягкими, влажными ладонями. Когда я увидел его четырехугольные губы и жабий взгляд

сквозь пенсне, меня как током ударило — настолько он был похож на Вуйковича, одного из начальников белградской королевской полиции, особой специальностью которого было мучить коммунистов. Только усилием воли я отогнал от себя неприятное сравнение, напрашивавшееся так назойливо еще и потому, что сходство было не только внешнее, а и в выражении — смесь самоуверенности, насмешливости, чиновничьего раболепия и осторожности».

Их называли на Кавказе Папа Большой и Папа Малый. У каждого был свой антураж, свои подручные. Портреты двух особо приближенных к Берия исполнителей написал Евгений Гнедин, перед арестом заведовавший отделом печати Наркомата иностранных дел. Он побывал в их лапах.

«Деканозов слушал молча, со специфически глупо равнодушным и скучно -угрожающим видом. В нем было какое-то малопочтенное сочетание мелкого торговца, подражающего крупным коммерсантам, и мелкого полицейского, подражающего жандармскому полковнику».

И о Кобулове. «Передо мной за солидным письменным столом восседал тучный брюнет в мундире комиссара госбезопасности I ранга — крупная голова, полное лицо человека, любящего поесть и выпить, глаза навыкате, большие волосатые руки и, как я позже заметил, короткие кривые ноги». Кобулов заканчивал разговор по телефону. Заключительная реплика звучала примерно так: — «Уже сидит и пишет, да-да, уже пишет, а то как же!..»

Кобулов весело и самодовольно хохотал. Речь шла, очевидно, о недавно арестованном человеке...

Бериевская труппа мало в чем уступала сталинской, и Главный режиссер нередко использовал его исполнителей в своих новых постановках.

Основная труппа состояла из членов бессмертного Политбюро. Послушаем, что о них говорит Джилас.

«Мир, в котором жили советские вожди — а это был и мой мир — постепенно начинал представать передо мной в новом виде: ужасная, непрекращающаяся борьба на всех направлениях. Все обнажалось и концентрировалось на сведении личных счетов. В живых оставался только более сильный и ловкий. И меня, исполненного восхищением к советским вождям, охватывало теперь головокружительное изумление при виде воли и бдительности, не покидавших их ни на мгновение».

Да, здесь все отдавало патологией, и в этом тоже проявилась уникальность сталинского театра.

И еще одно свидетельство, на этот раз — наркома военно-морского флота Николая Кузнецова. С перерывами он возглавлял это ведомство с 1939 по январь 1956 года.

По окончании войны Сталин поставил задачу создать мощный современный военно-морской флот, достойный Великой державы. На заседании Политбюро Ворошилов высказался против этой идеи: дескать, средства нужны на довооружение сухопутных сил, ведь разрушенное войной хозяйство тоже потребует значительных ассигнований. Это вызвало явное раздражение Вождя. Тут же другие подручные, уловив ситуацию, набросились на незадачливого маршала. Первыми — Лазарь Каганович и Лаврентий Берия. Они с

«большевистской принципиальностью» осудили капитулянтское, чтоб не сказать предательское мнение товарища Ворошилова.

Сталин, постукивая карандашом по столу, выдержал томительную паузу.— «Очен харашо. Но остается нэвыясненным адын вопрос: Почему товарыш Варашилов так заинтэрэсован в ослаблении ваэнного магущества нашей страны?..»

Ворошилов бледнеет, сжимается, жалко улыбается...

Еще несколько членов выступает с осуждением странной позиции Ворошилова и — в поддержку проекта наркома военно-морского флота Николая Кузнецова. Вопрос поставлен на голосование. Вместе со всеми «за» голосует и Ворошилов, опустив повинную голову... Но Сталин изволит сегодня пребывать в особо игривом настроении, хотя сам маршал принимает все сказанное Хозяином всерьез.

Сталин: — А все-таки адын вопрос остается нэвыясненным...

По окончании заседания все отправились, согласно ритуалу, в кинозал. Это мероприятие давно стало для всех обязательным, и подручные изображают на лицах ожидание приятного события. Картины Хозяин выбирает сам, поэтому соратнички вынуждены смотреть его любимые фильмы по многу раз. Рассаживаются за столиками и по двое, лишь Ворошилов, изгой этого злополучного дня, удаляется в самый конец зала в одиночестве.

На экране — «Огни большого города». Верховный палач обожает сентиментальные сюжеты.

Никто не осмелится уйти, не досмотрев до конца. Сталин увлеченно следит за действием, у

него свои излюбленные эпизоды... Когда прозревшая благодаря стараниям бродяги цветочница узнает своего возлюбленного, Сталин встает в волнении и садится рядом с Кузнецовым. Морской нарком заметил, что генералиссимус вытирает набежавшие на глаза слезы...

Но вот фильм кончился, все встали. Сталин подходит к Ворошилову: — Клим, дарагой наш Клим, ти что-то плохо выглядишь в последнее время. Тибе надо атдахнуть. Поезжай, дарагой, в санаторий...

Подручные окружают амнистированного и хором убеждают его: — Да, да, Климент Ефремович, вам надо непременно поехать на отдых, вы переутомились...

Сталин был скверным партнером. Вероломный в большой политике, он оставался цинично-вероломным и на малой сцене, в Кремле.

Надежных исполнителей подобрал себе Сталин. Некоторые, как Ворошилов, Микоян, Молотов, служили ему более трех десятков лет. Последнему, кстати, было труднее других: он страдал заиканием. Однажды Молотов пожаловался Лаврентию Картвелишвили: «А знаете, товарищ Лаврентий, я ведь свои речи перед зеркалом выпеваю».

Это был большой тугодум, однако довольно скоро он наловчился скрывать скудость ума под личиной государственного мужа. Впрочем, легковерных на его век хватило. Фальшивый образ Молотова продолжает жить в писаниях Александра Чаковского, Ивана Стаднюка, Саввы Дангулова, Феликса Чуева.

...Ноябрь 1946. Целый день заседала Академия наук по поводу избрания Молотова своим почет-

ным членом. С утра до позднего вечера изливался на чело заместителя председателя Совета Министров густой елей. Долгие годы еще будет он курировать Академию наук, будет «светочем науки». Не всякий выдержал бы такое. Молотов выдержал.

Каждое мероприятие и выступление он предварительно согласовывал с генсеком. Под твердой сталинской дланью жилось ему вполне уютно. Но Сталин, привыкший единолично управлять людьми и событиями, был непредсказуем.

На XV съезде партии доклад о сельском хозяйстве читал Молотов. Неожиданно для всех с критикой доклада выступил генсек. Молотова Сталин не предупредил, и Вячеслав Михайлович растерялся. А Сталин своего достиг: продемонстрировал наличие свободы критики в центральном аппарате, а заодно еще раз испытал ближайшего соратника на покорность. Генсек замутил воду в аграрной политике партии, дабы вызвать новые разногласия.

Молотов пришел домой расстроенный вконец и пожаловался жене: «Сталин не хочет придерживаться наших общих решений, всегда все перепутает, потом трудно бывает исправить... Мы ведь обо всем с ним договорились, а он взял и набросился на меня...»

Устроить провокацию, уйти в тень, свалить вину на другого, выдать себя за несгибаемого ленинца — такова типовая схема участия Сталина в политических постановках. Этой схемы с вариациями (скажем,— расстрелять виновных) Сталин будет придерживаться и впредь.

Так же действовал и Лазарь Каганович, еще один видный фигурант главной труппы. Его отли-

чало отсутствие малейших сомнений относительно божественного происхождения Сталина. Не он ли первым провозгласил генсека Великим Вождем? Молотов, Микоян, Калинин, Рудзутак, Киров, Орджоникидзе — последние двое особенно — могли иной раз и не принять сразу указаний генсека, даже поспорить с ним. Не таков был Каганович. Он неукоснительно исполнял любое веление Хозяина и твердо следовал однажды принятому ритуалу.

...Анна Ахматова выступает в большом зале Политехнического музея. Появление любимой поэтессы зал встречает овацией, все встают, многие устремляются к сцене с букетами цветов.

Первым об этом невероятном событии генсеку донес Каганович. Сталин разгневался: «Кто организовал вставание?!»

В самом деле, кто посмел?

Лазарь Каганович был редким ортодоксом партаппарата. Его преданность канцелярской букве и Вождю отпугивала даже всемогущего Берия. Лазарь ведь предал своих родных братьев — как Михаила, так и Юлия...

Что их объединяло, таких недружных? Все они, «народа меньшие отцы», жили-играли на этой сцене под знаком трех «у»: угадать, угодить, уцелеть.

Игра в отставку

Ленин в своем завещании, давая характеристики возможным преемникам, упомянул о капризности генсека. Что он имел в виду?

Осень 1918 года, Царицын. Член РВС Южного

фронта Сталин всячески преследует (иных казнит) генералов и офицеров старой армии, перешедших на сторону Советской власти. Здесь, вероятно, сказалась его органическая ненависть к «интеллигентикам», будь то ученые, литераторы или военные. В Царицыне Сталину особенно досаждал командующий фронтом генерал П. П. Сытин. Через двадцать лет, достигнув вершины славы и могущества, генсек сведет с ним старые счеты — казнит злополучного патриота, а тогда, в 1918-м, пришлось ограничиться вульгарной клеветой. Он обвинил Сытина в плохом руководстве фронтом, намекнул на предумышленный срыв снабжения частей... («Чья-то умелая рука старается... доконать Царицын».) Сталин потребовал привлечь командующего к судебной ответственности.

Ленин вызвал Сталина в Москву и резко осудил его политику и самочинные действия членов РВС Ворошилова и Минина. Вернувшись в Царицын, Сталин инспирировал горячий протест собрания видных партийных работников «против насаждения в армии беспартийных генералов» и сделал попытку ревизовать «политику центра» в отношении военных специалистов. Однако взять ленинские позиции наскоком не удалось. Тогда Сталин подал заявление об уходе с постов члена РВС республики и РВС Южного фронта. 9 октября он известил Главное командование о том, что считает себя вышедшим из состава РВС.

Так начиналась игра в отставку. Игра, растянувшаяся на три с лишним десятилетия. Ни с каких военных постов Сталин и не думал уходить, он продолжал, в меру своих сил, саботировать директивы центра — до самого конца граждан-

ской войны. История помнит, как член РВС Юго-Западного фронта Сталин, вопреки директиве Главкома, задержал переброску войск Первой Конной армии и тем самым сорвал наступление Тухачевского на Варшаву. Интриган и властолюбец, он воспринимал победы других военачальников как личное оскорбление.

Тухачевский и командующий Юго-Западным фронтом Егоров разделили потом судьбу генерала Сытина.

Осенью 1922 года возникло так называемое «грузинское дело», фактически спровоцированное Сталиным. Начинающий генсек навязал Закавказью федерацию, не посчитавшись при этом с пожеланиями грузинских товарищей. Тяжело больной Ленин пытался вмешаться, но противостоять интригам генсека было нелегко. Сталин отказывался даже ознакомить Владимира Ильича с материалами дела. 30 января 1923 года Лидия Фотиева записала в дневнике: «Послала письмо Сталину, его не оказалось в Москве. Вчера, 29 января, Сталин звонил, что материалы без Политбюро дать не может... Спрашивал, не говорю ли я Владимиру Ильичу чего-нибудь лишнего, откуда он в курсе текущих дел. Сегодня Владимир Ильич вызывал, чтобы узнать ответ, и сказал, что будет бороться за то, чтобы материалы дали».

Наконец, 1 февраля Политбюро разрешило выдать материалы по «грузинскому делу». Сталин был явно недоволен. Он предложил Политбюро освободить его от хлопотных обязанностей, связанных с наблюдением за исполнением Лениным терапевтического режима. Он, конечно же, играл, генсек. И знал, что никто не решится лишить его статуса надзирателя.

...Май 1924 года. На XIII съезде партии, согласно предсмертной воле Ленина, должны были зачитать его письмо, так называемое Завещание. Однако документ, как известно, решили огласить только на собраниях отдельных делегаций.

Предстоял пленум ЦК. На заседании пленума Сталин встал в позу обиженного: «Если товарищи считают, что Завещание является таким документом, который лишает меня всякого политического доверия, я уйду с поста генсека...»

То была поза, игра. Игра для Сталина беспроигрышная, ибо он знал, что вслед за тем с необходимыми заверениями выступит Зиновьев, за ним — кое-кто еще...

Через месяц Сталин повторил свой трюк. Большой мастер по части создания конфликтов, он воспользовался ошибкой стенографистки на XIII съезде партии и обвинил Каменева в искажении речи Ленина — якобы Каменев вместо «России нэповской» употребил слово «нэпмановской». Эту грубо сработанную инсинуацию Сталин вынес на страницы «Правды».

Каменев и Зиновьев решили дать отпор генсеку. Но когда экстренно созванное совещание ответственных партийных работников при участии членов Политбюро и ЦК осудило последний выпад Сталина, он заявил о своем уходе с поста генсека. Такой вот «аргумент»...

Отставка и на этот раз не была принята.

Прошло полтора года после смерти Ленина. Будучи на отдыхе в Кисловодске, группа членов ЦК обсудила во время загородной прогулки

вопрос о коллегиальном руководстве. Весьма успешные попытки Сталина укоренить свой диктат над ЦК встревожили их. Генсеку отправили письмо с предложением изменить состав Секретариата ЦК. Сталин тотчас же припугнул их отставкой. На XVI съезде, в декабре 1925 года, он решил их еще и высмеять и повторил: «Если товарищи настаивают, я готов очистить место без шума, без дискуссии, открытой или скрытой, и без требования гарантий прав меньшинства».

Он рассчитывал услышать смех в зале. И смех последовал.

К концу 1927 года Сталину удалось значительно продвинуться на пути к единоначалию. На XV съезде партии он убрал из руководящих органов 75 активных оппозиционеров, некоторых исключил из партии. А всего из партии вычистили около двух тысяч человек. После исключения лидеров так называемой «объединенной оппозиции» Сталин устроил на заседании пленума ЦК маленький спектакль:

«Я думаю, что до последнего времени были условия, ставящие партию в необходимость иметь меня на этом посту как человека более или менее крутого, представлявшего известное противоядие против оппозиции. Сейчас оппозиция не только разбита, но и исключена из партии. А между тем у нас имеется указание Ленина, которое, по-моему, нужно провести в жизнь. Поэтому прошу пленум освободить меня от поста генерального секретаря. Уверяю вас, товарищи, что партия от этого только выиграет».

Надев маску спасителя партии, генсек мог и пококетничать с судьбой. Пленум, конечно же, вновь избрал его генсеком. Единогласно.

Кому жить надоело?..

Выдвигая в 1946 году Алексея Александровича Кузнецова на пост секретаря ЦК, Сталин сказал приближенным, что видит в нем своего достойного преемника. Генсеку уже было под семьдесят, настала пора подумать об отдыхе... Когда же он поручил Кузнецову курировать армию и органы госбезопасности, ни один опытный функционер власти не поручился бы за безопасность самого куратора. Действительно, в 1950 году он был уничтожен вместе с руководителями ленинградской парторганизации и членом Политбюро Вознесенским.

Разговоры об отставке Сталин не прекращал и потом, до самого конца своей многотрудной карьеры. После XIX съезда партии, в ноябре 1952 года, он дважды просил о ней новый состав ЦК. Все хором отвечали, что это невозможно...

Невольно вспоминаешь героя Достоевского Фому Опискина, который вот так же, не единожды, грозился уйти из дома, где его приютили. Этот дом в селе Степанчикове, с его затхлой атмосферой раболепия, с приживалками, добровольными шутами и моськами генеральши, с таким услужливым полковником, стал для Опискина наиудобнейшей трибуной. Готовый за свои убеждения тотчас же идти на костер, Фома Фомич требует от хозяина называть себя «ваше превосходительство» и получает сие удовольствие. Борец за высокие идеалы, он обернулся деспотом, как только увидел, что хозяйка испытывает к нему какое-то мистическое почтение. Следом за ней стали боготворить его все обитатели села.

Фома Фомич — человек непомерного самолюбия, случающегося, как заметил автор, при самом

полном ничтожестве. Униженный, битый в прошлом судьбой, Опискин ныне испытывает садистское наслаждение, унижая других. Ему нужно было наверстать свое. Его мнимые уходы, когда решительно все домочадцы во главе с генеральшей слезно молят своего благодетеля остаться, утверждали его на пьедестале, который Фома занял по праву первейшего демагога.

Сталин пытался превратить всю страну в село Степанчиково. Народу это стоило многих миллионов жизней. Скольких именно, определил в конце прошлого века в «Бесах», замечательный провидец Федор Достоевский.

Мастер рекламы

В 1934 году Сталин организовал рекламное представление в Арктике — Красной площади ему показалось мало. Экспедиция на пароходе «Челюскин» была заведомо обречена на неудачу: явно устаревшему маломощному судну нечего было делать в тяжелых льдах. Но если бы «Челюскин» не погиб, раздавленный льдами, некого было бы героически спасать сталинским соколам. И одним поводом для всенародного ликования стало бы меньше.

«Челюскин» покоится на дне Чукотского моря. В каком море утопить позор этого спектакля?

...Вот они на фотографии, в дни триумфальной встречи в Москве: начальник экспедиции на «Челюскине» Отто Шмидт, с импозантной бородой и улыбкой победителя, капитан Воронин, парторги, комсорги... А кто это слева, крайний, в форме НКВД? Он стоит в профиль и строго смот-

рит из-под своей фуражки? И на старой фотографии, на трибуне Мавзолея, он, как старательный пастух, стережет маленькое стадо челюскинцев...

К тридцатым годам Сталин накопил кое-какой режиссерский опыт. Он научился создавать сильные шумовые эффекты. Он уже знал, что для успеха спектакля нелишне усилить контраст между светлым и темным, между добром и злом. В дни процессов над «презренными врагами народа» газеты публикуют то репортаж о героических перелетах летчиков, то — о не менее героических достижениях рабочего класса.

...В кабинете следователя висит на стене радиорепродуктор. Он сотрясается от ликования народных масс. Перед следователем — седой революционер, завтрашний мертвец, Антонов-Овсеенко.

— Слышите,— говорит следователь,— это народ приветствует нашу сталинскую партию и своих славных чекистов. Слышите?! Я вот за вас орден получил...

Представление на Колыме

Театр Иосифа Сталина — явление уникальное во времени и в пространстве. Спектакли шли непрерывно, сливаясь в единое, на три десятилетия, действо. Сценой ему служила вся страна — от Красной площади до Колымских лагерей.

Во время войны Соединенные Штаты Америки поставляли в Советский Союз машины, оборудование, продукты питания. На Печору, где мне дове-

лось жить вне жизни долгие годы, поступало из Америки много всего, от автомашин и экскаваторов до яичного порошка и костюмов для нашего арестантского театра. Но правительству союзной державы хотелось знать, в каких условиях живут рабочие в советских лагерях, откуда в Штаты поступают золото и лес.

В 1944 году на Колыму прибыла специальная миссия во главе с вице-президентом США Генри Уоллесом. Его сопровождал представитель Управления военной информации США профессор Оуэн Латтимор. К приезду гостей приготовили особую зону совхозного лагпункта: отремонтировали бараки, установили железные кровати с чистым постельным бельем, даже подушками оснастили ложа для женщин. Им выдали вольную одежду, прислали парикмахера. Вместо маленького ларька, который обычно торговал червивым урюком, зубным порошком да неказистыми гребенками, соорудили магазин, завезли товары, о которых в ту пору и вольнонаемные не смели мечтать. Обновили лежневую, из тонких стволов деревьев подъездную дорогу и убрали вышки по углам зоны, на которых круглые сутки дежурили стрелки. Такой же камуфляж навели в мужской зоне, в пятнадцати километрах севернее совхоза.

Американцам показали теплицы, где выращивали «для рабочих» помидоры, огурцы и даже дыни. Уоллеса повезли на образцовую свиноферму, где роли свинарок бойко исполнили вольные сотрудницы управления лагеря. Инсценировка гостям понравилась, ее повторили на образцовом же руднике по добыче золота — без вышек и колючей проволоки.

Начальник Дальстроя Иван Никишов только

что вернулся из Москвы, где выслушал инструкции из уст самого Главного режиссера. Заодно получил награду — золотую звезду Герой Социалистического Труда. На американцев он произвел самое благоприятное впечатление. Как писал позднее профессор Латтимор, супругов Никишовых отличает глубокое чувство гражданской ответственности. Он сурово осудил жестокости царизма в Сибири. К счастью, писал он, те времена миновали. Освоение Севера в СССР ведется планомерно, под руководством замечательного объединения Дальстрой, которое можно лишь приблизительно сравнить с американской Компанией Гудзонова залива.

...Заморских гостей восхитили вышивальщицы, их изделия, а также местный театр. Где им показали настоящий балет.

Рассказ о лагерных театрах впереди.

Такие театры, где труппы состояли в основном из заключенных, функционировали во всех крупных лагерях. В бассейне реки Печоры их было не менее шести: на Воркуте, в поселке Абезь (позднее — в городе Печоре), в поселке Большая Инта, в Ухте, в Кияж-Погосте... Из знаменитых в прошлом артистов, зачисленных в стан «врагов народа», назовем певцов Николая Печковского, Бориса Дейнеку. Да еще актеров — Валерию Токарскую, Рафаила Холодова... В репертуаре театров были наряду с драматическими спектаклями эстрадные программы, оперетты, оперы. Каждый лагерный начальник старался превзойти соседа пышностью постановок.

Еще немного, и Сталин переименовал бы

истребительные лагеря в курорты для больных инакомыслием или — в центры художественного перевоспитания. Но даже он, неистовый выдумщик, иногда соблюдал меру.

Война: три роли, три маски

Начало второй мировой войны показало еще раз, насколько уверенно чувствует себя Сталин на европейской сцене. Осенью 1939 года он совершает крутой поворот во внешней политике — заключает дружественные соглашения с Германией, отказываясь от естественного союза с Францией и Великобританией. Такой ход не дано было предугадать даже самым искушенным государственным мужам. После подписания пакта с гитлеровской Германией Сталин заявил Риббентропу: «Советское правительство принимает пакт очень серьезно и может гарантировать своим честным словом, что Советский Союз не подведет своего товарища».

Однако ни Риббентроп, ни, тем более, Гитлер не склонны были довериться сталинскому честному слову. Напрасно. Быть может, единственный раз в общении с Западом Сталин был искренен.

И он действительно не подвел «своего товарища». Случилось наоборот.

После нападения гитлеровской Германии Сталин еще раз меняет курс. Теперь надо открыть дружеские объятия англичанам, вступить в союз с ними. И — с Соединенными Штатами Америки.

...Худо стало после первых поражений на фронтах, и генсек, он же глава правительства и

Верховный Главнокомандующий, умоляет союзников о помощи. Оправившись от военной катастрофы, маршал Сталин берет уверенный тон. На Тегеранской конференции, в конце 1943 года, главы государства коснулись проблемы открытия второго фронта. Черчилль отметил рискованность операции по высадке десанта на побережье Франции и высказал некоторые пожелания военного характера. Тогда Сталин резко поднялся с места и сказал, обращаясь к Молотову и Ворошилову: «Идемте, нам здесь делать нечего».

Если бы не находчивость Рузвельта, предложившего сделать перерыв на обед, могло бы случиться нечто непредвиденное.

После падения Берлина Сталин стал держаться уже как властелин половины мира. Тон дипломатических переговоров резко изменился. Дядя Джо — так называли Сталина меж собой Черчилль, Рузвельт, Иден — отбросил маску доброго пастыря. Врагов он разгромил, пришла пора отделаться от союзников.

Три этапа. Три роли. Три маски.

Июль 1945 года, Потсдам. Здесь, в предместье германской столицы, собрались на последнюю встречу руководители союзных держав. Нет уже Рузвельта, ушел с поста Черчилль, их заменили Трумэн и Эттли. Из большой тройки остался лишь он один, Победитель. Сталин вел себя соответственно. Его не смутило даже известие об успешном испытании американской атомной бомбы. Он состроил невозмутимую мину, будто речь шла не о смертельной угрозе его государству, будто он не понимал, что мир вступает в новую эру.

Он сидит в окружении дипломатов и генералов — черные фраки, серо-зеленые мундиры. На

нем — белоснежный маршальский китель. Кому он сейчас подражает, уж не Скобелеву ли? Сталин вальяжно откинулся в кресле. Подобострастно заглядывают ему в лицо Молотов с помощниками... Теперь Он подлежит непременному обожествлению. Впрочем, оно уже началось — до войны еще.

В гриме и без грима

«Когда ограниченного, грубого, полуобразованного человека, который с первого взгляда кажется третьесортным фанатиком, но в действительности является мелким тираном, жестоким и кровожадным человеком с примитивным интеллектом и болезненно раздутым самолюбием,— когда такого человека называют Богом, боги вправе не замечать этого оскорбления».

Поскольку Владимир Набоков жил на Западе, ему было проще разгадать загадку Вождя под толстым слоем патины. Но подлинный Сталин был еще отвратительнее, нежели образ, описанный Набоковым. Каким же он был в действительности, заживо обожествленный?

На фотографиях и живописных портретах он выглядел великаном. При росте 162 сантиметра. На трибуне Мавзолея ему подставляли специальную скамеечку. Он избегал позировать фотографу рядом с рослыми людьми. Но ничто не могло скрыть его узкий лоб. Когда один из старейших соратников Ленина Пантелеймон Лепешинский спрашивал у жены, звонила ли та Сталину, он не называл ни должности, ни имени, а только прикладывал два слегка раздвинутых

пальца ко лбу. В этой семье знали, о ком идет речь.

Одна рука у Сталина была короче — результат полученного в детстве увечья. Лицо — в глубоких оспинах, желтые, кривые зубы... Эти физические недостатки дополняли ущербность духовную.

Год 1905. Юная Фарандзем Кнунянц, член социал-демократической партии, приехала из Петербурга на родину, в Баку. Миха Цхакая направил ее к товарищу Кобе, члену партийного комитета, за марксистской литературой.

«Кобу я увидела в небольшой комнате. Маленький, тщедушный и какой-то ущербный, он был похож на воришку, ожидающего кары. Одет он был в синюю косоворотку, в тесный, с чужого плеча пиджак, на голове — турецкая феска. Встретил он меня с нескрываемой подозрительностью. Лишь после подробных расспросов, похожих на допрос, вручил мне стопу книг и брошюр. Часть из них я уже достала в другом месте, поэтому ограничилась тремя из предложенных книг. Он проводил меня до двери, продолжая окидывать подозрительным, враждебным взглядом.

В тот же вечер я вместе с подругой посетила кружок гимназистов, которым руководил Степан Шаумян, вожак бакинских рабочих. Домой мы пошли вместе с ним. Я решила спросить Шаумяна о товарище Кобе.

— Кто он? Ни один из социал-демократов не производил на меня такого гнетущего впечатления... Уж очень он неприветлив, недоверчив и злобен. Он со всеми ведет себя так?

— Что вы, это наш старый подпольщик, опытный и преданный,— заверил меня Шаумян.

Я остановилась на Меркурьевской улице у бедного, многодетного рабочего-жестянщика. Там собирались члены Бакинского партийного комитета. Нас было тринадцать, председательствовали по очереди. Перед началом собрания оживленно беседовали, шутили. Вот уже время начинать, а Кобы все нет, он всегда опаздывал. Ненамного, но постоянно. Казалось, что часы у него существуют лишь затем, чтобы вычислить необходимое для опоздания время. Когда он входил, атмосфера сразу менялась, что-то нас сковывало, терялась деловитость. Коба приходил с книгой, которую прижимал левой, укороченной рукой к груди. Сев в угол, он слушал каждого выступающего молча. Высказывался последним, сравнивая взгляды, мнения, аргументы. Выбрав самые перспективные и дельные, он вносил свое предложение, как бы подводя черту. Отсюда — впечатление особой значительности каждого произносимого им слова. Таким способом он достигал большого театрального эффекта».

Тетушка Фаро, сестра известного марксиста Богдана Кнунянца, прожила более девяноста лет, но тот далекий пятый год помнила всегда.

И все последующие годы, до последних съездов, совещаний, конференций (вспомним Ялту, Потсдам), Сталин придерживался выбранного им на заре века амплуа резонера. Главного резонера. Одним видом своим, поведением он подчинял себе каждого — сторонников и оппонентов, друзей и врагов. Простаков его примитивная игра в величие могла ввести в заблуждение, от людей проницательных маска Вождя Всех Времен и Народов не скрывала злобной, хулиганской натуры. Он позволял себе петь похабные частушки в присут-

ствии наркома просвещения Грузии Марии Платоновны Орахелашвили. Он мог в мужской компании, за столом, сидя рядом с дочерью, бросить ей в лицо гнусные скабрезности... Да и жену свою, несчастную Надежду Аллилуеву, Сталин публично подвергал грязным оскорблениям.

Однажды, в конце 30-х годов, Сталин отдыхал в Гаграх. После обеда вышел с гостями в сад и повел их в свой розарий. При расставании один из гостей спросил:

— Иосиф Виссарионович, сегодня так жарко, а вы в сапогах...

Действительно, светлый чесучовый костюм мало подходил к черным сапогам.

— Что вы,— ответил Хозяин,— сапоги — это очень удобно. Можно так ногой пнуть в морду, что все зубы вылетят.

И засмеялся...

Эти сапоги — не каприз и не атрибут военных лет. Сапоги стали в некотором роде символом, деталью портрета, как его знаменитая курительная трубка.

В 1918 году Советское Правительство переехало из Петрограда в Москву. Когда Сталин вошел в свою новую квартиру в Кремле, он увидел в прихожей большие зеркала.

— К чему здесь эта господская роскошь?

Сказал и пнул сапогом в зеркало. Под ногами захрустело стекло...

СУДЕБНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Сталин против Мартова

Первый судебный процесс, к которому Сталин имел непосредственное отношение, состоялся в 1918 году, но не был завершен. Сорвал это зрелище сам истец, народный комиссар по делам национальностей Сталин-Джугашвили. Ответчик — им был лидер меньшевиков Мартов — выступил в газете «Вперед» со статьей, в которой обвинил Сталина в сокрытии примечательного факта: в 1908 году он был исключен из партии. В начале века случались нападения на государственные и частные кассы, для пополнения кассы партийной. Товарищ Коба, верный своей натуре, не раз участвовал в такого рода экспроприациях. Однако в 1906 году по инициативе меньшевиков IV съезд РСДРП осудил так называемые «эксы» — захват денег для пополнения партийной кассы. Кобу это решение не могло остановить. Он участвовал еще в нескольких грабежах, за что и был исключен из партии. Вероятно, он полагал, что свидетелей не осталось, а документы... протоколами в те годы никто себя не отягощал.

Выпад Мартова грозил члену ЦК большевистской партии серьезными неприятностями. Сталин мог привлечь Мартова к ответственности за кле-

вету через Народный суд, но он, вопреки юридическим нормам, обратился в Революционный трибунал по делам печати. Протест ответчика был отклонен. Тогда Мартов подал ходатайство о вызове свидетелей, числом более десяти, их имена обнародовали три газеты. В этой ситуации Сталин решил выступить против Мартова лично. Он называет Мартова гнусным клеветником и требует рассмотреть дело немедленно, без вызова свидетелей. Это первое (и последнее) выступление Сталина на судебной сцене. Однако уже тогда он проявил себя как многоопытный лицедей и мастер изощренной интриги. Оказывается, Мартов клевещет на всю большевистскую партию — не на него лично. Передергивая факты, не чураясь голого вымысла, Сталин заявляет в «Правде» будто Мартов сообщил об исключении из партийных рядов... Бакинского комитета РСДРП — целиком.

За спиной Сталина — Центральный Комитет, правительство, на стороне Мартова — правда, мужество и находчивость.

«Если нельзя будет допросить свидетелей,— заявляет Мартов,— это мое несчастье, но если они не будут допрошены потому, что этого не хочет Сталин,— то это его несчастье...»

Пришлось Трибуналу вынести решение о вызове свидетелей.

Антракт.

Последний акт мог стать последним в карьере наркома. Любознательные граждане удивляются: — Как мог Сталин в столь короткий исторический срок превратиться в Диктатора. А вот послушайте.

Не прошло и недели после памятного заседа-

ния, как Совнарком новым декретом о революционных трибунах упразднил специальный трибунал по делам печати. Декрет подписан Лениным 4 мая. Сталин присутствовал 30 марта на заседании Совнаркома при обсуждении проекта декрета.

Итак, театр закрыт. Однако действие продолжалось уже на иных подмостках. На страницах «Известий» выступил некий Кахиани — новый статист из сталинской труппы. Касаясь судебного дела «Сталин против Мартова», он обращается к последнему с таким призывом: «Бороться с противником надо честно!»

Сталин нагнетает темп. И вот уже Мартов — в кабинете следователя Революционного трибунала Москвы. У Мартова еще оставалась его газета. Он выступил с протестом: «Революционный трибунал предназначен, как гласит декрет, изданный большевиками, судить преступления против народа. Каким образом обида, нанесенная Сталину, может считаться преступлением против народа? Только в том случае, если считать, что Сталин и есть народ».

Наркомнац позаботился, чтобы свидетели на заседании трибунала не появились. К следующему действию он подготовил свежую роль... жертвы предвыборной борьбы. Оказывается, Мартов клевещет не на него только. «Мало ли экспроприаторов на белом свете, но Мартову до них нет дела, клевета имела определенную цель — очернить перед выборами меня, как члена ЦИК, как большевика, сказать выборщикам: «Смотрите, вот они какие, ваши большевики».

Это было напечатано в «Правде» 17 апреля 1918 года, на другой день после заседания ревтри-

бунала Москвы. На шестом месяце советской власти.

В сценарии нашлось место еще для одной акции: «Известия Смоленского совета» накануне заседания суда сообщили: Мартова наказали за клевету... семидневным арестом.

Коба был неистощим на выдумки такого рода.

На дворе стояла диктатура пролетариата, трибунал действовал соответственно: вместо того, чтобы осудить Сталина, он вынес общественное порицание Мартову. Председателем был старый большевик Николай Крыленко, истово ненавидивший меньшевиков. В нашем горестном повествовании он появится еще не раз в роли прокурора-обвинителя.

Ну, а что же Ленин? Вождь молчал. Сталин сумел заблокировать намеченный судебный процесс, затем добился закрытия печатного органа партии меньшевиков, газеты «Вперед».

Будут еще в карьере Сталина-режиссёра отмененные властной рукой спектакли. То была первая заявка.

Процесс левых эсеров

Ленина всегда отличало нетерпимое отношение к любой оппозиции, хотя на словах он допускал политические споры. Один из ярких примеров — разгон Учредительного собрания, в котором преобладали эсеры, большевики же оказались в меньшинстве.

Эсеры никак не хотели мириться с диктатом большевиков, но после ряда вооруженных выступлений в 1918—1921 годах, в которых левые эсеры

принимали активное участие, они решили впредь ограничиваться мирной оппозицией. Однако большевиков такой исход не устраивал, Центральный Комитет взял курс на ликвидацию всех оппозиционных партий. На лето 1922 года был намечен судебный процесс над лидерами левых эсеров, которые вот уже три года находились в тюрьме. Началась реализация программы, намеченной Лениным. В директивном письме народному комиссару юстиции Дмитрию Курскому Вождь требует: «...обязательная постановка ряда *образцовых* (по быстроте и силе репрессий...) процессов в Москве, Питере, Харькове и нескольких других важнейших центрах».

Ленин предупреждает о секретности мероприятия: «Ни малейшего упоминания в печати о моем письме быть не должно». Он рекомендует не останавливаться перед расстрельным приговором, надеясь на одобрение трудящихся масс, основательно подогретых шумной газетной кампанией.

Судебный спектакль вызвал громкий международный резонанс: в защиту гонимых выступили западные социалисты, они потребовали строгого соблюдения юридических норм, а также допуска на заседания суда представителей Второго и Венского Интернационалов.

Сценарий постановки отличался изощренным цинизмом. Обвиняемых разделили на две группы. В первую включили двенадцать членов ЦК и десять рядовых, все они сидели в тюрьме. Вторая группа была сформирована из дюжины «раскаявшихся». Эти пользовались свободой, причем один из них, Григорий Семенов, некоторое время жил в Германии и там, в Берлине, выпустил брошюру, в которой обвинил своих бывших соратников в

контрреволюционной деятельности. Соавтор этой провокации, Лидия Коноплева, выступила в том же духе в советской печати. Таким образом, второй группе обвиняемых были поручены роли обвинителей. Ради соблюдения приличий к ним приставили «защитников», среди которых оказались такие авторитеты, как Николай Бухарин и Михаил Томский. А на сцене Колонного зала Дома союзов, на председательском месте — Георгий Пятаков и не раз уж испытанный в деле государственный обвинитель Николай Крыленко. Рядом с ним — какие имена! — известный историк-марксист Михаил Покровский и нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Трибунал, игнорируя элементарные процессуальные нормы, подавлял малейшие попытки подсудимых добиться объективного рассмотрения дела. Убедившись в том, что суд не намерен считаться даже с Берлинским соглашением о недопустимости смертных приговоров оппозиционерам, представители западно-европейских социалистов отказались участвовать в московском фарсе и покинули Колонный зал.

Что касается шумовых эффектов, то в них недостатка не было. 20 июня, на двенадцатый день от начала процесса, перед Домом союзов прошла грандиозная по тем временам демонстрация — десятки тысяч человек. Они требовали смертной казни для предателей. Большую группу демонстрантов, специально подготовленных, впустили в зал. С первого дня в зале, в роли представителей общественности находились верные люди, специалисты в своем деле. Отрепетированные реплики и саркастические замечания создавали в зале бывшего Дворянского собрания

атмосферу травли. В тот памятный день вечернее судебное заседание превратилось в митинг с участием уличной толпы. Снова — требования смертной казни, оскорбления, улюлюканье... Этот шабаш закончился лишь к полуночи. Наутро защитники потребовали замены состава суда. Эта дерзкая выходка получила достойный отпор: известных в стране адвокатов бросили в тюрьму, а затем выслали из столицы.

В чем только не обвиняли эсеров — и в покушении на жизнь Ленина, и в получении денег от Антанты, и в связях с белоэмигрантами, и в организации тамбовского восстания... Но не о спасении собственной жизни заботились оклеветанные революционеры, они пытались превратить это судилище в обвинительную акцию против антинародной политики большевистской партии. Попытка удалась им вполне, благо машина репрессий в те годы не была еще отлажена.

...Приговор был суров: двенадцати членам ЦК — смертная казнь, остальным десяти — разные сроки заключения. Обвиняемым второй группы, добросовестно отыгравшим свои роли, дали понемногу. Однако к троим — в их числе к Семенову и Коноплевой трибунал был беспощаден. Впрочем, верный жанру фарса Президиум ВЦИК поспешил их помиловать, вместе с остальными «покаявшимися». По этому случаю в Кремле, под занавес, был устроен банкет...

Исполнение смертного приговора в отношении лидеров эсеров было приостановлено, осужденных предупредили, что их судьба будет зависеть от поведения оставшихся на воле товарищей.

Институт заложников зародился на заре так называемой диктатуры пролетариата с одобрения

Ленина. Во время суда над левыми эсерами тяжело больной вождь находился в Горках и узнавал о подробностях от Крупской. Вряд ли он давал трибуналу прямые указания и вмешивался в ход постановки. Но если не он, то кто же? Здесь чувствуется изощренный в злобе ум и твердая рука. И когда мы в своем повествовании дойдем до судебных спектаклей тридцатых годов, разыгранных в том же Доме союзов, вспомним процесс над эсерами. Театр Иосифа Сталина был заложен при жизни Владимира Ленина.

Остается сказать несколько слов о судьбе ответственных участников процесса 1922 года. Не пройдет и пятнадцати лет, как председатель трибунала Пятаков и вместе с ним Крыленко и Бухарин станут жертвами репрессий. Гонения ожидают в близком будущем Луначарского и посмертно — Покровского.

То, что произошло на весенней сцене в 1922 году, эхом прокатилось по стране: публичные суды над левыми эсерами прошли сразу в нескольких губернских центрах. А в Баку решили инкриминировать местным эсерам не террор, а поджог нефтепромыслов. Каких-либо доказательств не было и быть не могло. Единственной уликой, предъявленной обвиняемым, стала фотография с изображением поэтессы Ольги Сухоруковой-Спектор на фоне горящей нефтяной вышки. Следователь ей попался именитый — Александр Тарасов-Родионов. На юридическом поприще он стал заметной фигурой после процесса над В. М. Пуришкевичем. Тарасов-Родионов заставил известного черносотенца дать ложные показания, столь нужные пролетарскому суду.

В 1923 году следователь по важнейшим делам

Верховного трибунала РСФСР Тарасов-Родионов был послан в Баку для постановки нового судебного фарса. В это театральное действо было вовлечено 32 обвиняемых. Зрители заполонили тротуары улиц, по которым везли арестантов в сопровождении верховых казаков с саблями наголо. В зале заседания Верховного ревтрибунала Азербайджанской ССР — усиленная охрана и надежно срепетированные зрители.

Спектакль, сработанный по московскому сценарию, закончился расстрельным финалом: пять «поджигателей» приговорены к смертной казни, остальные к разным срокам заключения, один оправдан.

Одним из исполнителей был молодой Лаврентий Берия, его участие отмечено благодарностью и именным оружием.

Напористый следователь Тарасов-Родионов позднее получил известность как автор повести «Шоколад». Жизнь писателя-следователя Тарасова-Родионова, ветерана Театра Иосифа Сталина, укоротят в том самом 38-м году, когда Берия получит пост наркома внутренних дел СССР.

Шахтинское дело

К истреблению интеллигенции большевики приступили в первые же дни советской власти. В годы гражданской войны Сталин упорно преследовал офицеров, перешедших добровольно на службу в Красной Армии. Ленин не разделял утробной ненависти товарища Сталина к «военспецам», зато Вождь Октября с государственным размахом изгонял из страны инакомыслящих, жестоко пре-

следовал служителей церкви. Геноцид против технической интеллигенции Сталин развернул уже после смерти Ленина, в конце 20-х годов. Время генсек выбрал то самое, когда страна приступила к индустриализации и более всего нуждалась в опытных инженерах. На этом фоне шахтинское дело прозвучало сигналом к войне против «буржуазных спецов-вредителей».

Следствием по делу 53 инженеров Донецкого угольного бассейна руководил заслуженный чекист Ефим Евдокимов. Целый штат его подручных вымогал-выбивал у безвинных специалистов нужные показания.

Председатель ОГПУ Менжинский поначалу отказался инкриминировать инженерам вредительство, он намеревался даже привлечь Евдокимова к ответственности, но у генсека на этот счет были свои планы. Законность его мало беспокоила. Главное — закрепиться на кремлевском холме. Судебное представление намечено было показать московским зрителям, пришлось поэтому тщательно отрепетировать все мизансцены. Обвинение получилось грандиозным, каким-то тяжелым, перенасыщенным. С таким «материалом» в балагане выступать, но никак не на заседании Специального присутствия Верховного Суда СССР... В самом деле:

— вредители ставили цель — вызвать в 1929 году к моменту ожидаемой интервенции врагов Советского Союза недовольство трудящихся;

— тормозили снижение себестоимости;

— препятствовали повышению производительности труда;

— срывали капитальное строительство;

— заказывали новое оборудование — без пла-

нов и специальных расчетов — и машины, неприменимые в местных геологических условиях...

Все это делалось по директивам... бывших владельцев шахт и по прямым указаниям польской контрразведки и французского Генерального штаба. От них вредительская организация получала денежные средства. Перечень преступных намерений включал еще что-то, и — никаких улик.

С таким багажом выводить на сцену обвиняемых можно было только в стране с тоталитарным режимом. К 1928 году он здесь уже созрел.

Специальное присутствие заседало около двух месяцев. В роли прокурора-обвинителя Сталин выставил уже нам знакомого Николая Крыленко. Вчитываясь в биографию заслуженного большевика, спрашивая сослуживцев Крыленко, я задавался вопросом: неужто этот совсем не глупый человек не мог отличить правды от кривды, не ведал что творит?

...У этого спектакля была своя кульминация, когда Крыленко выпустил на сцену сына «врага народа» А. Колодуба. Двенадцатилетний мальчик потребовал для отца смертной казни, а для себя попросил новую фамилию.

В 37-ом моя старшая сестра Вера, двадцатилетняя комсомолка, потребовала расстрела для нашего отца, брошенного в лубянский подвал. Так же поступил Владимир, старший брат, коммунист ленинского призыва. И тем спаслись. Время было такое...

Представителей западных информационных агентств мизансцена с участием мальчика поразила более всего. Пройдет всего семь лет и тогда уже никто ничему удивляться не будет.

Решение суда оказалось на редкость дифференцированным — для вящего правдоподобия: 11 человек — к расстрелу, 38-ми «вредителям» — разные сроки тюремного заключения, от 1 до 10 лет, четырем из них — условно. И — что уже никогда не повторится на московских судилищах — четыре оправдательных приговора. Тот, кто заказал это зрелище, не забыл о гуманности: шестерым смертникам расстрел заменен 10 годами тюрьмы. Однако эти ухищрения не могли обмануть представителей иностранной печати. Разоблачительные статьи поместили все ведущие газеты на Западе. Что с того? Советская печать, вся, до последней районной газеты, натренированно извергала хулу на «поганых псов империализма» и требовала от имени всего советского народа жестоко покарать вредителей.

Печать и радио представили дело в таком свете, что казалось, будто справедливое негодование народа вот-вот выплеснется через край. Подавляющее большинство верило органам правосудия безоглядно. Прозорливых были единицы, сомневающихся — немного, среди последних — Серго Орджоникидзе. Он тогда возглавлял Центральную Контрольную комиссию и должен был по службе знать подлинные факты. Но генсек к тому времени уже научился ловко обходить ЦКК и прекраснодушного товарища Серго. И все же...

Прошло четыре года после памятной шахтинской экзекуции, но нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе, в чьем ведении теперь находился Донбасс, так и не избавился от сомнений.

...На одном совещании в кабинете наркома молодому инженеру-химику Давиду Гальперину

стало плохо, он потерял сознание. Когда он пришел в себя, около него стоял Серго, остальные ушли. Гальперину запомнилось озабоченное лицо наркома. И первый вопрос, который он задал:

— Скажите мне, только честно: вы верите или не верите в «Шахтинское дело»?

— Честно? — переспросил инженер.— Оно мне представляется малоправдоподобным.

Этот проклятый вопрос Орджоникидзе задавал позднее и другим сотрудникам...

Через два года состоится еще один схожий с шахтинским спектакль под названием «Процесс промпартии». Оказывается, многие осужденные по Шахтинскому делу состояли в одном из отраслевых объединений — филиалов ЦК промышленной партии. И опять — французский генштаб, подготовка интервенции, вредительство, шпионаж. И, как всегда, мощная волна негодования, горячий трудовой энтузиазм, помноженные на встречные промфинпланы — в ответ на вылазку классового врага...

Шаблон и масштаб театрального действа.

Представление отменяется

Судебную расправу над Леонидом Николаевым, стрелявшим в Кирова, и над группой Котолыкова Сталин учинил в закрытых для публики залах, подробности на страницы газет не попали. Наказание руководителям Ленинградского УВД Хозяин назначил минимальное — ссылка в Сибирь за якобы проявленную халатность. И здесь обошлось без так называемых условно открытых процессов.

А вот арест ближайших помощников Кирова пришлось отложить, подобный поворот не вписывался в роль скорбящего друга, которую разыграл генсек в Смольном. Товарищей Кирова забрали, одного за другим, осенью 1937-го. К тому времени главари ленинградской охранки получили директиву об организации судебного процесса — спектакля. Разработку сценария Сталин поручил начальнику УНКВД области Леониду Заковскому, и тот с вполне понятным усердием принялся сочинять пьесу на заданную тему о «Ленинградском вредительском, шпионско-диверсионном террористическом центре». Позднее название видоизменили, придумав «Бухаринский право-троцкистский Ленинградский центр», с филиалом на Октябрьской железной дороге. Структура «центра» получилась простой, но всеохватной: руководители — 5 человек. Контрольные комиссии города и области — по 3 человека. Райкомы партии — по 6 человек. Ленсовет с Облисполкомом — 4 человека. Профсоюзный филиал — 3 человека. Комсомольский филиал — 5 человек. Печать и культура — 3 человека. Хозяйство и производство — 3 человека. Торгово-кооперативный филиал — 3 человека. Транспорт — 3 человека. Военный округ. Балтийский флот.

Ленинградскому историку Дмитрию Смородину довелось записать воспоминания заместителя начальника политотдела Октябрьской дороги Александра Моисеевича Розенблюма, арестованного в октябре 37-го и чудом уцелевшего. В поисках правдоподобных деталей следователи на глазах Розенблюма разрабатывали разные варианты предварительного сценария. Собирая политический криминал на сотрудников Кирова: М. С. Чу-

дова, И. Ф. Кодацкого, Б. П. Позерна, П. И. Смородина, П. Н. Струппе, А. И. Угарова, П. А. Алексеева, подручные Заковского выбивали нужные показания не только у своих узников, но и у оставшихся на свободе (до времени!..) партработников.

С Розенблюмом вышла неувязка. Выросший в партийном подполье рабочий паренек испытал царские тюрьмы и ссылку, он готов был умереть под пытками, но не поддаться на провокации. А может у старого партийца оказался высокий болевой порог?.. Как бы то ни было, пришлось Заковскому менять тактику. Он вызвал узника в кабинет, любезно поздоровался, беседу вел в теплых тонах. Крайне сожалел о том, что видит заключенного в таком безобразном состоянии, сделал выговор начальнику отдела за то, что тот не умеет работать с такими хорошими людьми, как Александр Моисеевич, что в этом отделе установился один шаблон для всех. Дескать, признай себя участником контрреволюционной организации — и баста. Между тем у НКВД в отношении подследственного имеются совсем другие расчеты. Он, Заковский, не собирается делать Розенблюма непосредственным, активным участником какой-либо антисоветской организации. Поэтому предлагает начальнику отдела изъять из следственного дела все имеющиеся там протоколы допросов. Тем более, что они не подписаны. Пожалуй, продолжал он, Розенблюм правильно поступил, незачем на себя клепать и подписывать всякие небылицы.

После такого вступления Заковский заявил, что подследственный должен понимать — из тюрьмы никто на волю, конечно, не выходит.

Борьбу со следствием вести глупо. Любое сопротивление будет сломлено, для этого имеются все средства. Рано или поздно и Розенблюм подписал бы все, что нужно следствию, продолжал комиссар Государственной безопасности I-го ранга. НКВД, однако, предлагает другой вариант, при котором, во-первых, можно сохранить голову, и, во-вторых, сразу же перейти на другой тюремный режим в чистой одиночке, где койка с матрацем, подушкой, одеялом, простыней, полотенцем, с книгами, сытным вкусным питанием, баней, парикмахерской, одеждой и бельем, а главное — без рукоприкладства и «стоянок».

В обмен на предательство — жизнь? Причем, вместо роли обвиняемого Розенблюму предложили роль свидетеля. Рассказ Розенблюма использовал в своем закрытом докладе на XX съезде партии Никита Хрущев: «Заковский развернул передо мной несколько вариантов предполагаемых схем этого центра и его ответвлений. Ознакомив меня с этими схемами, Заковский сказал, что НКВД готовит дело об этом центре, причем процесс будет открытым. Будет предана суду головка центра, 4—5 человек: Чудов, Угаров, Смородин, Позерн, Шапошникова (жена Чудова) и другие, от каждого филиала по 2—3 человека.

Дело о Ленинградском центре должно быть поставлено солидно. А здесь решающее значение имеют свидетели. Тут играет немаловажную роль и общественное положение (в прошлом, конечно), и партийный стаж свидетеля.

Самому тебе,— говорил Заковский,— ничего не придется выдумывать, НКВД составит для тебя готовый конспект по каждому филиалу в отдельности, твое дело его заучить, хорошо запомнить

все вопросы и ответы, которые могут задавать на суде. Дело это будет готовиться 4—5 месяцев, а то и полгода. Все это время будешь готовиться, чтобы не подвести следствие и себя. От хода и исхода суда будет зависеть дальнейшая твоя участь. Сдрейфишь и начнешь фальшивить — пеняй на себя. Выдержишь — сохранишь кочан (голову), кормить и одевать будем до самой смерти на казенный счет».

Что касается спасения Розенблюма, то Заковский твердо обещал изъять его имя из дела транспортного филиала «Центра». Весьма зыбкая гарантия, если учесть, что в том деле содержатся данные о подготовке террористического акта против самого Жданова.

Пытаясь вызвать у подследственного чувство доверия к славным чекистам, Заковский называл его уже «дядей Сашей» и, войдя в роль задушевного друга-наставника, стал напропалую откровенничать. Ведь Розенблюм входил в различные руководящие партийные, советские, профсоюзные органы Ленинграда и области, его все знают, уважают... «Особенно важно, что ты член партии с 1906 года. Выступление на процессе таких свидетелей, а мы готовим их еще несколько, обеспечит полный успех дела на суде. Ступай в камеру и подумай, потом позовут».

О солидности «дела» ленинградские «драматурги», действительно, позаботились. Они ознакомили Розенблюма с окончательным вариантом постановки, дали еще несколько дней на размышление. Еще один вызов к Заковскому — еще один отказ арестанта. На этот случай начальник заготовил новый план: старого большевика предполагалось объявить провокатором, сообщить на волю,

будто по его собственноручным показаниям он в таком-то году (год будет подобран), находясь в царской тюрьме (и тюрьму определят), купил свободу у жандармов ценою выдачи ряда лиц (фамилии тоже установят). «Нам поверят, а ты где будешь, на том свете? Подумай, дядя Саша. Неужто лучше прослыть провокатором, чем выступать свидетелем? Подумай!»

Нет, и на эту провокацию не поддался Александр Розенблюм. Нашлись, вероятно и другие не менее стойкие узники, иначе почему бы ленинградским сочинителям и костоломам не вывести срепетированную труппу на сцену? Ни Прокуратура, ни Военная коллегия Верховного суда требовательностью не отличались. И все же кремлевский заказчик отменил судебный спектакль.

Показательные спектакли

В постановке знаменитых московских процессов незаурядный режиссерский талант Сталина засверкал новыми гранями. Он увлеченно работал над пьесами, сочиненными драматургами-криминалистами. Что касается пьесы 1938 года, то, проявив особую смелость и зрелый демократизм, он поручил ее сочинение Карлу Радеку, которого к тому времени уже посадили как врага народа. Ему предстояло самому участвовать в представлении.

...В Октябрьском зале Дома союзов, где в августе 1936 года на процессе Каменева и Зиновьева Антонов-Овсеенко видел в действии Военную коллегию Верховного суда во главе с Ульри-

хом. Не пройдет и двух лет, как отец предстанет в качестве «врага народа» перед штатным экзекутором в мундире армвоенюриста.

А пока заседание продолжается, и прокурор Российской Федерации Антонов-Овсеенко сидит среди зрителей, пораженный коварством и низостью контрреволюционных заговорщиков. Вот кто, оказывается, направлял руку Николаева, убийцы Кирова, и вместе с Иудушкой-Троцким готовил реставрацию капитализма! Нынешние злодеяния этой банды — не случайность. Еще в семнадцатом году Ленин заклеймил их как штрейбрехеров Октября.

До начала процесса, под свежим впечатлением неопровержимых «улик» и достоверных «фактов», Антонов публикует в «Известиях» яростную статью с характерным заголовком «Добить до конца!»

Поседевший в боях революционер проклинает троцкистско-зиновьевскую банду, этот «особый отряд фашистских диверсантов», злейших врагов народа, с «которыми может быть только один разговор — расстрел».

Антонов раскаивается в своем прошлом. В 1923—1927 годах он пытался примирить Троцкого со Сталиным. Теперь он восхищается прозорливостью великого Сталина, которого окружают горячая любовь и преданность трудящихся.

«Мне стыдно седин Антонова-Овсеенко»,— заметил Николай Иванович Бухарин, узнав об этом письме.

А Сталин потирал, довольный, руки. Действительно, Антонов-Овсеенко сказал именно то, что нужно: сравнил СССР с могучим гранитным утесом, назвал троцкистско-зиновьевских бандитов

прямыми агентами гестапо, не забыл упомянуть «первое непременное условие победы — железное ленинское единство партии в беспощадной борьбе с агентурой классового врага» и совершенно справедливо отметил решающую роль товарища Сталина, который «орлиным взором» видел перспективу и обеспечил это единство.

Значит, не напрасно он изыскивал способы уничтожения соперников на пути к верховной власти. Значит, его стратегия победила и в сердцах соратников Ленина, если удалось провести, словно ребенка, такого опытного политика, как Антонов-Овсеенко. Значит, в спектакли, разыгрываемые на сценах Дома союзов, поверили!

За неделю до начала процесса обвиняемым позволили вволю поспать, их подкормили, придали приличный вид, но вовсе заретушировать следы истязаний не удалось. Главные действующие лица выглядели истощенными, пришибленными. Как показывает бывший ответственный сотрудник НКВД, перед выходом на сцену Ягода и Ежов провели с обвиняемыми небольшое совещание. От имени Сталина их заверили в том, что жизнь им будет сохранена, если никто не выйдет за рамки роли. Ежов предупредил: Любая индивидуальная попытка отказаться от согласованных признаний будет рассматриваться как предательство, как заговор всей группы в целом.

Оформление сцены Октябрьского зала было продумано до мелочей. Большой стол, покрытый ярко-красной скатертью, за ним — три монументальных кресла с гербом Советского Союза, трибуна для государственного обвинителя, отгороженные от зала низким деревянным барьером места для обвиняемых. Да три рослых

охранника с примкнутыми к винтовкам штыками.

Финал спектакля, то есть оглашение приговора, был подготовлен заранее, как и полагается в профессиональном театре. Однако без накладок не обошлось.

Проходивший по делу Гольцман показал на суде, что встречался со старшим сыном Троцкого, Львом Седовым. Место встречи — Копенгаген, отель «Бристоль», время — лето 1932 года. Когда материалы процесса были опубликованы на Западе, всплыли весьма нежелательные обстоятельства: здание отеля снесено еще в 1917 году, а сын Троцкого в указанное время находился в Берлине, где держал экзамен в высшую техническую школу.

Допрос другого подследственного, друга Гольцмана, чуть не испортил все дело.

Вышинский. Когда вы покинули центр?

Смирнов. У меня не было намерения покидать, не было, что покидать.

Вышинский. Центр существовал?

Смирнов. Какой центр?

Вышинский. Мрачковский, центр был?

Мрачковский. Да.

Вышинский. Зиновьев, центр был?

Зиновьев. Был.

Вышинский. Евдокимов, центр был?

Евдокимов. Да.

Вышинский. Бакаев, центр был?

Бакаев. Да.

Вышинский. Ну что, Смирнов, будете и теперь настаивать, что центра не было?

Но Смирнов стоял на своем. Тогда Вышинский вновь опросил членов мифического общества. Они повторили сказанное ранее и добавили, что Смирнов возглавлял троцкистскую часть заговора. Смирнов повернулся к ним: «Вам нужен вождь? Ладно, берите меня».

Процесс сопровождался шумовым оформлением. Все газеты грохотали проклятьями в адрес предателей и шпионов, продавшихся фашизму, а заодно и Иуде-Троцкому.

К финалу гнетущая атмосфера в зале стала вовсе нестерпимой. «Я требую, чтобы эти бешеные псы были расстреляны — все до одного!» — так закончил свою обвинительную речь Вышинский на утреннем заседании 22 августа. Оставался последний акт — заключительное слово подсудимых. Зиновьев еще раз склонил голову перед могучим Вождем — неужто надеялся на пощаду? И так определил свое место в истории: «Троцкизм — это разновидность фашизма, а зиновьевизм — это разновидность троцкизма...»

Другие обвиняемые называли себя подонками и предателями, не смея даже помыслить о снисхождении. Мрачковский прямо заявил, что его следует расстрелять. Сын и внук рабочих, революционер, беззаветно преданный партии, Мрачковский вдруг перекинулся в стан врагов. О своем славном прошлом он рассказал для того, чтобы каждый «помнил, что не только генерал, не только князь или дворянин может стать контрреволюционером, рабочие или люди рабочего происхождения, вроде меня, тоже могут становиться контрреволюционерами».

Настала очередь Каменева. Было время — в

Туруханской ссылке, потом в Петрограде, в семнадцатом году и в первые годы советской власти — Сталин считал его своим мэтром, не раз вместе с ним противостоял Ленину. Теперь жизнь Каменева зависела от прихоти верного ученика. Как пишет Орлов, Каменев покаялся, признал себя последним негодяем и сел на место, но спохватился и попросил разрешения передать своим сыновьям несколько слов. И он сказал: «Каков бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. Идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным».

Он сел и закрыл лицо руками.

Вот он, апофеоз!

Последние слова Каменева не могли не тронуть исполнителей на сцене и в зале — даже самых непроницаемых. Но судьям предстояло разыграть еще один фарс, последний. Они удалились в совещательную комнату, где на столе уже ждал готовый приговор, смертный для всех осужденных. Надо было выдержать последнюю паузу, предусмотренную Автором пьесы.

Лишь в половине третьего утра состоялся торжественный выход, и неподменный Ульрих зачитал приговор.

Следующий спектакль был разыгран в конце января 1937 года. Официально он назывался «Процесс антисоветского троцкистского центра», в историю он вошел как процесс Пятакова, Сокольникова, Серебрякова, Муралова, Радека. Остальным двенадцати подсудимым Сталин отвел роли исполнителей директив главных троцкистов, членов вымышленного «Параллельного троцкист-

ского центра». Генсек неукоснительно следовал испытанным канонам сценического действия — непрерывность и темп. Публике никак не следует остывать, ее интерес надо подогревать постоянно.

Распахнулись стены бывшего Дворянского собрания, зрительным залом стала вся страна. Да что там, всю планету пригласили лицезреть и слушать новую постановку.

Набор обвинений выглядел грандиозно:

— захват власти при помощи военной интервенции;

— сотрудничество с германскими фашистами;

— сотрудничество с Троцким, выполнение его установок;

— реставрация капитализма в СССР;

— измена родине;

— диверсии, вредительство, шпионаж.

И — обязательный террор против особы Вождя и его соратников.

Один из них уже здесь, в Октябрьском зале, на своем привычном месте у левой стены. За прокурорским столом. Прилизанные седые волосы на пробор, аккуратные усики, черный костюм, белая сорочка, галстук.

...Предавая казни своих врагов, в чем только не винил их Иван Грозный. Они-де хотели крымского хана да литовского короля Жигмонта призвать и отдать королю Псков и Новгород. Да с турецким султаном преступную связь замыслили. Народ грабили и губили. Забыв крестное целование, намерились извести царя чарами...

Перед тем, как палач отсекал голову злодея, думный дьяк государев зачитывал на площади по длинному свитку все его вины.

На сталинских процессах-спектаклях роль думного дядьки исполнял Вышинский. Сколько свитков понадобится, чтобы уместить одни лишь ругательства в адрес подсудимых, приведенных на заклание в Октябрьский зал. Шайка бандитов, грабителей, диверсантов, шпиков, убийц. Троцкисты всегда были капиталистической агентурой в рабочем движении, утверждает прокурор. А теперь троцкизм стал одним из отделений СС и гестапо. Дабы связать новую волну вредительства и саботажа с прежними, Вышинский вспоминает и Шахтинское дело и дело промпартии, и недавний процесс Зиновьева. Он утверждает, будто Пятаков еще в 1918 году замышлял арест Ленина. Подобный криминал прокурор предъявит в следующем году Бухарину.

Процесс Пятакова идет к концу, пора готовить следующий.

Постановщики январского представления 1937 года вновь продемонстрировали сыгранность всех участников. Стоило Вышинскому — пусть плоско, пусть зло — пошутить, как в зале возникло движение, раздавался смех. Прокурор даже басню Крылова вспомнил, «Лев на ловле»,— к случаю. Зал аккуратно откликнулся коллективным смехом.

Хотя Ульрих и на этот раз — главное действующее лицо, он лишь подыгрывает прокурору, подавая редкие, не очень дельные реплики. А государев дьяк витийствует, не ведая ни меры, ни чести. Чувствуется отсутствие профессиональной школы, скудость мысли. Зато в избытке — злоба. «Вот бездна падения! Вот предел, последняя черта морального и политического разложения. Вот дьявольская безграничность преступлений!»

Обвинитель явно переигрывает. Подобная лобовая патетика покоробит кого угодно. Но не Сталина. Это его вкус, его заказ. Обвинитель уверенно вел свою роль и сделал все, чтобы жертвы — участники спектакля не преступали черты правдоподобия. Подвели опять драматург и репетиторы. Вынудив Пятакова признаться в получении лично от Троцкого программы действий Параллельного центра, они не обеспечили эту версию реальными деталями. В декабре 1935 года, когда якобы состоялась встреча Троцкого с Пятаковым, последний находился в Берлине с официальной миссией. Троцкий же в это время был в Норвегии. Их свидание не могло состояться и в силу целого ряда иных обстоятельств. Но эта явная накладка не помешала успеху спектакля. Англо-советский парламентский комитет, выпустивший свой отчет о процессе, отметил обоснованность обвинений. На председателя комитета, лейбориста Нила Маклина большое впечатление произвела искренность признаний обвиняемых. О чем тогда же поведала «Правда».

Следующий процесс начался утром 2 марта 1938 года в Колонном зале и окончился 13 марта чтением приговора. Казнь свершилась без промедления.

Этот судебный процесс оказался самым сложным, ибо драматург решил объединить в своей пьесе «правых» — Бухарина, Рыкова — с троцкистами и зиновьевцами, связав их с «заговором» Тухачевского, «делом» Енукидзе, «врагами партии» Рудзутаком и Гамарником, «националистическим подпольем» и иностранными разведками в придачу. К тому времени Сталин успел убрать Якова Агранова, Марка Гая, Льва Миронова,

Георгия Молчанова и ряд других руководящих работников НКВД, поднаторевших на прежних постановках. Генрих Ягода тоже угодил в тюрьму, ему предстояло сыграть свою последнюю роль в этом же спектакле. Бывший помреж — в роли обвиняемого... В то невероятное время случались и не такие метаморфозы.

Неудивительно, что подготовка нового судилища заняла целый год. Внимание публики — своей и заграничной — привлекали имена подсудимых: Бухарин, Рыков, Крестинский, Раковский, Розенгольц, Чернов, Гринько, Иванов. Трое первых входили при Ленине в состав Политбюро, остальные — в состав ЦК и правительства. Кроме них — руководители Узбекской республики Ходжаев и Икрамов и известные врачи Плетнев, Левин, Казаков. И несколько второстепенных фигур из разных ведомств на роли свидетелей-разоблачителей. На сцене — те же действующие лица: Вышинский, Ульрих с ассистентами Матулевичем и Иевлевым. Роль одного из помощников режиссера была поручена такому компетентному товарищу, как Миронов, начальник внутренней тюрьмы НКВД (однофамилец Льва Миронова). Он наблюдал за размещением подсудимых, объявлял «Суд идет!», следил за очередностью вызова свидетелей.

Полный ассортимент бредовых обвинений, с добавлением нового криминала Николаю Бухарину: он, как оказалось, еще в 1918 году готовил захват власти и с этой целью замыслил лишить жизни Ленина и Сталина... Перед троцкистами-террористами на сцене — Вышинский. Отрепетированные жесты присяжного громовержца, саркастическая улыбка, приторно-фальшивый пафос.

Сбоку, совсем близко,— следователи, одни — с тупыми, квадратными лицами, другие — востроносые, с длинными шеями, злые глаза буравят подсудимых. Следователи занимают пять первых рядов, роли им дали без слов, но их участие предусмотрено как обязательное. Из-за кулис бдительно наблюдает за поведением своих клиентов Миронов. Казни на Лубянке совершаются в его присутствии,— это подсудимым известно.

Заведующий отделом печати НКВД Евгений Гнедин занимал место в середине зала. Он описал пережитое в своей книге «Катастрофа и второе рождение». Над сценой было несколько небольших окошек, завешенных тонкой темной тканью. «Скрываясь за этими занавесками, можно смотреть сверху в зал, а из зала видно, как за тканью вьется дымок, явно дымок из трубки. Главный режиссер наблюдает за тем, как по его приказу творится чудовищное злодеяние...»

В самом начале случилась накладка. Крестинский, бывший секретарь ЦК, отказался признать себя троцкистом и отверг остальные обвинения. И как прокурор ни бился с ним, вернуть его в накатанную колею не смог. Свидетелей Крестинский прямо обвинил во лжи и заявил, что на следствии его вынудили дать фальшивые показания. Вышинский встревожился, но сумел сбить обвиняемого и довести его своими иезуитскими вопросами до сердечного приступа.

В тот первый день прокурор был вынужден прервать допрос Крестинского и возобновить его назавтра вечером. Дополнительные «репетиции» преобразили упрямца даже внешне. Он как-то съежился, стал отвечать на вопросы механически,

без интонаций. Теперь Крестинский признавал все, что навязывал ему обвинитель. Изобличать раскаявшегося помогал Христиан Раковский. Чем они все-таки его взяли, этого революционера героического склада?..

Вчерашнее выступление Крестинского прокурор назвал троцкистской провокацией. Обвиняемый объяснил свое поведение накануне чувством ложного стыда перед лицом мирового общественного мнения.

Узнаем мы когда-нибудь, кто сие придумал?..

А Вышинский с бульдожьим упрямством заставлял «преступников» признаваться в фантастических деяниях, начиная от покушений на жизнь генсека и связей с фашизмом, кончая заражением скота сибирской язвой и подбрасыванием в масло битого стекла. Эти инсинуации были явно рассчитаны на разжигание всенародной ненависти к террористам и вредителям. Вот они, виновники постоянной нехватки продуктов питания и одежды! Сталин применял этот политический маневр на всех судебных процессах.

Поведение Раковского на суде кажется особенно странным. На следствии шестидесятилетний революционер держался дольше всех, восемь месяцев. А потом «признался» в преступлениях, которых хватило бы за глаза на целую банду. Борис Збарский рассказывал дочери Рыкова, Наталье, что ее отца, очевидно, пичкали наркотиками, угрожали расправой над близкими.

А что сделали с Раковским?..

И все же он иногда выходил из заданного образа. Раковский был основателем румынской социалистической партии, издавал газету, и все это — за свой счет, точнее на средства, достав-

шиеся ему от богатого отца. Раковский помогал революционерам других стран, российским социал-демократам. Прокурор решил сыграть на его «сомнительном» происхождении.

Вышинский. Значит, я не ошибаюсь, когда говорю, что вы были помещиком?

Раковский. Не ошибаетесь.

Вышинский. Вот мне важно было выяснить, откуда шли ваши доходы.

Раковский. Но мне важно сказать, на что шли эти доходы.

«Это другой разговор» — прерывает его Вышинский.

И еще одна иррациональная сцена. Обвинитель затронул — в который раз! — тему убийства Кирова.

Вышинский. Вы лично приняли какие-нибудь меры, чтобы убийство Кирова осуществилось?

Ягода. Я лично?

Вышинский. Да, как член блока.

Ягода. Я дал распоряжение.

Вышинский. Кому?

Ягода. В Ленинграде Запорожцу. Это было немного не так...

Вышинский. А вы дали потом указания не чинить препятствий к тому, чтобы Сергей Миронович Киров был убит?

Ягода. Да, дал... Не так.

Вышинский. В несколько иной редакции?

Ягода. Это было не так, но это неважно.

Но Ягода посеял лишь сомнение в обоснованности обвинений. Бухарину удалось большее. Когда председательствующий Ульрих прервал его показания, заметив, что вместо прямого признания своей вины он приводит аргументы в свою защиту, Бухарин ответил: «Это у меня не моя защита, это у меня самообвинение». И тут же признал, что его программа вела к сползанию к буржуазно-демократической свободе. Вышинский настаивал на том, что она вела к сползанию к прямому оголтелому фашизму. Что и было с облегчением принято коммунистом Бухариным.

Чем не театр абсурда?

Далеко не все участники исполняли свои роли безупречно, но часто неумение восполнялось старанием. Надевшие маски преступников истово каялись, признаваясь порой в том, о чем не имели конкретного представления. Устроителям важнее было как, нежели что. А подлинные преступники, надев маски судей и прокуроров, отрабатывали свое благополучие. И право на жизнь. Это их объединяло, палачей и жертв,— страх. Одним Верховный экзекутор обещал жизнь в обмен на чистосердечные признания, другим платил комфортом за счет народа. Но он оставлял за собой «право» отнимать у главных исполнителей комфорт вместе с жизнью.

Злоба обвинителя не знала предела. Вышинский приписал большевикам Владимиру Иванову, Исааку Зеленскому и Прокопию Зубареву службу в царской охранке. Это выглядело мало правдоподобно, но главный сценарист не утруждал себя логикой. Весьма характерны последние слова Зубарева: «У меня единственный довод...— это предварительный следственный материал и мое

честное поведение и признание всех своих преступлений на судебном процессе».

Для расправы с профессором Плетневым был придуман новый трюк. Одной из ежовских «доброжелательниц» поручили роль пациентки. В конце 1936 она явилась на прием к Плетневу, потом бывалая дама стала досаждать профессору дома. По сценарию она посетила Плетнева первый раз два года назад, он укусил ее за грудь, надругался над пациенткой... по этому поводу «Правда» напечатала большую статью под трагическим заголовком «Профессор — насильник, садист». В тот же день, 17 июня 1937 года, в действие вступили другие газеты, посыпались реплики коллег Плетнева, страна зашумела митингами. Получив отмеренные ему два года, Плетнев вскоре вышел на сцену Октябрьского зала в роли отравителя Максима Горького и его сына.

Профессору Плетневу были известны обстоятельства гибели Надежды Аллилуевой. Но в затеянной против него клеветнической кампании исполнители явно перестарались, уж слишком грубой оказалась эта стряпня. Однако Сталин тонкостью не грешил. К тому же он знал свою публику, приведенную к тотальному послушанию. Ему нужно было во что бы то ни стало отвести от себя подозрения в причастности к гибели жены. И — к убийству Кирова. Вот почему на каждом процессе-спектакле прокурор навязывал подсудимым роль организаторов убийства Кирова. Вышинский пришел в ярость, когда не удалось навязать эту роль ни Бухарину, ни Рыкову.

...Все эти дни в зале незримо присутствовало еще одно действующее лицо — Смерть. Долго выдержать в этой гнетущей атмосфере нетренирован-

ным зрителям было невмоготу. Но время от времени трагическое течение действия перемежалось фарсом.

Обвинитель сообщил о записке-талисмане, обнаруженной в кармане обвиняемого, и попросил у суда разрешения прочесть ее. Презрительным тоном, под хихиканье зала, Вышинский прочел из Псалмов: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...» и т. д. Потом спросил Розенгольца: «Как это попало вам в карман?»

Розенгольц. Однажды этот небольшой пакетик, перед уходом моим на работу, жена положила мне в карман. Она сказала, что это на счастье.

Вышинский продолжал юмористическим тоном: «И вы несколько месяцев носили это «счастье» в заднем кармане?»

Розенгольц. Я даже не обращал внимания...

Вышинский. Все-таки вы видели, что ваша супруга делает?

Розенгольц. Я торопился.

Вышинский. Но вам было сказано, что это семейный талисман на счастье?

Он подмигнул публике, раздался громкий хохот, и слушание дела закончилось.

Вышинский проявил себя актером многогранным. Надменный распорядитель жизни и смерти, хулиганствующий крикун, грязный хулитель, столп правосудия, он менял маски с ловкостью эстрадного престижитатора.

Спектакль подошел к концу. Еще одна фальшивая сцена — ночное, почти семичасовое совещание суда, когда текст приговора давно уж изготовлен.

Какая все-таки необычная пьеса, ее финал известен лишь Сочинителю, и лишь перед самым концом станет известен нескольким лицам из юридической обслуги.

До последнего часа надеялись обвиняемые на милость Сталина. Он обещал... Да, но на прошлогоднем спектакле всех обманул. Но теперь, теперь они выполнили все условия игры — каялись до исступления. Слово — за Ним. И оно грянуло — казнить всех, кроме троих. Этих отправят на лагерную смерть.

«Расстрелять, как поганых псов! — заключил прокурор.— Требует наш народ одного: раздавите проклятую гадину!

Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом... Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем — великим Сталиным! — вперед и вперед, к коммунизму!»

Вышинского оттеснили со сцены в день смерти Сталина. Через полтора года, будучи в Нью-Йорке, он получил срочный вызов в Москву. А там в начале года скоропостижно скончался весьма заслуженный подручный генсека Матвей Шкирятов. Покончил жизнь самоубийством генерал армии Иван Масленников, один из бывших заместителей Берия. Его уже начали вызывать на беседы в ЦК... Подошла пора отвечать за содеянное. Инфаркт настиг бывшего Генерального про-

курора, а тогда уже полномочного представителя СССР в ООН Вышинского в его служебном кабинете.

Могил невинных жертв не сохранилось, их просто не было. Прах Вышинского покоится в Кремлевской стене...

«Помилование»

Вчитываясь вновь и вновь в протоколы так называемых открытых судебных процессов, перелистывая старые газеты, невольно ощущаешь себя театральным зрителем. Более полувека прошло с тех пор, но и поныне для многих остается без ответа вопрос — почему они признавались в преступлениях, которые им приписывали?

Незадолго до начала первого процесса 1936 года — Верховный драматург вооружил следователей инструкцией, поощряющей применение любых методов физического воздействия. Функционеры Лубянки не нуждались в понуканиях. Помимо пыток — лишения сна, избиения, электрошока, они подавляли волю, разрушали психику подопечных химическими средствами и газами. К пыткам физическим добавляли пытки моральные, угрожая расправой над родителями, женами, детьми. Самих подсудимых ожидала казнь, причем каждый знал, что в случае отказа сотрудничать с бригадой режиссеров — наркомом внутренних дел, прокурором, председателем «суда» — им предстоит уйти из жизни с позорным клеймом врага народа. Над ними довлела партийная дисциплина или наисквернейшие большевистские предрассудки (выражение В. Антонова-

Овсеенко). Подследственным внушали, что участие в открытом судебном процессе — это веление партии, нельзя подрывать ее международный авторитет.

И последний фактор. Деморализованных, измученных пытками коммунистов предупредили, что отказ на суде от прежних показаний хотя бы одного обвиняемого повлечет за собой жестокую расправу над всеми. Круговая порука...

До сих пор бытует мнение, что на судебных процессах конца тридцатых годов выступали загриммированные актеры-двойники. Иные историки убеждены в подмене Николая Бухарина актером МХАТа Хмелевым. Свои сомнения по этому поводу высказывает мемуарист Василий Котлов. Сам он вскоре тоже угодил на Лубянку. Котлов наотрез отказался сотрудничать с сочинителями опасных для жизни пьес, за что следователь Степанов не раз бросал его в карцер. Степанову все это надоело, и он сказал на одном из последних допросов: «Не запирайтесь в своей контрреволюционной деятельности. Здесь о вас два тома написано. Признавайтесь и ставьте подпись». Но Котлов продолжал настаивать на своей невиновности.

«Тогда сиди,— заметил с напускным равнодушием следователь,— мы выпустим вместо тебя актера».

«Театр — тюрьма. Суд — театр» — этими словами заканчиваются воспоминания Котлова.

Весь мыслимый арсенал насилия и обмана использовал кремлевский провокатор для успеха постановки. Попав под жернова этой адской машины, кто смог бы устоять? Им была обещана жизнь. Пусть их не тревожит суровый расстрельный приговор. Искренне раскаявшихся, тех, кто

до конца разоружится перед партией, ждет помилование. Участники процесса 1937 года помнили, как генсек поступил с Зиновьевым и Каменевым — им тоже была обещана амнистия. Помнили и... поверили искусителю. Кто их осудит за это?

По ходу дела организатору театрализованной провокации пришлось подновлять известное постановление ЦИК СССР, принятое в декабре 1934 года после убийства Кирова. Этот документ ввел в практику внесудебную расправу с «террористами» — без участия прокурора и защиты, без права на кассацию и амнистию. Объявив о премьере нового представления, Сталин вынужден был вернуться к процессуальным нормам соответствующего кодекса.

Отгремели чугунные слова смертного приговора, увели осужденных, опустел Октябрьский зал, но спектакль на том не кончился. Зачем понадобился Сталину фарс с просьбами о помиловании?

Иван Никитич Смирнов вступил в партию рабочим пареньком, прошел царские тюрьмы, ссылку, совершал дерзкие побеги. Отважный революционер, честный, прямой, он не мог смириться с авантюрной политикой Сталина, с его диктатом, и принял сторону Троцкого. Когда высланные из Москвы оппозиционеры, поверив обещаниям генсека, раскаялись и были возвращены в лоно партии, Смирнов не поддался иллюзиям. И вдруг этот волевой, непримиримый боец осуждает свое прошлое и клянет Троцкого...

Солдат Николай Иванович Муралов стал командующим войсками Московского военного округа. В декабре двадцать третьего, не видя иного способа борьбы с перерождением партийной вер-

хушки, он пришел к наркомвоенмору Троцкому: — Лев Давидович, я возьму роту красноармейцев и поставлю эту сталинскую клику к стенке.

Троцкий удержал Муралова. Что заставило его теперь, в январе 1937 года написать: «Я осмеливаюсь убедительно просить... пощадить мою жизнь.».

Зиновьев, Каменев, Пятаков, Серябряков — профессиональные революционеры, испытавшие царские гонения, сподвижники Ленина, активные помощники генсека, просят о «величайшей милости»... Их ходатайства были напечатаны через несколько часов после оглашения приговора. Исполнители сталинской воли торопились и не дали себе труда разнообразить текст. Многие выражения будто под копирку повторяются:

— глубоко раскаиваюсь...

— преступление мое велико...

— пошел за Троцким...

— окончательно порвал с контрреволюционным троцкизмом...

— на суде дал исчерпывающие и честные показания...

— горячо желаю остаток своей жизни посвятить социалистической родине...

Для полноты картины не достает прошений о помиловании, написанных Николаем Бухариным. Они опубликованы венгерским историком Миклошем Куном. Как известно, признания Бухарина достались команде следователей упорными трудами, и все же он нашел в себе силы в последний день суда отвергнуть конкретные обвинения.

Приговоренный к смерти, Николай Иванович встал на колени перед высшим правительственным органом. Так он и написал, признаваясь в «тягчайших преступлениях». Надеясь на помилование, он заверяет Верховный совет в том, что «внутренне разоружился и перевооружился на новый социалистический лад» и приветствует генеральную чистку, проведенную партией и правительством. Не преминул проситель восславить Сталина. Казалось, желания Диктатора исполнены, но нет, ему мало унижений бывшего соратника.

Сохранилось второе, совсем краткое письмо Бухарина — отчаянная мольба о милосердии. Вероятно, тюремщики посоветовали не утомлять распорядителя жизнью и смертью длинным чтением...

Приговоренные к казни славят под конец великого Сталина, на суде они же выступают в роли террористов, покушавшихся на его священную особу. Все по единому режиссерскому плану.

Заданность очевидна. Надо полагать, что эти формулы самооговора были выработаны осужденными не за круглым столом в кабинете начальника тюрьмы. Те служивые, что диктовали заявления-слезницы, не забыли о сверхзадаче — прославлении Вождя. Вот почему их подопечные, в надежде на Его милости, изливаются в преданности Сталину. Некоторые в знак особого уважения к его соратникам, признаются в подготовке покушения на жизнь малых вождей, соблюдая при этом тогдашний табель о рангах. За Кагановичем, Ждановым, Ворошиловым следуют Орджоникидзе, Постышев, Косиор... Последних трех срубит та же секира.

Театр абсурда..

При царе политзаключенные свободно общались друг с другом не только на ежедневных прогулках. Сталин покончил с этими либеральными порядками. Обвиненных в политических преступлениях содержали в строжайшей изоляции, исключение он сделал лишь для открытых процессов, иначе как было добиться сыгранности труппы? Заключительное действо с посыпанием пеплом повинных голов и стенаниями тоже несет на себе печать единого режиссерского замысла. Согласованность участников предсмертного представления отсюда.

И — согласованность членов Президиума ЦИК. Оба заседания, 24 августа 1936 и 31 января 1937, выявили полное единодушие участников под председательством всепокорнейшего старосты Михаила Калинина: все просьбы о помиловании отклонить. Если верить газетам, весь советский народ облегченно вздохнул по этому поводу. Сталину удалось втянуть в эти мистерии миллионы зрителей у себя и за рубежом. Это был человек с размахом...

Сочинитель военного заговора

История театра Иосифа Сталина помнит монолог, произнесенный им на Кремлевской сцене 4 мая 1935 года. Вот что сказал Сталин выпускникам военных академий. Он упомянул товарищей, которые «не всегда ограничивались критикой и пассивным сопротивлением. Они угрожали нам поднятием восстания в партии против Центрального Комитета. Более того: они угрожали кое-

кому из нас пулями. Видимо, они рассчитывали запугать нас и заставить нас свернуть с ленинского пути. Эти люди очевидно забыли, что мы, большевики,— люди особого покроя. Они забыли, что большевиков не запугаешь ни трудностями, ни угрозами... Понятно, что мы и не думали сворачивать с ленинского пути. Более того, укрепившись на этом пути, мы еще стремительнее пошли вперед, сметая с дороги все и всякие препятствия. Правда, нам пришлось при этом по пути помять бока кое-кому из этих товарищей. Должен признаться, что я тоже приложил руку к этому делу (Бурные аплодисменты, возгласы «ура»)».

Он, видите ли, руку приложил, пока только приложил. Но ведь уже тогда, до тридцать шестого, до тридцать седьмого, реки крови пролились. Ныне же он теплым юмором скрашивает изничтожение партийных супостатов. И готовит обширные проскрипции для грядущих спектаклей.

Сколько из выпускников академий доживет до начала войны, пройдя благополучно смертные ворота тридцатых расстрельных,— четверть, восьмая часть?.. Десятки тысяч командиров и политработников истребит генсек перед самой войной. Но тост свой 4 мая тридцать пятого года будущий генералиссимус закончит так: «Если наша армия будет иметь в достаточном количестве настоящие закаленные кадры, она будет непобедима. За ваше здоровье, товарищи!».

Увертюрой прозвучал этот монолог к июньскому спектаклю 1937 года. Этот спектакль Кремлевский птицелов разделил на три действия. Первое началось в Кремле 1 июня на Военном совете при наркоме обороны, в здании РВС на улице

Фрунзе. Перед началом военачальники получили копии протоколов следственного дела группы Тухачевского. Генерал-лейтенант К. Полищук вспоминает, что полностью ознакомиться с показаниями арестованных почти никому не удалось, допросные листы, небрежно скопированные, переходили из рук в руки... Он занял место рядом с генералом Тодорским, и тут, знакомясь с показаниями Тухачевского, они прочитали, что маршал, находясь в Германии, был завербован вражеской разведкой, а вернувшись домой, сам завербовал многих генералов, в их числе начальника Управления военными академиями Тодорского... Уборевич тоже подписал подобные «признания», среди завербованных им оказался генерал Мерецков, который здесь же и узнал о своей судьбе. Такие коллизии могли возникнуть лишь под пером уникального драматурга.

Заседание открыл Ворошилов. Рассказав о заговоре, он упомянул о только что полученной записке командира 8-й отдельной механизированной бригады Д. А. Шмидта. По ходу пьесы он планировал поход на Москву. Его арестовали, доставили на Лубянку, а там на всякий случай разработали второй вариант: якобы он приказал тайно привести в негодность все танки. Боевой комдив, кавалер двух орденов Красного Знамени, передал из тюрьмы, через Иону Якира записку: «Помогите мне, ведь Вы, Климент Ефремович, меня знаете лучше всех, я не совершал никаких преступлений».

Ворошилов зачитал записку и доложил: «Я звоню Ежову и прошу доложить подробно, что вышло у Шмидта. Через три дня я узнал, что Шмидт готовил на меня покушение в театре оперы и балета в Киеве,

когда мы смотрели концерт для участников больших киевских маневров. (Третий вариант? Поистине, фантазия драматурга неистощима...) Теперь подумайте — как я могу вмешиваться в аресты, которые проводит НКВД...».

Неужто не ведает луганский слесарь Клим, кто заказал эту музыку? Еще как ведает. И старательно выводит ноту за нотой.

На заседание вызвано сто двадцать командующих и комиссаров. Каждого при входе обыскивали, оружие складывали в проходной. Каждому вручали синюю папку с копиями показаний, обличающих в предательстве Тухачевского, Уборевича, Якира, Корка, Путну, Примакова. Из этих папок многие узнавали о своем собственном участии в... шпионаже и в заговоре против Кремля.

В президиуме — члены Политбюро во главе со Сталиным. Рядом с Вождем Ворошилов, Ежов. Ораторы по очереди клеймят позором изменников. По ходу спектакля сотрудники Органов подносят новые папки со свежевыбитыми показаниями. Ежов наклоняется к Хозяину и шепотом называет имена только что разоблаченных изменников. Еле заметный величавый наклон головы, и вот уже очередного «предателя» выводят из зала. Еще одного. И еще...

Оставшиеся горячо клянут новоявленных врагов и столь же горячо клянутся в верности Вождю.

Кто следующий? Все спешат записаться в очередь к трибуне. Лицо Хозяина строго-торжественно. Где они, те мягкотелые интеллигентики, что корили его за жестокость? Все видят: заговорщики свили свое гнусное гнездо в самом сердце армии. Да, сегодня его, Сталина, день. Коварный

враг будет уничтожен праведной рукой народа. Хозяин как будто углубился в свои судьбоносные мысли... Но нет, он все видит, все замечает. Зашевелились бесподобные усы, и Он сказал: «Товарищи, я вижу на ваших лицах мрачность и какую-то растерянность. Понимаю, что тяжело слушать о тех, с которыми мы десятки лет работали и которые теперь оказались изменниками Родины. Но омрачаться не надо. Это явление закономерно. Почему иностранная разведка должна интересоваться областью сельского хозяйства, транспорта, промышленности и оставить в стороне Красную Армию? Надо думать наоборот, иноразведка всегда интересовалась вооруженными силами нашей страны, засылала шпионов, расставляла резидентов, чтобы знать наши уязвимые места...

Вот тут выступал Кулик и говорил, что Тухачевский врагом народа оказался не потому, что он был помещик. Эта точка зрения неправильная, она биологическая. Возьмем, например, заместителя Кагановича по наркомату путей сообщения, Лившица. Этот Лившиц потомственный кадровый рабочий ленинградских заводов, оказался в стане врагов. Главное в том, что здесь сказалось перерождение...

Тухачевский является шпионом в пользу Германии. Он был завербован, тогда, когда учился в Академии Генштаба в Германии, лучшей разведчицей, красавицей Жозефиной.

...Или вопрос о борьбе с троцкистами, о необоснованном обвинении Центрального Комитета в преследовании их за идеологические расхождения. Всем известно, что А. А. Андреев — старый троцкист, но он разоружился, честно работает, и мы оказываем ему полное доверие.

...Кто бы мог подумать, что бывший член Военного Совета ОКДВА Аронштам окажется изменником, а сегодня — это факт... Теперь оказалось, что за спиной Аронштама стояла японская разведка. Она требовала убрать Блюхера и назначить Уборевича или Якира — из заговорщиков...».

Сталин медленно прошелся в своих бесшумных сапогах вокруг стола президиума, пристально оглядел примолкший зал. Искусством длительных пауз он владел вполне. «Что-то я не вижу среди записавшихся товарищей Булина и Славина...».

Старый питерский коммунист Антон Степанович Булин, начальник Управления по комсоставу РККА (только что сменивший на этом посту В. М. Фельдмана), и Иосиф Еремеевич Славин, начальник Управления военных учебных заведений РККА,— оба никак не могут пересилить себя и войти в роль погромщиков.

Тягостное молчание взрезал вновь назидательно-отеческий голос генсека: «Военные заговорщики нами разоблачены вовремя. Они корней в низ армии не пустили. Этот заговор государственного переворота является заговором верхушки. Но нельзя думать, что враги не пытались кого-либо из вас, сидящих здесь, завербовать и вовлечь в свои коварные замыслы. Имейте мужество подняться на трибуну и сказать об этом. Вам будет дарована жизнь и сохранено положение в армии».

Генсек, конечно же, играл ими. Что же касается армейского комиссара 2-го ранга Л. Н. Аронштама, который после ОКДВА был назначен начальником политуправления сперва Московского, потом — Приволжского военного окру-

га, то он оставался на свободе вплоть до августа 37-го.

В заключение Сталин предупредил участников заседания, что все здесь услышанное является государственной тайной.

...Новые выступления, новые проклятья, новые клятвы. Слово берет Павел Дыбенко. Он обрушивается на вчерашних товарищей, оказавшихся шпионами. Вместе с ними балтийский моряк, председатель революционного Центробалта, а потом наркомвоенмор, защищал Советскую власть в годы гражданской войны. Теперь — никакой пощады врагам!

«А этот Гамарник! — негодует Дыбенко. — За Иисуса Христа себя выдавал, лишнего стула у себя дома не держал... Мы давно говорили, что это белая косточка собирается. Они нам ходу не давали!..».

Генсек не ошибся, поручив ему роль простака. Потом он уничтожит громогласного моряка, такого преданного и легковерного, уничтожит, невзирая на столь актуальную ненависть к «белой косточке».

Мудрейший применил привычную схему, славно послужившую ему в двадцатые годы. Тогда он руками Зиновьева и Каменева оттеснил Троцкого, потом с помощью других партлидеров сверг Зиновьева, чтобы впоследствии уничтожить всех. Теперь генсек руками одних военных уничтожит других командующих, в коих он усмотрел угрозу своей диктатуре.

Второе действие началось на другой день в Свердловском зале Кремля при участии членов Политбюро. Пришли, кроме Сталина и Ворошилова, Молотов, Каганович, Калинин, Жданов,

Ежов. Присутствуют высшие члены НКВД, а также секретари ЦК. Ворошилов растерян, бледен. Ежов, мышонок в парадном мундире, улыбчив, суетлив, настроен празднично: это его день... Но спектакль получился тягостным, нудным: выступавшие генералы монотонно и понуро повторяли фразы о потере бдительности, о преданности партии и лично Вождю; посылали проклятья изменникам... Будто невидимый суфлер подавал им клишерованные монологи. И все же случился сбой: это Мерецков, которому терять уже было нечего, назвав показания Уборевича неслыханной клеветой, поклялся на деле доказать свою преданность Родине. Подобную отсебятину Сталин, естественно, не мог оставить без внимания. «Это мы проверим»,— сказал Хозяин, и потом — зловещее «Посмотрим...»

Но решающие события происходили за кулисами. В дверях и за дверью группировались сотрудники НКВД, сам нарком Ежов, на положении помощника режиссера, сновал между Сталиным и жизнерадостными статистами тайного ведомства, в перерывах по его сигналу исчезали помеченные им жертвы...

Вечером второго дня держал речь Сталин. Не речь — поток площадной ругани. Он громил заговорщиков, эту кучку негодяев и подонков, проникших в родную Красную Армию. Позабыв о своем высоком сане (здесь все свои...), потомственный хулиган вышел из роли и, назвав заслуженных полководцев «засранцами», пообещал им, вместе с «охвостьем», скорую расправу. Испытанный большевик товарищ Ежов выполнит свою благородную миссию до конца!

Пора давать занавес, но нет, режиссер заготовил куда более эффектный конец второго акта. В зал вбежал Ежов с бумагами в руках, их разнесли по рядам военачальников — каждому по две:

«Народному комиссару внутренних дел Н. И. Ежову от Бухарина Н. И. Заявление.

Настоящим заявляю, что я готов давать показания о своей контрреволюционной деятельности.

Н. Бухарин. 1 июня 1937.
Москва, Внутренняя тюрьма НКВД».

Второе заявление — от Рыкова, тоже покорившегося силе. А сила — вот она, улыбающиеся вожди во главе с Хозяином.

Третий акт был назначен на 11 июня. В состав суда, которому предначертано отправить на казнь Тухачевского, Уборевича, Якира, Примакова, Путну, Корка, Эйдемана, Фельдмана, назначены Блюхер, Белов, Алкснис, Дыбенко, Каширин, Горячев, Шапошников, Буденный.

Лишь двум последним дозволено будет умереть в своей постели. Остальных Диктатор велит казнить, сперва — «предателей», потом — «судей». Нечто сходное описано Вильямом Шекспиром. История человечества богата предшественниками Сталина.

...Против Тухачевского было всё: его личные данные — интеллигентность, воля, ум, яркая внешность. И военная слава. Это уже, если хотите, комплекс нетерпимости, как в случае с Михаилом Фрунзе. Таких людей Сталин рядом с собой не терпел, его устраивали только ворошиловы. Вот почему генсек не поставил Михаила Тухачевского во главе наркомата обороны. Но и на посту начальника Генерального штаба РККА Сталин

вместе с Ворошиловым третировали Тухачевского на каждом шагу, часто в ущерб делу.

Красная Армия значительно отстала от сильнейших армий Запада, особенно в техническом вооружении, в механизации. Однако Сталин и Ворошилов старательно блокировали любые предложения Тухачевского. Не выдержав прессинга матерых интриганов, Тухачевский попросил отставки. Три года он командовал Ленинградским военным округом, подружился с Сергеем Кировым,— это ему еще зачтется...

Глобальные амбиции Сталина требовали сильной, современной армии. Но кто осуществит реорганизацию Вооруженных сил? Пришлось Иосифу-Строителю назначить Тухачевского заместителем наркома. Когда же под умелым руководством Тухачевского армия была перевооружена и получила хорошо подготовленные командные кадры, пришло время избавиться от него. По условиям излюбленной игры в кошки-мышки генсек, замыслив казнь видного деятеля, перемещал его на менее заметный пост. Для Тухачевского последним местом службы стал Приволжский военный округ. 11 мая он был назначен командующим войсками округа. 26 мая последовал арест.

11 июня опубликовано сообщение Прокуратуры СССР о раскрытии органами НКВД военно-фашистского заговора во главе с маршалом Тухачевским. В чем же обвиняли организаторов Красной Армии, героев гражданской войны? Трудно перечислить. Еще труднее понять ход мыслей Главного сценариста. Это шпионаж в пользу «одного из иностранных государств» и подготовка поражения Красной Армии. Расчленение Советского Союза и восстановление на его земле бур-

жуазного строя. Вредительство и приверженность троцкизму... Кроме этого, заговорщикам инкриминировали отстаивание концепции ускоренного формирования бронетанковых соединений при одновременном сокращении кавалерийских частей. Что касается намерения полководцев и строителей армии ходатайствовать перед правительством об отстранении Ворошилова, то оно в кабинетах следователей трансформировалось в готовность устранить сталинского наркома. Значит, террор...

Организаторы экзекуции не затруднялись поисками улик. За неимением таковых положились на фантазию следователей. Иона Якир в 1929 году учился в Академии генерального штаба Германии, читал там же лекции. Август Корк тоже побывал в Берлине, где исполнял обязанности военного атташе. Михаил Тухачевский участвовал в беседах с представителями немецкого Генштаба. Беседы были официальными, но ведь были...

13 мая 1937 года арестовали начальника 4-го управления (разведка) Наркомата обороты А. Х. Артузова. Ранее этот заслуженный чекист возглавлял иностранный отдел ОГПУ. По его показаниям, именно тогда, в начале тридцатых, из Германии поступила важная информация о заговоре военных в Красной Армии. Возглавил группу изменников Тухачевский, который, как удалось установить, ездил в Берлин под личиной некоего Тургенева. Нетрудно догадаться, каким способом были добыты эти показания Артузова. И кому они понадобились. Готовый материал тотчас доложили Ежову, а тот поспешил к Хозяину.

Второе «свидетельство» сфабриковал по заданию заместителя наркома внутренних дел Фри-

новского следователь Радзивиловский. К нему в лапы попал комбриг М. Е. Медведев, возглавлявший ранее штаб ВВС РККА, вскоре уволенный как бывший троцкист. Он дал под пытками показания о наличии в недрах Красной армии заговора. На радостях нарком затребовал комбрига к себе. Но Медведев заявил Ежову, в присутствии Фриновского, что отказывается от прежних показаний.

Арестованный уже при Берия Радзивиловский сообщил прокурору, что в тот день «Ежов приказал вернуть Медведева любым способом к прежним показаниям, а его заявление об отказе не фиксировать. Протокол же с показаниями Медведева, добытыми под физическим воздействием, был доложен Ежовым в ЦК».

Сталин счёл «свидетельства» Артузова и Медведева достаточными для окончания новой пьесы «Военно-фашистский заговор». Последовали аресты, скоропалительные репетиции и экстренный суд. В этой спешке подручные забыли заручиться санкцией на арест группы командующих. Забыли о процессуальных нормах, о соблюдении элементарной законности. И о сценическом правдоподобии. Впрочем, нет, закон от 1 декабря 1934 года, состряпанный генсеком тоже экстренно, вслед за убийством Кирова, был соблюден до мелочей. Этот закон исключал участие в судебном процессе адвоката и предписывал применение к «террористам» и прочим контрреволюционерам смертной казни. Приговоры по этой категории считались окончательными и не подлежали обжалованию. Что касается применения пыток, то о них закон умалчивал, но Хозяин обеспечил лубянских костоломов особой, утвержденной на Политбюро

инструкцией, разрешавшей «физические меры воздействия». Спустя двадцать лет после казни Тухачевского специальная группа военных прокуроров и следователей Главной военной прокуратуры, исследуя материалы дела «О военно-фашистском заговоре», обнаружила на листах протоколов допроса следы крови...

Таким было следствие. А судилище длилось всего один день, оно проходило в небольшом зале на восемьдесят зрителей, на третьем этаже здания Военной коллегии Верховного суда. Узкая сцена, где в высоком кресле под внушительным гербом Советского Союза восседает Василий Ульрих. За сценой — выход к деревянной лестнице наверх, в комнату совещаний. Другая лестница ведет вниз, к каморкам для подсудимых. Ниже — еще одна, в подвал. Оттуда уже не возвращаются. В маленьком дворе «черному ворону» не развернуться, он выезжает через ворота задом. А еще Военная коллегия была соединена подземным ходом с внутренней тюрьмой на Лубянке. Вот и всё обустройство театра Ульриха, одного из филиалов Театра Вождя.

Я был недавно в этом зале, в том самом подвале. Здесь в феврале 1938 году судили-казнили моего отца. Но Сталин мог свершить это на год раньше, присоединив Владимира Антонова-Овсеенко к его соратникам по гражданской войне.

Готовя этот кровавый спектакль, Сталин, как в пьесе «Дело Пятакова», поставленной в январе на сцене Октябрьского зала, не мог довольствоваться банальной казнью. Унизить ему хотелось славных полководцев, на колени поставить. И поставил. В последнем слове семь «заговорщиков», как один, каялись в преданности делу революции и

лично товарищу Сталину, каялись, просили о снисхождения.

О восьмом, комкоре Примакове, речь особая. Взяли его на год раньше Тухачевского и успели в ходе кровавых репетиций превратить волевого командира, героя гражданской войны, в послушного статиста предстоящего представления.

...Читать текст его «последнего слова» муторно.

Вот что вещал на суде-спектакле Примаков.

«Я должен сказать последнюю правду о нашем заговоре. Ни в истории нашей революции, ни в истории других революций не было такого заговора, как наш, ни по целям, ни по составу, ни по тем средствам, которые заговор для себя выбрал. Из кого состоит заговор? Кого объединило фашистское знамя Троцкого? Оно объединило все контрреволюционные элементы, все, что было контрреволюционного в Красной Армии, собралось в одно место, под одно знамя, под фашистское знамя Троцкого. Какие средства выбрал себе этот заговор? Все средства: измена, предательство, поражение своей страны, вредительство, шпионаж, террор. Для какой цели? Для восстановления капитализма. Путь один — ломать диктатуру пролетариата и заменять фашистской диктатурой. Какие же силы собрал заговор для того, чтобы выполнить этот план? Я назвал следствию больше 70 человек-заговорщиков, которых я завербовал сам или знал по ходу заговора...»

Это не все, но нам уже ясно, что крестьянский сын, отважный кавалерист Виталий Примаков вещал с чужого голоса. Вопрос — ответ, вопрос — ответ... И примитивная дидактика... Как это

напоминает стиль недоучившегося семинариста. И неутолимая ненависть к Троцкому...

Заслуженный заплечных дел мастер Ушаков, «работая» с Примаковым, внушил ему, что признание, высказанное на суде, облегчит его участь. Таким же манером он пытался обмануть комкора Фельдмана, сочетая посулы с пытками.

Казнили всех поутру, вместе с Примаковым и Фельдманом. Медведеву, чьи лживые показания сработали детонатором в этом деле, тоже обещали жизнь. Он пережил группу Тухачевского лишь на четыре дня. Свою роль в мини-спектакле Василия Ульриха Медведев прошел в одиночестве, и перед концом нашел в себе силы, распрямился, не признав никакой вины ни за собой, ни за казненным маршалом Тухачевским.

...Обещать жизнь в обмен на самооговор и предательство, гарантировать благополучие родным и ближним и не пощадить никого,— разве не так поступал Сталин со всеми своими подручными?

Яму под Тухачевского генсек принялся рыть еще в двадцатые годы. Сохранились показания двух офицеров старой армии, в которых Тухачевский фигурирует, как вдохновитель антисоветской организации. Копии протоколов генсек направил Орджоникидзе вместе с запиской: «Прошу ознакомиться. Поскольку это не исключено, то это возможно. И. Сталин».

Иезуитская логика.

К «делу» приобщили еще один донос на Тухачевского, состряпанный секретарем парткома Западного округа и отвергнутый в свое время Михаилом Фрунзе.

Из многочисленных документов, использованных группой генерала Б. Викторова для посмерт-

ной реабилитации Тухачевского и его коллег, непреложно следует, что к их гибели Сталин лично причастен.

В неустанных заботах о процветании государства кремлевский сиделец всегда помнил о Дальнем Востоке. Необозримые богатства края, соседство с Японией, стратегическое значение территории с выходом в Тихий океан,— все это заставляло думать об укреплении обороны дальних рубежей. Однако извращенный ум генсека породил странную доктрину, согласно которой лучшим средством повышения боеспособности армии является страх. Иначе как объяснить уничтожение командного состава Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии? Эта истребительная кампания началась в 1936 году. Согласно сводке особых органов ОКДВА в этот год, по неполным данным, репрессировано: троцкистов-зиновьевцев — 45, троцкиствующего элемента — 48 человек. За первые месяцы 1937 года — 17 и 35 соответственно.

В марте 1937 года учтено и разрабатывается троцкистов и правых — 100 одиночек и 29 человек по групповым делам. Что касается троцкиствующего элемента (этот термин, как видно, стал обиходным), то его набрали, в основном, среди начальствующего состава и младших командиров.

Все знали, что никаких шпионов и предателей в армии нет. Все участвовали в доносах, арестах и казнях — функционеры смерти и командиры, вкупе с комиссарами. Каждодневный восход солнца на Дальневосточном театре окрасился кровью невинных.

В своем плане уничтожения командного состава Красной Армии Сталин отвел маршалу Блю-

херу две роли — сначала судьи, потом — жертвы. Но прежде, чем он появится в зале заседания Специального судебного присутствия Военной Коллегии Верховного Суда СССР 11 июня, ему придётся не на сцене, а в жизни — доказывать свою готовность к исполнению сталинских предначертаний. Действуя в тесном контакте с Дальневосточным управлением НКВД, он заменяет арестованных «врагов» новыми командирами и, по мере уничтожения вновь назначенных, ставит на их место других. Судя по сохранившимся текстам телефонных переговоров, маршал верил докладам функционеров НКВД. Картина, представленная командующему армией, выглядела устрашающей. Оказывается, в среде высшего комсостава ОКДВА существовал и широко задуманный план, увязанный с генеральным штабом японской армии. Из показаний арестованных предателей следует, что задеты все виды и рода оружия...

22 мая 1937 года вечером Блюхер выехал экстренным поездом в Москву на заседание Военного Совета при наркоме обороны. Открытие было назначено вначале на 25 мая, потом дата перенесена на 1 июня. Уже через две недели после исторического заседания Совета был издан совместный приказ НКО и НКВД от 21 июня 1937 года.

«...Добровольно явившихся и без утаек рассказавших обо всем, как ими совершенном, так и назвавших всех сообщников и единомышленников,— задержанию и аресту не подвергать и против них уголовного преследования не возбуждать».

Прокурор СССР Вышинский дал соответствующее распоряжение всем органам прокуратуры.

В отсутствие Блюхера в Хабаровске проходила

краевая партийная конференция. В состав бюро крайкома были избраны И. М. Варейкис, В. В. Птуха, В. В. Вольский, В. А. Балицкий, а также военные: В. К. Блюхер, И. Д. Вайнерос, Г. Д. Хаханьян, М. В. Викторов. Все они вскоре будут уничтожены, а пока на очереди — Тухачевский, Уборевич, Якир, Корк, Примаков, Путна, Фельдман, Эйдеман. Они — на скамье подсудимых в зале Военной коллегии. Стремясь придать этой расправе респектабельный вид, Сталин поручил дело специальному военному присутствию в составе восьми человек во главе с маршалами Буденным и Блюхером. Василию Константиновичу участие в том судилище было нестерпимо. Сославшись на недомогание, он покинул зал и вернулся лишь к моменту вынесения расстрельного приговора.

В отсутствие Блюхера мистерии на краю земли не прерывались. Временно исполняющим обязанности командующего оставался Вайнерос, назначенный вскоре начальником политуправления. На партсобрании штаба ОКДВА, проходившем в те неповторимые летние дни, он сказал: «... Разговоры «кому верить, кому — нет, кому верить теперь?» — это не наши разговоры. Нам нужно верить всем, кто не на словах, а на деле действительно борется за генеральную линию партии. Кто по-большевистски борется над выкорчевыванием врагов народа — японо-германских шпионов и диверсантов... У нас большой успех, но предстоит огромная работа, чтобы до конца выкорчевать врагов народа...»

Не прошло и двух недель, как пламенного корчевателя Вайнероса выкорчевали. В соответствии с «генеральной линией».

Настала золотая пора для гробокопателей. На

всех партсобраниях (опять же — «в соответствии» и «во исполнение») выискивали, вынюхивали малейшие отступления от «генеральной»: какую позицию занимал в дискуссиях 20-х, что думал о Троцком, почему умолчал о своем троцкистском прошлом в анкете, почему не разоружился перед партией. Некоторые не выдерживали яростной охоты и кончали жизнь самоубийством. В апреле застрелился исключенный из партии Л. В. Ламберг, начальник Дальневосточной железной дороги, недавно награжденный орденом Ленина.

На партсобрании штаба ОКДВА 10 июля 1937 года (еще один мини-спектакль) прорабатывали Я. С. Урмана, члена партии с марта 1919 года, старшего инженера 4 отдела инженерных войск ОКДВА.

Урман: «...Я не понимаю, как эти Пятаковы, Гамарники и другие стали на такой путь, и этого мне никто не разъяснил. Факт ареста еще не является доказательством виновности, и я до решения суда считать врагом народа своего брата Урмана Абрама Самойловича, начальника артиллерии 2 особого стрелкового корпуса, не буду».

Антонов, секретарь партбюро: «Мы впервые на бюро встречаемся с таким нахальным выступлением. Ему партия говорит, что его брат — враг, а он не верит в это, и это говорит за то, что мы плохо работаем и не разоблачили до сих пор этого врага».

Постановили. Исключить из партии Я. С. Урмана.

За этим последовали арест и казнь. Без суда, о котором бывший коммунист Яков Урман упомянул на собрании.

Прокурор ОКДВА В. Малкис написал в 1923 году книгу «Революционная законность в Красной Армии», в которой уважительно упоминается имя Троцкого. На партсобраниях 1937 года Малкис клеймил «врагов» и каялся в том, что тогда, в 1923 году, не понимал сущности троцкизма. «В то время мы, члены партии, не имели точных формулировок ленинизма и линии Троцкого. В частных беседах я и старался понять, разобраться в своих колебаниях».

На другом собрании Малкис говорил об инженерах-строителях: «Не за халатность арестовывают органы НКВД, а как членов контр-революционной вредительской организации, как шпионов и бандитов».

Самого прокурора ОКДВА органы арестовали в том же тридцать седьмом и тем самым помогли ему, наконец, избавиться от колебаний и сомнений.

На малой сцене

Старый заслуженный функционер лубянского ведомства Леонид Райхман умел молчать. Но вот, незадолго до смерти, в 1990 году, он согласился на интервью. Опытный лицедей пытался оправдать свою вредоносную жизнь, а заодно — преступную деятельность НКВД. В 1934 году молодой следователь тайных органов служил в ленинградском управлении, знал подробности убийства Кирова, знал о роли Сталина в этой акции. Ведал о пытках-истязаниях. Но в беседе с кинорежиссером, придав лицу выражение доброго дядюшки, изображал своих коллег этакими гуманными душеве-

дами, спасителями отечества. Он оставался верен неписаным законам сталинской сцены до конца. Будучи одним из непосредственных организаторов катынской экзекуции, Райхман, удивленно раскрыв ясные очи, сказал, что впервые слышит об участии НКВД в расстрелах польских патриотов.

При Берия карьера Райхмана получила двойное ускорение. Путь от капитана до генерала он прошел всего за несколько лет — с 1940 по 1943 год.

В своем очерке, опубликованном в журнале «Театр» (№ 8, 1988), я писал, что ЦК и НКВД пытались превратить труппу Большого театра в гарем, не рискнув впрямую назвать балет гаремом. Среди лиц, «увлекавшихся балеринами», назвал Райхмана. Генерал госбезопасности обиделся: «Чепуха! Я не «увлекался», я был женат на прима-балерине Лепешинской»,— заявил он интервьюеру.

Посмела бы изящная Тао Хоа из балета «Красный мак» отказать бериевскому фавориту... С каким желанием она вступила потом в партию (1943), которая с поразительным упорством именует себя «коммунистической»,— представим себе и это. А Райхман постоянно афишировал нежную, взаимную супружескую любовь. Даже в служебном кабинете.

Об истинных чувствах балерины можно судить по тому, как она отнеслась к его аресту в 1951 году. Лепешинская потребовала развода и избавилась навсегда от этого человека.

...1941 год. Основатель Центрального детского театра Наталия Сац уже три года томится в заключении. Взяли её как жену «врага народа

Вейцера, наркома внутренней торговли. Сколько жалоб она написала из лагеря с просьбой о пересмотре «дела». Случилось невероятное: ее этапировали в Москву во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Длинные унылые коридоры бывшей гостиницы пароходного общества «Россия», казенные неуютные кабинеты, тускло освещенные лестницы,— все это и мне знакомо. Кабинет Райхмана, куда привели поздним вечером Наталию Ильиничну, ошеломил коврами, мягкой мебелью, уютным светом торшеров, высокими полуоткрытыми окнами. Также театрально выглядит Леонид Федорович Райхман. Он искренне сочувствует Сац, готов помочь, устроить ее судьбу в обмен на разоблачение опасного преступника, ее супруга. Такой вот пустячок. Наталия Ильинична вскочила с места, но раздался спасительный телефонный звонок.

Райхман взял трубку, и с лица спала маска змея-искусителя.

— Я бесконечно счастлив, что ты сама позвонила, дорогая детка. Спектакль уже кончился? В грандиозном успехе ни на секунду не сомневался. Устала выходить на поклоны? Крошка моя! Поздравляю тысячу раз. Обнимаю нежно. Умоляю, скорей ложись отдыхать, детка. Умоляю... Скоро приеду...

Следователь бережно положил трубку, затем достал белоснежный носовой платок и поправил упавший на лоб завиток светлых волос.

Что давали сегодня на сцене Большого — «Золушку», «Пламя Парижа», «Лебединое озеро»? — Наталия Ильинична не ведала, но знала: интимные излияния следователя относятся к Ольге Лепешинской.

От меткого глаза режиссера Сац не ускользнула способность Райхмана к трансформации. Играя то голосом, то плечами и тонкой талией, лощеный чиновник наслаждался властью над людьми и тем впечатлением, которое производит на женщин. Ему не нужно было играть роль вершителя судеб, этот образ был ему присущ вполне органично. Когда Райхман на первом допросе, нет, во время первой беседы, спросил тоном царского наместника, как бы Наталия Сац перевела его фамилию с немецкого, и та по наивности ответила — «богатый человек», хозяин кабинета капризно полуулыбнулся:

— В моем переводе Райхман — государственный человек.

Он мнил себя образованным юристом, но ведь не без его ведома в камеру к Сац подбросили брошюру с россказнями о коварных методах работы «врага народа» Вейцера, уличённого, в частности, в том, что он в канун выборов в Верховный Совет якобы дал ресторанам указание — изготавливать мясные блюда из несвежих продуктов, дабы ослабить блок коммунистов и беспартийных...

Одной даме довелось побывать у Лепешинской дома и обозреть подарки, которые Райхман ей преподнёс. Золотая, тонкой резьбы, чаша, музейные сервизы, дорогой хрусталь, паланкин из горностая, соболья шуба, колье из рубинов,— чьё это было, у каких «вредителей» изъято?

Вот он каков, Леонид Райхман, многоликий государственный муж...

Иногда в кабинете Райхмана появлялся некий Конер, которому была отведена роль подыгрывающего. Он рассказывал узнице, как хорошо к ней здесь относятся, как он жалеет, что ее норовистый

характер и какое-то детское упрямство мешают найти необходимый контакт с лучшим следователем...

Наталия Сац артистичным существом своим почувствовала, что попала на многодневный спектакль. Да, Лубянка давно уже функционировала как филиал театра Иосифа Сталина. Театр в театре.

Действо начиналось задолго до того, как жертва переступала порог Большого дома. Человека обкладывали со всех сторон, подобно опасному зверю, следили за каждым его шагом, ловили каждое слово, подозрительный взгляд, затем следовал арест. Сценарий задержания допускал самые различные варианты: на квартире, на даче, в больнице. В служебном кабинете, на пляже, в театре или в поезде... Меня, например, взяли на улице, на тротуаре всем известного Арбата. Наталию Сац — в приемной председателя Комитета по делам искусств.

Секретарь встретила ее как давнюю знакомую, но вот на милое личико Дины Львовны наплыла тучка:

— Вы знаете, нас напугали слухом, будто с вами произошло что-то особенное...

Напротив секретаря сидел скромный шатен, но Наталия Ильинична не обратила на него внимания. Полагая, что главный надзиратель за цехом советского искусства вызвал ее из отпуска по важному делу, она приготовилась к обстоятельному отчету, однако Рабичев ограничился парой пустячных вопросов и сразу же отпустил.

...Секретарь исчезла, подошел шатен:

— Простите, Наталия Ильинична, мы не знакомы. Но кто же вас не знает? Здравствуйте.

Я, как и вы, возмущен стремлением опорочить ваше имя. Сейчас развелось так много клеветников... И все же вам следует насторожиться.

— Спасибо. Учту ваш совет.

Но скромный шатен не унимается:

— Тем более, что разговоры идут о вашем аресте...

Сац еще не догадывается, с кем имеет дело, а он навязчиво сопровождает ее к лифту и на улицу. У подъезда Наталию Ильиничну ожидает нарядная машина мужа, но шатен приглашает ее в свой неприметный «газик»: им, видите ли, предстоит конфиденциальный разговор.

...Внутренний двор Лубянки, низкая металлическая дверь, два часа ожидания в унылой комнатке. Потом из стены выскочил черный человек и крикнул железным голосом:

— Вы знаете, зачем вы здесь? Вы арестованы!

Кому понадобилось разыгрывать этот миниспектакль с участием председателя Комитета, секретаря и агента?

В этом театре парадоксов многие функционеры — от рядовых до самых ответственных — ясно сознавали, что преследуют и карают ни в чем неповинных и, не располагая никакими уликами, сочиняют криминальные сценарии применительно к характеру, профессии и общественному положению изъятого из жизни «врага».

На первый допрос Сац вызвали после долгого ожидания. В роли следователя выступил тот самый предупредительный шатен, «подлый актеришка», как назовет его в своих мемуарах Наталия Ильинична. И с первого же раза этот горе-следователь, работая по заданному сценарию, начал подбирать узнице подходящий для изменника

родины криминал. Оказывается, в Детском театре не раз бывал Уильям Буллит. Значит...

Нет, американский посол в ее «дело» не вписывался. Тогда следователь вцепился в эпизод, характерный для тридцатых расстрельных. Однажды Сац разбудил стук в дверь. На пороге стояла, вся в слезах, жена Льва Каменева. Его уже взяли, теперь пришли за ней, а в доме — ни гроша, как прокормить четырехлетнего сына? Наталия Ильинична дала несчастной денег...

— Что, помогла семье врага народа? Следователь оживился, однако, тут же потух: нет в Кодексе подходящей статьи... Но работа есть работа, и служивый потребовал от Сац сведений о подозрительных связях композитора Сергея Прокофьева и Леонида Половинкина. Заодно — компрометирующий материал на публициста Михаила Кольцова и супругу придворного писателя Алексея Толстого...

Оболгать этих людей, ценой их жизни спасти свою? В том доме на Лубянке такое случалось каждый день и далеко не всегда под пытками. Но Наталия Сац была выкована из другого материала.

«Во имя своих детей,— взмолился измученный следователь,— если вы действительно любите их, можно было догадаться о цели моего з а д а н и я и постараться помочь нам».

Много лет спустя, уже после смерти Сталина, стало известно, что в тайном ведомстве вымогали сведения не только о всех знаменитых композиторах, писателях, актерах и режиссерах, но и о наркомах и даже членах Политбюро.

...Следователь заглядывал то в сценарные наметки, то в Уголовный кодекс и, раскопав

статью, преследующую распространение порнографии, вспомнил о заграничных поездках Сац. Не собирала ли она там, на Западе, этакие вот открытки?..

Наталия Ильинична не удержала слез...

— Подсунули мне вас на горе, детский театр вы несчастный! Носового платка у вас, наверное, нет? Утритесь хоть бумагой.

...Какой уже по счету допрос, а папка с делом Сац пуста.

— Поймите меня, отпустить вас я все равно не могу, не имею права...

Следователь лишний раз убедился в невиновности Сац, нет, он и до ареста знал, что забирает еще одного честного человека. Эта служба была несовместима с милосердием. Со здравым смыслом — тоже. Как тут не вспомнить известное арестантское присловье: «Был бы человек, а статья приложится».

Не добившись от своей подопечной самооговора, следователь приклеил ей литерную статью, КРД — контрреволюционная деятельность...

Мой лубянский следователь, майор Касаев, тоже знал, что я не занимался ни террором, ни агитацией, но соответствующие пункты статьи 58 мне предъявил. Когда я, подобно Сац, спросил, почему нельзя отпустить на волю ни в чем не виновного, он с досадой ответил:

— Не надо было болтать лишнего!

Значит — донос...

...Просторный кабинет генерала Соломона Мильштейна, куда меня ввели 8 августа 1943 года, тоже мог размерами поспорить со зрительным залом. Воскресная ночь, Москва отдыхает, но Лубянка не спит, здесь знают, что Вождь не по-

ехал на дачу, может в любую минуту вызвать шефа. Кабинет погружен в темноту, лишь две слабые лампочки под зелеными абажурами горят, одна на массивном столе в углу, другая — поодаль, на маленьком столике. Здесь мое место. Мильштейн, постоянный сотрудник Берия с начала 20-х годов, облачен в костюм из японского коверкота в искорку. Лампа мягко освещает лысую круглую голову и полное лицо с признаками явного пресыщения властью. За моей спиной — майор, это назначенный по «делу» следователь. Сегодня он ассистирует начальнику управления. Майор подает мне лист гербовой бумаги, из которой следует, что я совершил преступления, предусмотренные статьей 58 пункты 10 и 8 УК. То был не первый мой арест, не первая тюрьма, но досконально изучить Уголовный Кодекс я еще не успел.

— Что означает пункт «8»? — спросил я комиссара госбезопасности.

— А пункт «10» вам уже знаком? — откликнулся он не без иронии.

— Да. Это антисоветская агитация...

— Правильно. А пункт «8» — террористическая деятельность.

— Ну, тогда вам остается лишь одно — отпустить меня немедленно.

Хозяина, видимо, позабавила моя дерзость:

— Не спешите, молодой человек. Под таким обвинением (он поднял над своим столом тонкую папку) лежит целая кипа неопровержимых улик.

Генерал блефовал: в ходе следствия мне не было предъявлено ни одного сколько-нибудь достоверного факта, и через три месяца обвинение в терроре распалось как скорлупа перезрелого

ореха. Но прерывать спектакль, начатый в кабинете комиссара госбезопасности, было не в правилах лицедеев, хотя и для пункта «10» ничего весомого не набралось. Пришлось постановщикам отказаться от заключительного акта представления — суда, и меня отправили в лагерь с клеймом «врага народа». Освободили от навязанной мне роли лишь после смерти Сталина, устроителя фальшивой жизни.

Вторично на Лубянку Наталия Сац угодила через четыре года, но уже по своей воле: она столько раз писала просьбы о пересмотре дела, да и мать так настойчиво ходатайствовала, что какое-то заявление пробилось на самый верх.

Она долго ждала вызова к наркому, побывала у заместителя, Богдана Кобулова, и тот, наступив на собственный характер, был вежлив и предупредителен. Визит (именно визит, а не что-либо иное) к народному комиссару был обставлен со всей возможной помпезностью. Около полуночи на пороге камеры появился сам начальник внутренней тюрьмы полковник Миронов. В свое время, на судебных спектаклях в Доме Союзов он был распорядителем-помощником режиссера. Сейчас он в сопровождении четырех конвоиров ведет изменника родины Наталию Сац... куда? Об этом можно было догадаться по встречным генералам в блестящей форме.

Кабинет наркома представлял собой большой зал: дальний стол покрыт роскошной бархатной скатертью с золотой бахромой. За этим центральным столом в кресле, похожем на трон, восседает

Лаврентий Берия. Вдоль стен — два длинных стола, занятых позолоченной свитой.

Измученная годами заключения, неизвестностью, тревогой за мужа, Наталия Ильинична была тронута вниманием наркома. С ее губ чуть не сорвались слова благодарности, но ее подтолкнули к столу. И вот он перед нею, знаменитый Берия, ближайший соратник Вождя. Лысый череп, одутловатое, бледное лицо, четырехугольное пенсне.

— По заданию какой разведки вы завербовали Вейцера? — не спросил, а в лицо выплюнул Берия.

Любая женщина на ее месте могла бы сникнуть, растеряться, но внутренняя актерская дисциплина помогла Сац устоять и отразить внезапную атаку.

— С Вейцером меня познакомил Глеб Максимилианович Кржижановский, друг Ленина.

Сац пояснила, что знакомство с будущим мужем произошло в Карловых Варах, на чешском курорте.

— У вас уже тогда было особое задание? — бросил Берия тем же въедливо злобным тоном.

— Мое главное задание было вылечить печень.

— Вы сошлись с Вейцером в тот же день, как с ним познакомились?

...Еще один плевок в лицо. Диалог охранника и арестанта, палача и жертвы. Сац-режиссёр наблюдала происходящее как бы со стороны. Роль, взятая на себя Берия, была изначально фальшивой: нарочито-грозный тон властителя, сдобренный грязными оскорблениями, «идейная» убежденность... Разве не знал он, лицедей, что ни

убежденный коммунист Вейцер, ни его супруга ни в чем не виновны?

Берия продолжал вести свою партию.

— Вы не могли полюбить Вейцера, он был старше вас.

— Я не могла не полюбить Вейцера — он был лучше меня.

— Вы знаете, что Вейцер был большим мерзавцем?

— Нет, не знаю... Для того, чтобы поверить, что человек, в кристальной честности которого вы уверены, «оказался большим мерзавцем», надо знать состав его преступления.

— Значит, вы нам не верите?

— Его допрашивал Ежов, сейчас он тоже в тюрьме.

Берия откинулся в кресле, взгляд стал угрожающим.

— Мы говорим не о людях, а об организации, которой вы позволяете себе не верить.

— Муж тоже считал НКВД организацией всеведущей и непогрешимой...

И тут Берия показал, что все происходящее в этом кабинете-зале,— всего лишь игра. Игра по правилам, предписанным кремлевским сидельцем. Он спросил:

— Вы что же, равняете себя с Вейцером, который был признанным любимцем партии?

— Нет, конечно. Но логика одна для всех. Я верю в ее силу.

И вдруг Берия после секундной паузы на высокой ноте выкрикнул:

— А она умна...

И — новая смена интонации на низкую, повелительную — в телефон:

— Возьмите Сац!

...Два года назад в этом же кабинете допрашивали заведующего отделом печати наркоминдела Евгения Гнедина. Он упорно отрицал всякую вину, тогда его начали бить жестоко, квалифицированно. Требовали показаний против Максима Литвинова, наркома. Бросили раздетого в холодный карцер и — новые побои. Гнедин не сдавался. Берия лично руководил экзекуцией и вскоре убедился в том, что узник примет смерть, но не станет провокатором. Тогда он сделал знак остановиться и сказал с наигранной интонацией: «Волевой человек. Вот такого бы перевербовать...»

Он был не из последних актеров в театре Сталина и постоянно разыгрывал новые мини-спектакли на своей лубянской сцене.

Сколько лет тешили себя подобными представлениями хозяева Лубянки. Какие трагедии разыгрывались в застенках Лефортовской тюрьмы...

Выходец из Латвии Залпетер начал работать в ВЧК на второй год после учреждения этой комиссии. В Тифлисе он возглавлял Особый отдел Закавказской ЧК. По натуре порядочный, честный, он менее всего устраивал Берия. Когда Сталин и Берия разогнали прежних руководителей края, Залпетер попал в Новосибирск, заместителем ПП ОГПУ Заковского. Там он пробыл два года, а в тридцать втором его перевели в Москву. При Ежове он стал начальником Особого отдела.

В тридцать седьмом пришла пора расплаты за непорочную службу. Предлога для ареста искать не пришлось. Однажды в компании Залпетер назвал наркома «Василием Блаженным». Действительно, Николай Ежов жил и служил как в чаду, брал всех подряд, на кого укажут... На роль Гене-

рального комиссара государственной безопасности он явно не годился. Рядом с тучными соратниками генсека выглядел серым мышонком, не выпячивался, знал свое место. Почему Сталин остановил свой выбор именно на нем?..

Но вернемся к нашей истории. Итак, за столом сидело шесть человек, все свои, близкие. Кто-то донёс. Залпетера арестовали, потом взяли жену, Тасо. Ее мучили в Лефортовской тюрьме восемь месяцев. Однажды поместили в камеру, где можно было только сидеть посредине, перед «глазком». По стенам — движущиеся тени и шёпот откуда-то сверху: «Сумасшедшая старуха! Сумасшедшая старуха!..» И детский плач... Устроители этого театра ужаса требовали от Тасо признания в контрреволюционной деятельности. Будто муж завербовал её в свою «организацию». Следователь предъявил Тасо показания мужа. Запомнилась на всю жизнь очная ставка.

Следователь стал за спиной Тасо. Ввели Золю (так Тасо называла мужа). Взгляд отсутствующий, кисти рук забинтованы, на ногах — разные ботинки. Но умыт, выбрит. Залпетера посадили напротив жены.

Тасо: Золя, почему я должна подписывать ложные показания против тебя? И против себя тоже? Очнись!..

Следователь: Залпетер, смотрите на меня! Смотрите только на меня!

Залпетер: Тасо, подпиши всё. Этого требует партия. Этого требует партия.

Тасо: О чем ты говоришь?! Что с тобой, Золя?..

Залпетер: Подпиши, подпиши. Так нужно партии.

...Представим себе вместо участников очной ставки этого мини-спектакля других действующих лиц из столичных открытых процессов тридцатых годов. К тому времени сталинская режиссура выработала определенные штампы и для закрытых постановок, которые разыгрывались на малых сценах ближних и дальних городов — по всей стране.

Распятый «Спартак»

И еще один судебный спектакль. Он был сыгран в военном 42-м году в Москве. Ему предшествовал пролог, который почему-то Хозяин до суда не довел. В 1937 году футболисты «Спартака» выиграли рабочую Олимпиаду в Антверпене и вдруг их обвинили в «неполноценном» выступлении, а в центральной печати появилась статья «О насаждении в обществе «Спартак» буржуазных нравов». Автор этой провокации — по всей видимости, радетель «Динамо», команды НКВД — упомянул имена четырех братьев Старостиных. Популярные мастера обратились к секретарю ЦК Комсомола Александру Косареву, а он — еще выше. Последовало сообщение в «Известиях»: «Дело братьев Старостиных прекращено». Для погромного времени случай весьма и весьма редкий. В своей любимой игре «кошки-мышки» Сталин был непредсказуем.

Итак, весна 42-го. На Лубянке утвердился Лаврентий Берия, один из его давних тбилисских подручных, Мильштейн, курирует родное «Динамо», так что новых подстрекателей искать не надо. Братьев Старостиных бросают в тюрьму, и через восемь месяцев — они перед судом, обре-

мененные целым букетом пунктов 58-й статьи: измена, шпионаж, антисоветская агитация... В зале — специально назначенные сотрудники НКВД, курсанты военной академии, юристы. Нужная реакция зрителей обеспечена.

Среди обвиняемых — старый футболист Евгений Захарович Архангельский. Есть такие люди на свете, игроки. К ним принадлежал, например, замечательный шахматист Михаил Таль. Он был готов играть круглые сутки, не щадя времени и здоровья, не только в шахматы, но и в шашки, в поддавки и — во что угодно. Таким был и Архангельский, игрок еще более азартный. Если он не играл в карты или в экспресс-лото, то делал ставки по любому поводу: считал удары, очки, голы или угадывал номера денежных купюр...

...Председатель суда читает обвинительное заключение. Подсудимые слушают абсурдный монолог стоя, но администратор команды, истощенный долгим тюремным заключением, не выдерживает, теряет сознание и падает через барьер. Председатель поперхнулся, все притихли и тут последовала четко произнесенная Архангельским реплика: «Пять очков!». Он вспомнил бильярдную пирамиду, когда перелетевший через борт шар штрафуется пятью очками.

Подсудимые взорвались хохотом, на минуту трагедия обернулась фарсом, смех объединил всех участников действа — «врагов народа» и его «друзей», жертв и экзекуторов. Остановить смеющихся на скамье и в креслах, запретить обвал было невозможно. Пришлось объявить перерыв.

Спектакль изобиловал нелепыми сценами и диалогами, судьи, прокурор конечно же пони-

мали, сколь странные роли определил им Главный режиссер. Сталин был наслышан о славных делах Старостиных, известных всему футбольному миру, но противодействовать Лаврентию Берия не стал. К тому же, суд над столь популярными спортсменами — еще одно свидетельство могущества Органов. На этой кухне страх подогревали непрерывно.

...Последовал приговор, к счастью, не расстрельный, и братьев веером разбросали по стране: Андрея в Норильск, Петра в Соликамск, Николая на Амур, Александра на Воркуту. Там мне, арестанту военной поры, довелось с ним встречаться. Лагерные власти относились к Александру Старостину с уважением, остальных тоже не обижали. Но зона есть зона, хотя тюремщики видели в каждом из братьев жертву слепого террора. Андрею Петровичу доверили в Норильске местную футбольную команду, под его водительством она выиграла Кубок Красноярского края.

Спектакли на выезд

После войны, укрепив свою власть на оккупированной земле Восточной Европы, Сталин организовал целый ряд судебных спектаклей на экспорт. Первый должен был состояться в Варшаве, но свободолюбивые поляки мало подходили на роль пассивных зрителей. Свидетельство тому — героическое Варшавское восстание. Вот почему первые послевоенные жертвы прошли через судебную комедию в Москве. Новый командующий Армией Краёвой генерал Окулицкий не счел возможным доверять Сталину больше чем Гитлеру и решил

после поражения Германии оставаться в подполье. Но власть над жизнью и смертью освобожденных поляков перешла в руки бериевских молодчиков. Не все догадывались об этом, и когда советское командование гарантировало генералу-патриоту неприкосновенность, Окулицкий вышел из подполья. Последовал арест, затем «суд» и казнь... Через эту процедуру, сдобренную пытками, провокациями, вместе с командующим прошел главный представитель эмигрантского правительства Янковский и другие подлинные патриоты.

Судебные заседания были объявлены открытыми, однако в зале оказались только свои: агенты в штатском, провокаторы, следователи... В лучших традициях тридцатых годов. Пятнадцать из шестнадцати обвиняемых признались в «антисоветской деятельности». На московскую сцену их вывели тщательно срепетированными, совершенно безвольными. Смертный приговор избавил их от лагерных мучений.

Болеслав Берут, польский премьер-министр, пытался справиться о судьбе исчезнувших ещё в 1938 году поляков, руководителей компартии, о своих друзьях. Особенно волновала его судьба Адольфа Барского, одного из основателей СДКПиЛ. Сталин отвечал отечески-поучительным тоном: «Эти люди просто затерялись в огромной стране...» Обычно в беседе участвовал Лаврентий Берия. Вместе с Хозяином они разыгрывали эстрадные миниатюры, схожие с теми, что довелось лицезреть польским руководителям в конце войны. Тогда клоунские репризы кремлёвских лицедеев касались жертв Катыни. Вот и теперь, как только Берут спрашивал о новых жертвах,

Сталин поворачивался к Берия: «Лаврентий Павлович, где же они, я ведь велел вам поискать...»

По окончании одной такой сцены Берия вышел из кабинета вместе с Берутом и, не скрывая угрозы, сказал неугомонному премьеру: «Чего вы прие...сь к Иосифу Виссарионовичу? От...сь от него. Я вам по-хорошему советую».

Партийно-уголовный жаргон Берут успел освоить давно. Он уже числился потенциальным клиентом Лубянки, но вскоре станет её агентом. По совместительству.

Сталин решил, вопреки ялтинским соглашениям, установить над Польшей личный диктат, навязать свободолюбивому народу новый порядок, закомуфлированный под социализм. В средствах же он себя никогда не ограничивал: демагогия, обман и, разумеется, насилие. Через два-три года в Москве спохватились: давно пора строить в Польше тюрьмы. В проекте центральной кутузки был предусмотрен специальный корпус для партийных руководителей. Не одними же костелами украшать польскую землю. Средства на тюремное строительство Беруту пришлось изыскивать самому.

Ох и долог путь поляков на кремлёвскую Голгофу...

Задавшись целью создать в Восточной Европе филиал социалистического рая, Сталин, естественно, хотел видеть новых подданных на коленях. Главным условием райской жизни он полагал покорность, абсолютное послушание. Довести до нужных кондиций можно было простым и надежным способом — внедрением страха. Для этого время от времени надобно снимать головы лидерам подвластных народов. А дабы избежать

лишних разговоров о красном терроре, следует подготовить соответствующие спектакли. Именно такую директиву получил от ЦК генерал госбезопастности Лихачёв, прибывший в Прагу в октябре 1949 года. «Сталин послал меня организовать процессы, я не могу терять времени,— заявил он Теодору Балажу.— Я сверну вам шею, иначе мне снимут голову».

Опыт в организации показательных процессов был накоплен предостаточный, исполнители — сценаристы, режиссёры, актёры — прибыли из Москвы загодя под масками советников, статистов набрали на месте. Один из них, Богумил Доубек, руководил следствием по так называемому «делу Сланского.» Он знал, не мог не знать, что все арестованные являются жертвами бесчеловечной политики Отца Народов. Но, усмотрев здесь некую высшую цель, выбивал из них нужные московским гастролёрам показания...

Материалы, изобличающие первого секретаря ЦК КПЧ Рудольфа Сланского в «заговоре» против «родины социализма», Сталин получил в июне 1951 года. Вождь мирового коммунизма поспешил заверить президента братской республики Клемента Готвальда в том, что для недоверия товарищу Сланскому нет никаких оснований. И всё же Сталин рекомендовал снять его с высокого поста. На всякий случай.

Пристрастие к игре в «кошки-мышки», в подражание главному постановщику спектакля, проявил в ходе следствия ведущий «советник» Боярский. Людмила Таусигова, пережившая репрессии, свидетельствует, что Боярский буквально изводил её то угрозами, то лживыми обещаниями

и уговорами, он просил помочь ему в достижении, как он говорил, «сверхцели» — раскрытии шпионско-заговорщицкого центра невиданного масштаба.

Сталин довёл свою игру до задуманного конца, послав в Прагу, как раз после ноябрьского праздника, ещё одного кремлёвского фигуранта Анастаса Микояна. Он передал президенту предписание — арестовать Сланского, якобы «склонного к побегу за границу»...

Лихачёв тоже времени не терял, потребовав данные о враждебной деятельности секретаря ЦК компартии Словакии Коломала Мошковича. «Меня совершенно не интересует где вы получите эти данные и насколько они достоверны.— Заявил он Балажу.— Я им поверю». Балаж хотел было обсудить этот вопрос с руководителями компартии и заместителем председателя правительства Вилемом Широким.

— Что он скажет?..

— А мы и его пинком под зад! — ответил московский эмиссар.

Следствие курировал новый старший советник Бесчаснов. Под его диктовку следователи записывали вопросы для своих подопечных, неукоснительно следуя присланному из Москвы рабочему сценарию, скреплённому печатью МИДа. (Известно, кто действовал под этой крышей...) Пришлось потрудиться и судьям, прокурорам, вместе с адвокатами: роли свои приказано выучить назубок. С особым старанием готовили репетиторы подследственных, заставив их затвердить свои выступления дословно. И — каждую паузу, украшенную тяжким придыханием. Отработали интонацию в соответствии с индивидуальным характе-

ром. И когда посчитали сей многодневный труд завершенным, записали генеральную репетицию на фотоплёнку, прослушали на специальном заседании президиума ЦК компартии Чехословакии. Теперь можно представить пьесу на суд публики.

Сам судебный спектакль зримо напоминал московские процессы тридцатых годов. За главным столом виделось круглоголовое лысое существо с жабьими глазами — Василий Ульрих. Слышался и ехидный голосок столь напоминавший придворного экзекутора Андрея Вышинского... Его роль в зале Панкраца исполнял Иозеф Урвалек. «Почему сегодня эта банда заговорщиков, эти крысы, презираемые всеми честными людьми нашей страны, сидят на скамье подсудимых? Потому что сила идей социализма, безграничное доверие нашего народа к руководству нашей партии и лично к товарищу Готвальду, горячая любовь к Советскому Союзу неодолимы!»

...Тот же фальшивый, приторно-слащавый пафос Вышинского, та же грубая ругань — в лицо подсудимым и елейные акафисты компартии. И — детали. Вспомним скандальную накладку, случившуюся при допросе Крестинского на мартовском процессе 1938 года в Москве. Здесь, в Праге, произошло нечто весьма сходное, но с менее трагичной окраской. В шахматах это называется ошибочной перестановкой ходов, а на сцене, на той пражской сцене, прокурор перепутал порядок вопросов, и подсудимый ответил не в лад... В зале сидели погромщики, смех не был предусмотрен сценарием, иначе зрители оценили бы этот фарс по-своему.

И — чудовищный самооговор. Бывший заместитель министра обороны Бедржиде Райцин признался в том, что выдал Гестапо национального героя Чехославакии Юлиуса Фучика и членов подпольного ЦК КПЧ. Другой созданный следствием обвиняемый так естественно вошел в образ вредителя, что поверил в реальность этого второго «я»...

Перечитаем последнюю главу бессмертного романа Джорджа Оруэлла «1984». Кажется, будто его пером водила память о той пражской трагедии.

Да, мы чуть не забыли свидетелей. В стране, придавленной страхом, набрать их было нетрудно. Но как удалось палачам завербовать Густу Фучик, внушить ей ненависть к безвинным страдальцам? Поверила провокаторам и, проклиная Райцина, напомнила призыв казненного мужа: «Люди, я люблю вас! Будьте бдительны!».

Во времена Гитлера врагов фашизма на оккупированных землях казнили сразу, обходясь без судебных церемоний, без садистских игрищ. В социалистической Чехословакии казнили революционеров, убежденных коммунистов, пропустив перед смертью через пыточный конвейер.

...Придет реабилитация, всплывут имена палачей. Минут новые десятилетия, но не забыть чехам и словакам кровавого спектакля, учиненного Генеральным Благодетелем в конце 1952 года на сцене Панкраца, старинной пражской тюрьмы.

В духе судебных спектаклей тридцатых годов под надзором нового старшего советника Бесчасного, прошел и процесс по делу Сланского.

...Лишь троих из четырнадцати приговорили к пожизненному заключению. Одиннадцать по-

весили, тела сожгли, пепел развеяли по ветру.

В Будапеште, Софии, Варшаве, во всех странах захваченного Сталиным региона, творили свое черное дело лубянские советники, вгоняя в рабский трепет целые народы. Пытали, ломали кости, душили колючей проволокой. Старшие братья охотно делились опытом с младшими. Террор на экспорт, спектакли на выезд...

Мизансцены Абакумова

Война на время прервала столичные судебные игрища. В послевоенные годы самый яркий процесс выпал на сентябрь 1950 года. Судили ядро Ленинградского руководства. Все они были арестованы еще летом сорок девятого. Более года ушло на подготовку так называемого «Ленинградского дела». Выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР заседала в ленинградском Доме офицеров. Все напоминало спектакли, прошедшие более десяти лет назад в Москве, в Доме Союзов. Заведующую отделом партийных, комсомольских и профсоюзных органов обкома ВКП(б) Закржевскую арестовали, когда она готовилась стать матерью. Ее мучили непрерывными ночными допросами, пока не случился выкидыш. Не выдержав пыток, Закржевская подписала все. Следователь Комаров, только что произведенный министром госбезопасности Абакумовым в полковники, добыл данные, полностью изобличающие руководителей Ленинграда в антисоветском заговоре. Перед началом суда Комаров провел специальную подготовку. Устраивались репетиции, заучивались наизусть показания. В ходе процесса

Комаров, Путинцев и Носов еще и еще раз наставляли Закржевскую, Турко, Михеева и других обвиняемых. И предупреждали. Спустя четыре года один из уцелевших, Турко, показал: «Меня предупредили: — Суд идет и пройдет, а вы останетесь у нас».

Все обвиняемые — и главари и рядовые члены «банды» — признали себя виновными и были приговорены к смертной казни. Едва затихло последнее слово приговора, как рослые охранники набросили на смертников белые саваны, взвалили на свои плечи и понесли к выходу через весь зал. В этот момент послышался шум падающего тела и лязг оружия: с молодым конвоиром произошел непредусмотренный сценарием обморок.

В 1954 году в том же зале Дома офицеров судили исполнителя сталинских предначертаний, бывшего министра Абакумова. Прокурору Руденко рассказали о сцене выноса приговоренных из этого зала, и он спросил подсудимого:

— «Зачем вы это тогда сделали?».

— «Для психологического воздействия на присутствующих. Все должны были видеть наше могущество, несокрушимую силу Органов» — ответил Абакумов.

МЕЦЕНАТ

Императорский театр

Как актер Сталин был мастером синтетическим. Он с равным успехом выступал в амплуа то комика, то простака, то резонера или трагика. Он был еще и плодовитым драматургом и волевым режиссером. Не забудем его выступления в роли цензора, рецензента, редактора. В историю театра Сталин вошел и как меценат. Два театра он опекал лично — МХАТ и Большой. Они представляли собой как бы фасад созданной им социальной системы, рекламу его державы. Особое пристрастие Сталин питал к оперным спектаклям, помпезным, в роскошном оформлении.

Певице Галине Вишневской запомнилась атмосфера паники и страха в дни посещения Сталиным театра. Потакая его вкусу, дирекция ставила на спектакль угодного генсеку артиста. Каждый старался потрафить ему, попасть в любимчики, чтобы быть всенародно отмеченным порой за счет публичного унижения своего же товарища. Эти замашки крепостного театра сохранялись еще долго после смерти Сталина.

Любил ли Сталин музыку? Нет. Он любил именно Большой театр, его позолоченную пышность, там он чувствовал себя императором. Он

покровительствовал артистам — ведь это были его крепостные артисты, ему нравилось быть добрым, по-царски награждать отличившихся. Вот только в центральную, царскую ложу Сталин не садился. Царь не боялся появляться перед народом, а этот прятался за тяжелой портьерой.

Вишневская нарисовала основанный на тонких наблюдениях портрет Сталина: «Говорил он очень медленно, тихо и мало. От этого каждое его слово, взгляд, жест приобретали особую значительность и тайный смысл, которых на самом деле они не имели, но артисты потом долгое время вспоминали их и гадали, что же скрыто за сказанным и за «недоговоренностью». А он просто плохо владел русским языком. Вероятно, он, как актер, уже давно набрал целый арсенал выразительных средств, безотказно действовавших на приближенных, и применял их по обстоятельствам».

Визиты Сталина и младших небожителей в Большой театр породили множество историй, и даже анекдотов. О замечательном музыканте С. А. Самосуде рассказывали, как однажды он дирижировал оперным спектаклем, на котором присутствовало все правительство. В антракте его вызвал к себе в ложу Сталин. Не успел он войти, как Сталин без лишних слов заявил ему:

— Товарищ Самосуд, что-то сегодня у вас спектакль... без бемолей!

Самуил Абрамович онемел, растерялся — может, это шутка?! Но нет — члены Политбюро, все присутствующие серьезно кивают головами, поддакивают:

— Да-да, обратите внимание — без бемолей...

Хотя были среди них и такие, как Молотов,

например, наверняка понимавшие, что выглядят при этом идиотами...

Самосуд ответил только:

— Хорошо, товарищ Сталин, спасибо за замечание, мы обязательно обратим внимание.

Рассказ о том, что приключилось с артистом Селивановым, многие помнят и поныне. Давали «Пиковую даму». Селиванов, исполняющий партию Елецкого, увидев рядом в ложе Сталина, потерял от страха голос и проговорил под музыку знаменитую арию «Я вас люблю, люблю безмерно...». Спектакль не прервали, но все впали в транс. В антракте Сталин вызвал к себе в ложу директора театра Анисимова, тот прибежал ни жив, ни мертв, трясётся...

Сталин спрашивает:

— Скажите, кто поет сегодня партию князя Елецкого?

— Артист Селиванов, товарищ Сталин.

— А какое звание имеет артист Селиванов?

— Народный артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...

Сталин выдержал паузу, потом сказал:

— Добрый русский народ!..

И засмеялся.

На другой день вся Москва в умилении повторяла эту остроту Вождя.

...В середине тридцатых генсек увлекался известной балериной Большого театра. Как вспоминал И. М. Гронский, Сталин нередко возвращался от неё в Кремль в два-три часа ночи. Позднее ему приглянулась прославленная меццо-сопрано, исполнительница главных ролей в спектаклях Большого. Ее почтительно называли «царь-бабой» за эффектную внешность, редкую

красоту. Осенью 1937-го на одном из кремлевских приемов, к ней подошел охранник и сообщил, что после концерта проводит ее к Вождю.

Певица содрогнулась. Нечистоплотный урод, он же вдвое старше ее!.. Как он смеет!.. Певица пожаловалась на свою судьбу сидевшей рядом Зинаиде Гавриловне, вдове Орджоникидзе, но... пошла. Неповторимо прекрасная царская невеста из оперы Римского-Корсакова попала в каменные чертоги генсека.

И вышла оттуда лауреатом Сталинской премии. Потом еще и еще раз получала эту премию. Под конец жизни Сталин зачислил народную артистку в партию. И труппа Большого театра, в который раз, подивилась щедрости Мецената.

Пример оказался заразительным. Молотов остановил свой выбор на лирическом сопрано, генералы МГБ проявляли особый интерес к балеринам. Словом, Сталин и его подручные пытались превратить Большой театр в подобие придворного гарема. Насколько они в этом преуспели, установить сейчас, спустя полвека, трудно. Да и противно.

В последние годы жизни Сталин потерял былую уверенность, стал еще более мнительным, порой его мучила бессонница.

В Большом театре служил Максим Дормидонтович Михайлов. Знаменитый бас отличался открытым, добрым нравом и удивительной работоспособностью. Воздействие его личности на окружающих было благотворным. Вот почему, наверное, Хозяин сразу же отличил его в труппе Большого.

Михайлов жил под Москвой, в Кунцеве, на хозяйстве: корова, свинья, курочки... И ни за что не хотел переезжать в Москву. Пришлось проводить в избу солиста телефон.

Личное знакомство со Сталиным состоялось в конце тридцать восьмого. После концерта в Кремле, на банкете, Михайлов скромно уселся в сторонке. Неожиданно к нему подошел некий полковник и предложил пересесть за стол Иосифа Виссарионовича. Хозяин усадил его рядом с собой. «Сталин сейчас же стал чокаться и провозгласил тост за новых певцов Большого театра,— рассказывает Михайлов, бывший протодьякон.— Я так ёрзал, ёрзал, а потом ему и говорю: «Иосиф Виссарионович, может быть, Вам неловко со мной-то рядом сидеть, я могу Вас подвести...» Тот засмеялся: «Кто этого не знает, все это знают!»

Исполняя главную партию в опере «Иван Сусанин», Михайлов стеснялся при Сталине петь в полный голос. Узнав о причине, Покровитель талантов, беседуя с артистом после представления, положил ему руку на плечо:

— Максим Дормидонтович, вы не стесняйтесь, пойте в полную силу. Я тоже учился в духовной семинарии. И если бы не избрал путь революционера, кто знает, кем бы я стал. Возможно, священнослужителем...

Однажды за Максимом Дормидонтовичем прислали правительственную машину в два часа ночи. Привезли в Кремль, проводили в кабинет генсека, оттуда — в комнату, где находился Сталин. «Сидит один. Бутылка «Хванчкары». «Ну, Максим, давай посидим, помолчим».

Вот мы сидим, наливаем иногда винца. Прохо-

дит час, два. Ну перекинемся двумя-тремя словами. Что-то спросит. Проходит часа четыре-пять: «Ну, Максим, хорошо посидели, спасибо, сейчас тебя отвезут обратно...»

И умиротворённый диктатор проводил Михайлова до двери.

Артисты Большого смотрели уже на Максима Дормидонтовича как на сталинского фаворита и стали обращаться к нему в трудных случаях. Однако он не хотел досаждать Меценату по пустякам.

Большой театр стараниями генсека превратился в своеобразную витрину социалистического рая, в живую рекламу советской культуры. Постоянными посетителями стали все иностранные дипломаты и приезжие знаменитости. Поэтому Сталин почитал своим прямым долгом привлекать на эту сцену самых лучших артистов и музыкантов. Действовал он как непререкаемый владелец собственного театра, в добрых традициях помещиков-крепостников прошлого. Когда до него дошли слухи о недовольстве именитой публики некоторыми постановками С. Самосуда, Сталин решил сменить главного дирижёра и поставил за пульт Н. Голованова, который незадолго до этого покинул театр, не пожелав быть вторым. Своей волей Сталин пополнил труппу Большого не только уникальным басом Михайловым, но и великолепным баритоном П. Лисицианом, пригласил из Киева меццо-сопрано В. Борисенко и А. Бышевскую. Военный комендант Большого театра, а проще старший охранник А. Рыбин вспоминает о том, как «Великий Вождь», присутствуя на представлении «Князя Игоря», обратил внимание на молодого исполнителя главной партии: его характер,

произношение, да и внешний облик никак не соответствовали авторскому замыслу. Пригласив главного дирижёра, Хозяин спросил:

— Кто это такой?

— Очень перспективный солист, недавно окончил Тбилисскую консерваторию...

— Князь-то — русский. Значит и облик его должен быть русским.— Заметил Сталин. И добавил после паузы: — Пускай он поёт в Тбилиси...

Столь же решительно распорядился Он судьбой замечательного певца М. Рейзена, который служил в ленинградском оперном. Сталин услышал его впервые в дни декады Ленинградского искусства в Москве и предложил перейти в Большой театр.

— Товарищ Сталин, а как же Ленинград? У меня там семья, квартира... — спросил Рейзен.— Из театра тоже могут не отпустить...

— Мы попросим, отпустят,— улыбнулся Меценат.— О квартире в Москве тоже позаботимся. У вас будут все условия для творческой работы.

По свидетельству Рыбина, некоторые ведущие артисты называли Сталина «сорежиссёром» спектаклей. Они не слишком преувеличивали его роль в постановках: хозяин позволял себе вмешиваться и в эту область.

...В ходе репетиции «Ивана Сусанина» Комитет по делам искусств предложил исключить финальный хор «Славься!», опасаясь сталинского гнева. Однако Самосуд возразил, что без этого гимна нет самой оперы... Неожиданно вмешался Сам — уже в роли Главного Цензора: «Как же так? Ведь на Руси были тогда князья, бояре,

купцы, духовенство, миряне. Они все объединились в борьбе с поляками. Зачем же нарушать историческую правду? Не надо».

Присутствуя на одной из репетиций, когда из Спасских ворот Минин и Пожарский выходили вместе с народом, Сталин распорядился посадить победителей на коней. И еще повелеть изволил, для убедительности, поставить побежденных шляхтичей на колени, да бросить к ногам героев поверженные знамёна захватчиков...

Подобной сценой Генералиссимус наслаждался в 1945 году, стоя на Мавзолее в день Парада Победы...

Не оставил своим вниманием Верховный цензор и репетиции «Поднятой целины», поправляя не только постановщика, но и автора либретто.

Так, прослушав последний акт, Он выразил неудовольствие сценой, где Нагульнов пел: «Как же без меня обойдётся мировая революция?». И выкладывал на стол партбилет. Этого натура записного демагога вынести не могла: «Мировая революция совершится независимо от Нагульного. Наоборот, Нагульнов без мировой революции не обойдётся».

После премьеры к Сталину в ложу привели главного дирижёра Самосуда и композитора Дзержинского. Он удостоил их беседы.

— Как вы относитесь к классике? — неожиданно спросил Сталин автора музыки.

— Критически,— не задумываясь, ответил молодой композитор.

— Вот что, товарищ Дзержинский, рекомендую вам закупить все партитуры классиков, спать на них, одеваться ими, учиться у них.— Посоветовал Сталин.

— Слушаюсь! — по-военному отчеканил композитор.

Самосуда Меценат одарил другим афоризмом: «Большой театр — святая сцена классического искусства, а не сцена портянок и навоза».

...И Художественный

«Отразить нашу действительность сможет только наше искусство большой правды, больших чувств и идей». Сталин сам опроверг это поразительное по наивности заявление Константина Станиславского. Начисто лишённый подлинных идей и чувств, Он овладел искусством грандиозной лжи и заразил ею целые поколения. Мы все, вслед за Станиславским, верили этому насквозь лживому Комедианту. Для него театр был не фабрикой мысли (выражение Бернарда Шоу), а фабрикой обмана.

Московский Художественный стал для генсека своим, лично ему принадлежащим театром довольно рано. Соответственно обращался он с актерами, не разрешая им выезд за границу. ОГПУ не выпускало актёров МХАТ даже в самых крайних случаях. Так случилось в мае двадцать восьмого с Ольгой Бокшанской, когда она просила разрешение на свидание с больными родителями, проживавшими в Латвии.

Прошло десять лет. Сталин непринужденно одолев ступени главной лестницы — генсек-диктатор-Вождь — приблизился к последней — Божество. Труппа придворного художественного, об-

ласканная к 40-летнему юбилею театра, обратилась к Сталину с письмом:

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Работники Московского Художественного театра, собравшись сегодня после летнего отдыха и начиная свой 41-й сезон, во всей глубине сознают ответственность и широту задач, стоящих перед советским искусством. Наши мысли невольно обращаются к Вам, к человеку, вдохновляющему нас на работу, на преодоление любых трудностей, на смелость в творческих исканиях. Мы обещаем Вам приложить все усилия, еще шире развернуть свое творчество и каждым своим спектаклем давать ответ на запрос нашего зрителя.

...И в первый день своей работы, бодрые, отдохнувшие, радостно собравшись снова в стенах родного театра, мы шлем свой горячий, благодарный привет тому, кто уверенно ведет нас к коммунизму, другу искусства — Вам, Иосиф Виссарионович».

Вот так, припав к стопам владетельного Мецената, существовал этот уникальный театр. Но это не избавило его от постоянной унизительной опеки.

...Сколько раз смотрел Сталин спектакль «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова? Его внимание привлекали образы царских офицеров, блиставших выправкой, умом, образованием. И тонким воспитанием.

Скольких он казнил в дни Царицынской обороны и позднее...

Криминалистам известно, что убийцу почему-то тянет к месту преступления. А что постоянно влекло Вождя на представление «Турбиных»?

Лучшим исполнителем роли Алексея Турбина, по общему мнению, был Николай Хмелев. Однажды Сталин сказал ему: «Хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики. Забыть не могу...»

Высочайший покровитель Художественного театра ревностно следил за творчеством Михаила Булгакова, не следил — отслеживал каждое сомнительное на свой большевистский вкус место. Не под его ли давлением автора «Мольера» («Кабала святош») заставляли в ходе репетиций вносить в текст пьесы новые и новые поправки? Кончилось тем, что спектакль исключили из репертуара после седьмого представления. А что испытал драматург после гибели другого своего детища — пьесы «Бег»... Ознакомившись с текстом, Сталин уведомил автора, что ничего не имел бы против постановки этой пьесы, если бы автор добавил новые сцены, «изображающие внутренние социальные причины гражданской войны в СССР».

Драматург отказался от роли лакея на выходах — «Чего прикажете?». И пьеса была заживо похоронена.

Михаил Булгаков в театре Иосифа Сталина. Мольер при дворе Людовика XIV. Александр Пушкин и Николай II... Персонажи извечной драмы «Поэт и царь»...

...Страна готовилась к 60-летнему юбилею товарища Сталина. Наверху решили, что МХАТ должен подготовить к декабрю 1939 года достойный Вождя подарок. Но кто лучше Булгакова справится с этой почетной задачей?

С пьесой, посвященной Сталину, доброжелатели, все близкие связывали надежды на благие перемены в судьбе Булгакова.

Судя по тому, как руководители сперва уговаривали драматурга, потом торопили с окончанием пьесы, ему могли подсказать эту тему за несколько лет до знаменательного юбилея.

Булгаков обладал острым глазом художника, проникающего в самую суть исторических явлений. Человеческую натуру обнажал до конца, каждую роль прописывал тщательно и так вживался в образ, что готов был на репетициях сыграть за актера трудную мизансцену.

Вряд ли писатель поддался общей эйфории, не разгадав преступной личности Сталина. Нет, живописать розовым лаком жестокого диктатора он не смог бы даже под угрозой смерти. И он избрал единственный для себя способ рассказать правду — вывести на сцену молодого социал-демократа, вступившего в начале века на путь борьбы против царского строя. Зритель сам почувствует контраст между бунтарем, готовым ради свободы идти на каторгу, и зрелым диктатором, утопившим свободу в крови.

Новой пьесе Булгаков дал ёмкое название «Пастырь». Обдумывать план, искать подходы к сложной исторической теме уже в 1936 году, когда террор захлестнул всю страну. Но были, были, как это ни удивительно, писатели, поэты, художники, искренне поверившие в сталинский гений. Герогий Леонидзе уподобил юного Сосо легендарному витязю, герою Шота Руставели. Поэма Леонидзе издавалась несколько раз с императорской роскошью. Алексей Толстой, в отличие от тифлисского одописца, никогда не верил в

животворный социализм и знал истинную цену Великому Обманщику. С историей А. Толстой был знаком основательно, подлинная роль Сталина на Царицынском театре военных действий была ему ведома. Но положение обласканного новой властью графа обязывало, и он решился с легким сердцем на заведомую ложь, состряпав свой «Хлеб», повесть приторно льстивую. Ничего, этим продуктом кормилось потом не одно поколение...

Зима и весна 1939 года пролетели в интенсивной работе над пьесой, вскоре драматург смог уже ознакомить некоторых коллег с ключевыми картинами. Отзывы знатоков — П. Вильямса, А. Файко, братьев Эрдманов, Бориса (драматурга) и Николая (художника), В. Виленкина и Н. Хмелева — самые лестные. Чтение рукописного текста в Комитете по делам искусств, в присутствии председателя М. Храпченко, прошло гладко. Но опасения остались.

Поначалу дирекция театра предложила автору подписать договор, в котором оговорила право постановщика на «необходимые» переделки текста. Михаил Афанасьевич не уступил. Торг продолжался летом, в разгар травли Всеволода Мейерхольда. Арест Мастера, зверское убийство Зинаиды Райх, игра Сталина и Берия в «потепление»,— в этой обстановке драматург лихорадочно, не зная сна, дописывал, редактировал почти готовую вещь. Срок сдачи — 25 июля, юбилей Вождя близок. От первоначального названия пьесы «Пастырь» пришлось отказаться по настоянию партийно преданной дирекции. Согласились на безликий «Батум».

Булгаков понимал, что неофициальная (и решающая) цензура не пропустит прозрачных

намеков на антинародную политику Диктатора, на полицейский режим. Поэтому поспешил пропустить пьесу через жесткую самоцензуру. Он существенно смягчил речь ректора Тифлисской духовной семинарии при исключении Иосифа Джугашвили, речь, направленную против инаковерующих, инакомыслящих (сцена из Пролога). Увы, таких опасных для жизни пьесы и спектакля мест оказалось немало...

Михаил Афанасьевич уложился в директивный срок, сдал отпечатанную пьесу 25 июля и вскоре выехал на юг вместе с постановочной группой. Удар настиг драматурга на станции Серпухов. Телеграмма гласила: «Надобность в поездке отпала. Возвращайтесь Москву». Кремлёвский радетель обнаружил мину, заложенную в последнем творении Мастера.

В то неповторимое время (неповторимое ли?) все театры страны функционировали в условиях жесткой регламентации, под прессом политического надзора. Зримое представление о государственной системе подавления театрального искусства дает приказ № 625 от 1 декабря 1939 года. Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР запрещает репетировать «пьесы с образами вождей» без специального разрешения Главного Управления театрами. Засим следует регламентация. «К мотивированным ходатайствам, которые представляют Управления по делам искусств при СК Союзных республик, должны быть приложены: подробная творческая характеристика театра в целом и — основных исполнителей спектакля, фотографии исполнителей главных ролей — без грима и в гриме; краткая режиссерская характеристика по-

становки. Категорически запрещается начинать работу над пьесами с образами вождей партии до разрешения этих пьес Главреперткомом.

Подготовленный театром спектакль принимается Управлением по делам искусств Союзной республики, с обязательным привлечением представителей республиканских или областных парторганов.

Список пьес (спектаклей), подлежащих разрешению в вышеуказанном порядке, устанавливается особо».

Над театрами нависла туча тотального террора, постоянным страхом сковала творчество драматургов, режиссеров, актеров. Пресловутая генеральная линия предписывала им славить Вождя, его партию, его органы кары и сыска. На обсуждении пьесы Николая Вирты «Земля» во МХАТе ассистент режиссёра Медынский отметил, что автору следовало показать не просто врагов, а борьбу с врагами и роль «в этом деле» партии и ВЧК...

Медынскому вторит актер Леонидов.

«Когда я получил от дирекции указание поработать над этой пьесой, я подумал: стоило ли сейчас опять распахивать эту зловонную яму. Но читая слова Сталина: «Помнить и никогда не забывать, что пока есть капиталистическое окружение, будут и вредители, диверсанты, шпионы, террористы, помнить и вести борьбу с теми товарищами, которые недооценивают силу и значение вредительства».

Леонидов приходит, сам того не ведая, к страшному выводу: «Я понял, что это — вечная, постоянная тема».

Неужто так думали все актеры — народные и не удостоенные высоких званий? Вряд ли. Однако высказать свое отношение к происходящему не осмеливались. Нашлась все же мужественная женщина, публично заклеймившая крепостное состояние Художественного театра. Здесь вновь потребуется точная цитата, на этот раз из выступления Еланской. В ее словах — удушающий воздух эпохи.

«Нас не приучили к творческой мысли, нас, наоборот, отучают творчески мыслить. Наш театр — мертвый дом... Художник-актер — он должен чем-то зажигаться, мечтать, гореть. А у нас мечтать, играть актер может только со своей подушкой, а если он сказал своему товарищу, то его на смех поднимают. Если он сказал директору, то это считается преступлением — он возжелал о чем-то мечтать, в то время как в этом театре не требуется никаких мечтаний — все за вас обмечтают и вызовут когда потребуется».

Нет, заслуженную артистку республики, орденоносца Клавдию Николаевну Еланскую не репрессировали, хотя при Ежове, в 1937 и весной 1938 года несколько актеров, обладателей подозрительных анкетных данных, исчезло.

Одной из самых заметных фавориток Сталина была, несомненно, Алла Константиновна Тарасова, актриса яркая, самобытная. Ее талант раскрылся на сцене МХАТа в спектаклях по пьесам Островского, Чехова, Горького. После Анны Карениной, которую она играла с таким неповторимым партнером, как Хмелов, ее имя было на устах всех истинных ценителей театра. Кинофильмы «Гроза» (1934) и «Петр Первый» (1937) сделали ее самой популярной актрисой

страны. Присуждая ей Сталинские премии, пять кряду, Меценат понимал, кого пристегивает к своей политической колеснице. Пришлось принять сан депутата Верховного Совета и в партию вступить... И на приемах, на всех правительственных приемах, сидеть за элитным столом близ сошедших с парадных портретов вождей.

Придворная актриса придворного театра, она жила и творила под страхом наказания. В 1919 году юная Алла Тарасова выехала за рубеж, покинула родину вместе с Белой армией. Вернулась в Москву лишь через пять лет, хотя группа Василия Качалова возвратилась еще в 1922 году. Впрочем, ее гастроли в Европе и Америке были согласованы с Константином Станиславским, но анкета содержала убийственный криминал: в Праге жил ее родной брат, служивший в разведке генерала Деникина, да и первый муж актрисы оказался белогвардейцем... Всего этого хватило бы чекистам для репрессий на две-три семьи, вместе с детьми и внуками. Да вот нет команды сверху. Но нрав Мецената переменчив...

Ненавидела Тарасова этот режим, презирала кремлевского деспота, но терпела и страх и унижения ради сцены.

...Жизнь с новым мужем, Иваном Михайловичем Москвиным, казалась счастливой, но во время войны их брак распался. На фронте актриса встретила генерала авиации Пронина, стала его женой и очень тепло отзывалась об этом «хорошем человеке» в своих письмах. Собственно к авиации Александр Пронин не имел никакого отношения, он был сотрудником известного партчиновника Щербакова, на фронте служил по надзорно-политической части. Может быть, Тарасова искала в

этом странном браке гарантию личной безопасности?..

Летом тридцать восьмого Сталин впервые появился в бронированной ложе МХАТа в сопровождении Лаврентия Берия. Став первым заместителем наркома внутренних дел, потом наркомом Берия явно не решался устроить серьезную чистку в этом театре, давно уже ставшим излюбленным местом развлечения Хозяина. Если бы не это досадное обстоятельство, Берия уничтожил бы всю труппу Художественного. Его агентура внедрялась в эту среду, установила плотную слежку за всеми. Досье на каждого актера, режиссера, администратора пухли день ото дня. Театральные вкусы Хозяина могли измениться, и тогда...

Берия не был одинок в своих кровавых вожделениях. В гестапо задолго до войны была заведена картотека на известных деятелей культуры. Нашлось там место для актеров МХАТа. С немецкой аккуратностью, по алфавиту, проставлены имена, фамилии, адреса и порядковые номера. Затем следовало название отдела или управления, наметившего ликвидацию своего клиента после падения Москвы. Генеральный список включал не только деятелей культуры — артистов, писателей, художников, композиторов. Гестапо планировало захват видных ученых, изобретателей, партийных функционеров, всего — 5256 человек.

Отдадим должное скромности Гиммлера. Истребительные планы Берия были масштабнее. В конце тридцать восьмого забрали театрального режиссёра Льва Владимировича Гольденвейзера. Через несколько дней привезли его двоюродного брата Александра Борисовича. Три часа

допрашивали друга Льва Толстого, всемирно известного пианиста о контрреволюционных связях кузена.

Лубянская секира выбирала самых талантливых, самобытных. Начинал Ягода, Ежов и Берия продолжили. Среди казнённых по указке Сталина были мастера, составившие славу советского многонационального театра — Сандро Ахметели, Владислав Голубок, Михаил Донец, Вениамин Зускин, Лесь Курбас, Всеволод Мейерхольд, Соломон Михоэлс, Вели Муртазин, Жумат Шанин, Михаил Рафальский... Названы лишь те,— все ли? — кто носил звание Народных артистов. А их тогда было не так уж много.

И если мы заговорили о народных артистах, то должны напомнить, что первые носители этого звания Федор Иванович Шаляпин и Александр Константинович Глазунов остались за рубежом, не пожелав коротать свои дни в большевистском раю.

Непокорный Сандро

Гибель народного артиста Сандро Ахметели, любимца всей Грузии не могла свершиться без личной санкции Сталина.

Один из московских гастрольных спектаклей Ахметели в 1938 году посетил генсек и члены Политбюро. На память об этом дне они сфотографировались с директором и художественным руководителем театра. По возвращении в Тифлис Ахметели увеличил фотоснимки и выставил их в фойе театра. Казалось бы, ничего предосудительного. Но был один нюанс: Ахметели находился на

переднем плане в самой непосредственной близости к Сталину, а Берия — первый человек в республике — получился мелко и мог быть опознан только по своему пенсне. И такой конфуз ежевечерне теперь могли лицезреть местные зрители. Выставку устроили без ведома и разрешения первого секретаря, что вызвало гнев Берия, поскольку он расценил эту акцию Ахметели как унижающую его лично. Ахметели предложили аннулировать крамольную экспозицию. Он отказался, что привело властителя в ярость. В деле по реабилитации имеется показание секретаря-стенографистки, из которого выясняется, что в беседе с зав. отделом ГПУ Б. Кобуловым по поводу этой выставки чрезвычайно раздраженный Берия отпустил в адрес Ахметели оскорбительные слова. В ходе беседы недобрым словом был упомянут и спектакль «Ламара». Ахметели, хотя и сменил на афише имя крамольного автора — Робакидзе на Важу Пшавелу (некоторые основания для этого были: в пьесе выведен великий поэт и читались его стихи), продолжал сохранять его в репертуаре театра. Через одного из своих помощников, А. Таришвили (в 1937 году он будет проходить по делу Ахметели и тоже погибнет), Берия потребовал снять «Ламару». Ахметели с его приказом не посчитался и даже повез этот спектакль в последние гастроли в Баку...

...Ахметели было предложено покинуть Тифлис и переехать на жительство в Москву, где ему будет обеспечена возможность получить работу. Сандро категорически отказался и от этого предложения. К тому времени театр получил официальные приглашения из Америки и других стран. Вмешался Берия и театру не были предо-

ставлены визы. Гастроли, естественно, отменили. Актеры понимали, кто это все устроил и открыто называли его имя.

В беседе с Лаврентием Берия В. Жвания выяснил, что для срыва этих гастролей на каждого потенциального участника фабриковалась компрометирующая документация и по секретным каналам передавалась, за личной подписью Берия, в компетентные органы в Москву.

Переговоры о зарубежных гастролях Театра Руставели в 1938 году с руководством театра и с Комитетом по делам искусств вел американский продюсер С. Радамский. В 1934 году приглашения были высланы. Фамилии Радамского и еще какой-то совершенно мифической личности, Рутц-Курланд, фигурируют в деле как фамилии агентов иностранных разведок, якобы завербовавших Ахметели для работы на США и Англию.

Сентябрь 1936. Ахметели гостит на подмосковной даче Ю. Юзовского, подолгу беседует с ним за чашкой чая. Мастер рассказывал о Берия: «Вы не знаете, что это за ужасный, чудовищный человек! Вы еще узнаете это. Он мне не простит непокорности... Он меня арестует. А стоит мне написать ему письмо с изъявлением сожаления и раскаяния в случившемся, и все будет кончено. Но я не могу написать такого письма. Я его презираю. Он мне гадок. Я не опущусь на колени...

Он засиживался до поздней ночи и, видимо, делал это намеренно, чтобы не возвращаться на ночь домой».

Вскоре из Тбилиси пришли известия об аресте ближайших друзей — самых преданных ему актеров...

19 ноября 1936 года глубокой ночью явились трое...

...Ахметели привезли в Тбилиси... Несмотря на жестокие истязания, он долго держался, не признавая возводимых на него измышлений. Следствие по делу Ахметели и его «сообщников» вершилось особо агрессивно по личному указанию Берия и под контролем наркома внутренних дел Грузии Гоглидзе...

Дело вели заведующий отделом Мхеидзе и оперуполномоченный Щекотихин. Впоследствии они были арестованы за контрреволюционную деятельность.

В закавказском театре, как и в Москве, стреляли настоящими пулями, сначала расправлялись с жертвами, потом с палачами.

Из приговора:

Ахметели «проводил шпионскую деятельность в пользу английской разведки, являлся членом троцкистко-зиновьевской контрреволюционной террористической организации в области искусства, развивал широкую вредительскую деятельность. Под предлогом шефства над национальными театрами других республик и областей он создал боевые группы в Баку, Сухуми, Грозном, Сталинири и в других районах Грузии. В эти группы лично он вовлек 35 человек. В Театре Руставели он создал террористическую организацию, чтобы совершить теракт против Берия. Переехав на жительство в Москву, он и там пытался в актерской среде организовать террористическую группу для совершения терактов против Сталина и других членов Политбюро».

...Двадцать пять человек втянул Берия в «Дело Ахметели». Судебное представление с участием Матулевича, подручного Ульриха, закончилось к обеду. Всех мужчин, числом 21, казнили на другой же день, женщинам дали по 10 лет.

Судьба режиссера Варпаховского

Леонид Варпаховский был художником своеобразным и смелым. Этого вполне хватило, чтобы впасть в немилость у российских Прокрустов. Вспомним судьбы Мейерхольда, Таирова, Михоэлся...

Мне довелось встречаться с Варпаховским через несколько лет после его возвращения из ссылки. Вот краткая справка, в ней — трагедия режиссера, разделившего судьбу многих гонимых.

Начинал Варпаховский в Москве, в Центральном ТРАМе. В тридцать седьмом с ним обошлись мягко, отправили в Алма-Ату, в театр имени Лермонтова. Там, в ссылке, Варпаховский осуществил четыре постановки.

Годы 1938—1942 — пробел. В ту пору режиссер работал уже за колючей проволокой. Только вышел «на свободу»,— новая ссылка.

1942—1944. Театр Дальстроя на Колыме.

1944—1948. Варпаховский служит в музыкально-драматическом театре имени Горького, в Магадане. Там с ним работал художник Василий Шухаев, тоже репрессированный.

1949—1958. Руководитель студии при окружном комитете профсоюза в Усть-Омчуге.

Лишь после смерти кремлевского Мецената

режиссеру дозволено было покинуть гиблый край. Осень 1953 года он начал в Тбилиси, потом вернулся в Москву, осуществил ряд замечательных постановок в Малом театре, а также на сценах театров имени Вахтангова и Ермоловой.

Он прожил обидно мало, всего 68 лет. Спустя два года после смерти вышел сборник его статей, и театральный мир еще раз пережил горечь утраты замечательного Мастера.

Татьяна Окуневская

История запроволочной сцены помнит еще одну артистку редкой красоты и удивительного мужества. Попав по этапу в Архангельский лагерь, она отказалась ставить в зоне оперетту. Начальник лагеря, бывший лубянский функционер, решил скрасить свою ссылку музыкальными спектаклями. Но Татьяна Окуневская, популярная артистка кино и театра, не терпела насилия... Начальник отправил ее на самые тяжелые работы, в штрафную зону... Она выжила и в августе 1954 года вышла на свободу.

Окуневская имела несчастье родиться в семье бывшего офицера. В 37-ом его арестовали, затем взяли бабушку и двоюродного брата. В то время Татьяна Кирилловна работала в труппе замечательного режиссера Николая Охлопкова, заметившего новый талант на репетиции кинофильма «Пышка». И еще один известный театральный деятель Н. Собольщиков-Самарин принял участие в судьбе актрисы, пригласил ее в Н-Новгород, в труппу драмтеатра. В столице дочери «врага народа» оставаться было опасно...

В военные годы Окуневская успешно работает в кино и на эстраде. Совершенно неожиданно для себя она стала певицей. Приятного тембра голос, в соединении с драматическим мастерством и красивой внешностью снискали Татьяне Окуневской огромную популярность. До сих пор звучит в моей памяти песня из военного сборника «Ночь над Белградом тихая»...

Послевоенные гастроли — София, Белград, Прага, Вена — принесли ей европейскую славу. Её супруг, обласканный властями писатель Борис Горбатов, ввел артистку в элитарный мир. Окуневская стала украшением званых вечеров.

На Лубянке ревниво следили за ее успехами: слишком удачлива, слишком красива, слишком независима... Посмела отказаться от членства в партии. Знали там, что она тяготилась правительственными привилегиями, не хотела участвовать в годы разрухи в этом «пире во время чумы». Всё это ей припомнили зимой 1948 года. Новый фаворит Сталина Виктор Абакумов послал за ней двух агентов с запиской: «Вы подлежите аресту».

...Из Джезказгана, из каторжанской зоны, осужденная за «антисоветскую агитацию» Окуневская сумела отправить на волю письмо мужу. Советский писатель с партийной принципиальностью отрекся от неё, письмо попало к министру ГБ. В этом письме Окуневская, потерявшая отца, а теперь и дочь, называла Абакумова садистом, убийцей. Дерзкую артистку бросили в столыпинский вагон и доставили спецэтапом в Москву. Кабинет хозяина Лубянки. «Значит, я убийца и садист? Ну что ж, постараюсь оправдать эту характеристику, я вас сгною здесь!» — пообещал Абакумов.

Нет, она не погибла в одиночке. Через 13 мучительных месяцев ее отправили под Архангельск.

Как ей удалось выжить, обреченной на медленную смерть, как перемогла ужас стольких запроволочных зон?

В Вятском лагере Окуневской, наконец, повезло. Начальник политотдела, участник войны, доверил ей арестантский театр. К тому времени её могущественный «покровитель» Абакумов сам угодил за решётку, и некому было позаботиться об уничтожении артистки.

Мысли о свободе пришли лишь после смерти верховного Мецената и устранении Берия. Татьяна Окуневская вернулась в Москву в августе 1954 года, отбыв «всего лишь» шесть лет из десяти отмеренных властителями. И у неё достало сил — душевных и физических — на концертные гастроли.

Петербургский Эзоп

На первый взгляд судьба драматурга сложилась вполне благополучно, если не считать редких, будто случайных уколов цензуры. Современники отмечают смелость Шварца, который не только не чурался опальных Ахматовой, Зощенко и Акимова, попавших под каток постановлений ЦК, но и поддерживал их морально. Выступить с критикой зубодробительной политики самозванных вождей он, разумеется, не мог. Учиненный ими погром культуры болью отозвался на драматургии, парализовал деятельность самобытных режиссеров. Что касается Сталина, который дирижировал этой кампанией, то Шварц ещё в годы

двадцатые разглядел под личиной Мецената оскал экзекутора.

В печально знаменитом 47-м году Евгений Шварц работал над пьесой «Летучий голландец», но так и не довёл задуманного до конца: в пьесе зазвучали опасные диалоги. Некий персонаж в споре с другим читает такие стихи:

Меня господь благословил идти,
Брести велел, не думая о цели.
Он петь меня благословил в пути,
Чтоб спутники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,
Чтоб не нарушить божье повеленье.
Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.

Я человек. А даже соловей,
Зажмурившись, поет в глуши своей.

Атмосфера страха сковывала мысль, давила на сердце, лишала дыхания. Однажды, беседуя с драматургом, Юрий Герман с горечью заметил:

— Тебе-то что, ты пишешь сказки.

— Вот и выходит,— сразу же нашелся Шварц,— что это ты пишешь сказки, а я пишу быль...

Остроумие, присущее ему органично, не покидало Шварца ни при каких обстоятельствах. Такие люди попадались мне и в тюремной камере, и в лагерной зоне. Правда, очень редко.

Склоняясь над письменным столом, присутствуя на репетициях своих чудесных пьес, Евгений Шварц затылком постоянно ощущал сверлящий взгляд Лубянки... Обсуждая с Ольгой Бер-

гольц газетные сообщения о переменах в составе советского правительства, Шварц вспомнил известные строки баснописца:

А вы, друзья, как ни садитесь,

... и неожиданно закончил:

Только нас не сажайте.

Ансамбль Игоря Моисеева

О горькой судьбе танцовщиц этого ансамбля известно мало, однако то, что высокочтимые большевики пытались зачислить их в свой гарем, факт достоверный. Весьма влиятельные господа, в их числе личный секретарь генсека Поскрёбышев, требовали на гарнир к своим домашним банкетам девочек из ансамбля народного танца Игоря Моисеева, но получали от него решительный отказ...

На кремлёвской сцене этот ансамбль появился осенью 1937 года и с той поры стал непременным участником всех концертов. Более других Хозяину полюбился один номер, «Подмосковная лирика», с большой выдумкой и юмором поставленный Игорем Моисеевым. Он оставался фаворитом Мецената до конца его многотрудной жизни. А начиналось всё в Театре народного творчества в бытность П. М. Керженцева председателем Комитета по делам искусств, когда Моисеев провел фестиваль народного творчества. Фестиваль открыл такое изобилие талантов, что Керженцев отважился обратиться с письмом к самому Молотову. Председатель Совнаркома поддержал идею созда-

ния государственного ансамбля народного танца. Это произошло в начале 1937 года. Самое время для танцев...

Игорь Моисеев и ранее участвовал в торжественных концертах в День Красной Армии — 23 февраля. Второе отделение кремлевского концерта было отдано армейской художественной самодеятельности. Сталин любил приемы и назначал их не только в дни официальных праздников, но и по случаю юбилеев своих подручных. Участие артистов было приведено в соответствие с Его вкусом: Михайлов, Рейзен, Максакова, Давыдова, Козловский, Лемешев... Кроме этих прославленных певцов, на приемы приглашали кукольника Образцова.

Хор Краснознаменного ансамбля Александрова своим мощным пением сотрясал своды Георгиевского зала, вдохновляя присутствующих на новые победы в труде и бою. Танцоры Игоря Моисеева вскоре тоже стали придворными артистами. Если правительственный прием совпадал с периодом летних отпусков, их доставляли самолетами прямо с курортов в Москву. Бесперебойную концертную службу обеспечивал начальник личной охраны генсека Власик. Полуграмотный фельдфебель в роли куратора кремлевских представлений? Ничего удивительного: личная безопасность Вождя превыше всего.

Главный стол был расположен близ сцены, вдоль нее, остальные — перпендикулярно сцене. Первые стулья отведены охранникам. Между ними и главным столом, где в центре сидел Хозяин, пролегла мертвая зона. Вожди сидели лицом к залу и поворачивались к сцене по ходу концерта. К участию в банкете допускали лишь

избранных, остальные артисты ужинали в смежном зале за столами с тем же роскошным меню. Приглашенные в Георгиевский зал занимали свои места за несколько минут до начала концерта. Сталин в окружении почетной свиты появлялся под звон часов Спасской башни Кремля ровно в семь, и зал стоя приветствовал Небожителя. Любитель театральных эффектов медленно шествовал к своему креслу, садился, и начинались тосты.

Печать дурной театральности лежала на этих кремлевских представлениях: искусственное обожание, фальшивые речи, деланное веселье... Натуральным был только страх, неизменный спутник каждой встречи с Меценатом.

В тридцать девятом председателем Комитета был назначен Михаил Борисович Храпченко. Новый начальник социалистических искусств более всего боялся не угодить Хозяину. Вероятно, по этой именно причине Храпченко запретил Моисееву представлять на правительственной сцене что-либо новое. Но балетмейстер все же осмелился ослушаться, правда, с согласия Власика, который и включил в концертную программу один из новых номеров. Танец явно понравился, однако Храпченко вознегодовал: «Вы только представьте, что бы случилось, если бы это не понравилось! Ведь не вы бы отвечали, а я!».

Дадим слово Игорю Моисееву. «...Я не успел ответить, как на плечо Храпченко легла рука Сталина.

— Что вы все о делах, да о делах,— сказал он.— Сегодня надо гулять...

Услышав знакомый голос, Храпченко позеленел. Все на его лице стало двигаться отдельно:

губы отдельно, щеки отдельно, глаза отдельно, руки затряслись. То была сцена сумасшествия... Он хотел ответить, но кроме «б-б-б...» ничего не смог произнести. Видимо, Сталин понял, что с ним происходит и сказал:

— Потанцевали бы.

— Иосиф Виссарионович, дамы нет! — плачущим голосом откликнулся Храпченко.

— Вот тебе дама,— сказал Сталин и показал на меня.

И тогда случилось вот что: Храпченко схватил меня и начал со мной скакать по залу. Без всякой музыки. Я начал хохотать — не мог удержаться. Сцена была, конечно, отвратительна, просто патологична. Сталин поглядел, потом махнул рукой брезгливо и пошел прочь. И когда Храпченко увидел, что Сталина нет, и понял, чему я был свидетелем, он оттолкнул меня и убежал».

Ну а сам Игорь Александрович, неужто ему неведом был страх? Разве не знал он ничего о тюремной судьбе многих замечательных артистов, режиссеров, художников? Все эти годы приписанный к кремлевскому двору хореограф жил и творил на пороге расправы. Началось с того, что в районном военном комиссариате, узнав о дворянском происхождении Моисеева, разорвали военный билет. «Лишенец» служил в ту пору в Большом театре, его уважали за талант и редкое трудолюбие. Добрые люди закрыли глаза на дефект в анкете молодого балетмейстера. Помогло, несомненно, покровительство Авеля Енукидзе, которому генсек поручил курировать Большой театр. Но рискованная ситуация сохранялась еще долго, ибо Моисеев никак не соглашался вступать в боль-

шевистскую партию. Восемнадцать раз вызывали упрямца в райком и горком.

— Какое вы имеете право руководить **таким** ансамблем, вы, беспартийный! — прикрикнул на него партийный гаулайтер столицы.

— А я верую в Бога, — нашелся руководитель ансамбля. — Потом вы будете мне выговоры объявлять за то, что я верующий?

— Вы не имеете права оставаться вне партии!

— Ну снимайте меня...

Под сиятельным сапогом

Кинодраматург Евгений Габрилович сохранил в памяти рассказ бывшего председателя Комитета по делам кинематографии И. Большакова.

...Однажды зимой он показывал Сталину новый фильм. Был по обычаю поздний час, спокойно и мирно взирал на кинотворение Вождь, смирно, не закрывая век, дремали соратники. Вдруг, примерно на половине экранных хитросплетений, Сталин встал и вышел из зала, не проронив ни слова... Возникло смятение. Находчивей всех оказался Молотов:

— Прекратить!

Вспыхнул свет, замер стрекот проектора. Молотов резко обернулся к Большакову:

— Что за мерзость вы нам привезли?

— Вздор! Околесица! Клевета! — подхватил хор.

И еще минут пять гремели оценки того же калибра:

Молотов довершил:

— Фильм запретить! Чем вы думаете, когда везете сюда картины? Что у вас вообще происходит в кино?

Большаков помертвел. Именно в этот момент вошел Вождь, поправляя на ходу брюки.

— Что случилось? — спросил он. — За чем остановка? Давайте смотреть. Отличнейшая картина!

Воцарилось безмолвие. Да такое, какое случалось только при Сталине. Ни шороха.

— Оборвалась пленка, — сказал кто-то...

Получился маленький, но удивительно яркий комедийный шедевр. Сколько их еще будет создано на кремлевском холме...

Случалось, Сталин просматривал новые фильмы в небольшом зале особняка в Малом Гнездниковском переулке № 7, где размещалось в 30-е годы Главное управление кинематографии, переименованное потом в Комитет, еще позднее — в Министерство. В том особняке Вождь появлялся всегда неожиданно в сопровождении шефа Лубянки.

Этот особняк украшает архитектурная композиция: фигура рабочего, обрамленная силуэтом звезды. Рабочий поднял высоко факел — символ света, который кино несет советскому народу. В другой руке рабочего молоток. Запомним эту деталь.

При кремлёвском дворе жёстко соблюдали субординацию, поэтому демонстрацией кинофильмов ведали лично председатели Комитета. Первый из них, старый большевик Борис Шумяцкий. Он возил коробки с лентами Сталину в сопровождении чекистов до тех пор, пока его самого не увезли на Лубянку. Насовсем. Подробности назначения нового шефа кино в передаче Леонида Коря-

вина, сына заместителя председателя Комитета, весьма занимательны.

— Во главе Комитета нужен чекист,— сказал (указал?) Молотов Шкирятову, ведавшему в ту пору партийным контролем.— Посоветуйтесь с Маленковым.

Последний ведал распределением высших кадров и вскоре отыскал надёжного человека в лице начальника Воронежского управления НКВД Семена Дукельского. Кандидатура, разумеется, была заранее согласована со Сталиным, но на заседании Политбюро наш лицедей решил разыграть полное неведение:

— Почему Дукельского?

— Ну он же работал тапёром в Одессе,— нашелся после паузы Молотов.

Ответ резонный: пианист Дукельский действительно сопровождал в старой Одессе кинофильмы. Только этот факт взят Молотовым из биографии брата смотрителя кино...

На новом посту Дукельскому пришлось лавировать между тремя «у»: угодить — угадать — уцелеть. Произнесенное Сталиным «да» или «нет» сразу же решало судьбу нового фильма. Когда же Меценат после просмотра ничего не высказывал, начинались мучения: Дукельский выспрашивал мнение приближенных — не сразу, конечно. Звонил секретарям, референтам членов Политбюро, даже к детям обращался. И уцелел. Заслуженного чекиста перебросили с культуры на воду, назначив наркомом морского флота.

Третий председатель, Большаков, до переброски на кино служил управляющим делами Совнаркома. Ивана Григорьевича знали все,— и он знал всех в царстве номенклатуры, а глав-

ное — он был своим человеком у Молотова, возглавлявшего правительство. Большаков мог, не в пример Дукельскому, получить в любой момент направляющий совет у второго лица в государстве, и все же прав Габрилович, когда говорит, что от этого начальника киноцеха требовались необыкновенная отвага и находчивость. Прежде чем представить Хозяину новинку, надо было досконально изучить обстановку. Каково настроение, не раздражен ли, не случилось ли в этот день чего-нибудь такого, что могло вызвать его скрытую ярость — затаенную и тем более опасную. Не учинил ли кому разнос? Хорошо ли откушал ужин, молчал или шутил? Изжога не донимала? Троцкого не поминал? Как обстоят дела с уборкой хлебов и выплавкой стали? Что слышно в Германии, в Америке, Британии? Говорил ли с кем по-грузински, долго или нет, и о чем? Только выяснив эти и многие другие вопросы и подробности, Большаков решался на показ новой ленты. Случалось, шеф кинотворчества в последний момент получал тревожные сведения о расположении духа Мецената, тогда в проектор закладывали неувядаемый «Большой вальс», и Сталин, в который раз, с удовольствием взирал на танцующую Вену, сидя в окружении дремлющих подпасков.

И все же не ради одного лишь приятного времяпрепровождения вызывал Сталин к себе шефа кинофикации с фильмами. Этот суперкоммунист заботился о воспитании народа в марксистско-ленинском духе, о преданности большевистской партии и о чистоте нравов. И еще — фильмам надлежало возбуждать ненависть к мировой буржуазии и внутренним врагам. Целый набор задач для

всесторонней утилизации киноискусства. По мысли Сталина, кино должно было распространять миф о счастливом советском народе, всегда готовом «на труд и на подвиг». Одним из таких служебно-конъюнктурных фильмов стала лента Пырьева «Трактористы» с Николаем Крючковым в главной роли — жизнерадостного и трудолюбивого Клима Ярко. Этот фильм пришелся Утилизатору по душе, он пригласил Крючкова на кремлевский банкет и даже предложил тост за Клима Ярко.. Полного одобрения Сталина удостоился фильм по сценарию Габриловича «Машенька». «Такие фильмы полезны,— заметил Сталин,— народу необходимы чувства». Однако приоритет принадлежал, конечно же, фильмам идеологическим. Они должны были подогревать гражданскую войну, которая не прекращалась ни на один день, только ее приказано было именовать классовой борьбой. Не потому ли была высочайше осуждена картина «Счастье» А. Медведкина, который якобы пытался протащить на экран идею затухания классовой борьбы. А. Роома, постановщика фильма «Строгий юноша», обвинили в сочувствии «буржуазной технократии»...

Кинопродукция была объявлена, подобно водке и табаку, государственной монополией, однако на деле стала личной монополией Вождя. При этом он отнюдь не ограничивался оценкой готовых к показу фильмов. Генсек считал себя вправе вмешиваться в творческий процесс, диктовать свою волю сценаристам, режиссёрам, актёрам. В кино, как на театре.

Не опустить бы еще одного генерального задания кинодраматургам и режиссерам — обожествления своей скромной (по сценической роли) пер-

соны. Идолопоклонство на экране стало нормой, и опытным мастерам стоило огромных трудов придать естественный вид отвратительной саморекламе в таких заказных фильмах, как «Великое зарево», «Первая конная», «Падение Берлина», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году»... В последнем из названных есть эпизод в Совнаркоме. Ленин встречает в коридоре девочку, ласково берет ее на руки и спрашивает:

— А где твоя мама?

— Мама умерла с голода.

Вождь снимает телефонную трубку:

— Товарищ Дзержинский? У нас в ЧК находится крупный спекулянт хлебом. Его надо немедленно расстрелять!»

Поощрив Аркадия Первенцева за грубую лесть в пьесе «Южный узел» Сталинской премией, Вождь дал ему еще одну премию за сценарий кинофильма «Третий удар».

Оправдание террора — бессудного, всеохватного. Внедрение в сознание так называемых народных масс ленинского постулата «цель оправдывает средства». Пропаганда непогрешимости партократии... Но и это ещё не всё.

Идея великой российской империи, дух советской агрессии, сталинский милитаризм нашли отражение в целом ряде фильмов, которые Меценат опекал с особым старанием. «Александр Невский», «Иван Грозный», «Суворов», «Кутузов»... Слова Александра Невского «защищать не умею, сами бить должны и без меры бить будем», эти слова звучат лейтмотивом во многих исторических фильмах, выпущенных на экран под надзором неутомимого генсека. У него был предше-

ственник, последний российский император. Николай Второй наградил медалью владельца одесской кинофирмы за широкий показ на юге России военно-патриотических картин.

Ну а как там, в цитадели фашизма? Всё то же самое: Геббельс поставил кино на службу тоталитарному строю, превратил в средство подавления свободной мысли и возвеличивания фюрера. Но в отличие от Сталина, Гитлер не унизился до показа собственной персоны в роли героя ни в одном художественном фильме. И — ни одного репрессированного кинорежиссёра, сценариста. Сталинские запреты коснулись даже творений таких выдающихся мастеров, как Эйзенштейн. Из его фильма «Октябрь» по указке Сталина вырезали кадры с Троцким и некоторые неугодные генсеку ленинские эпизоды. Замечательный фильм М. Дубсона «Граница» попал на экран по явному недосмотру кремлёвского Цензора: уж очень реалистично выписанным оказался быт еврейского местечка. Спохватившись, сняли «Границу» с проката... Чугунный запрет Сталина настиг талантливые ленты — художественные и документальные: «Бежин луг» С. Эйзенштейна, «Закон жизни» А. Столпера и А. Иванова, «Моя родина» А. Зархи и И. Хейфица, «Прометей» И. Кавалеридзе...

Когда изгоняли бесов космополитизма, в опалу попал ряд ведущих кинорежиссёров. Их исключали из партии, лишали работы, публично шельмовали. Мастера каялись, писали слезницы Вождю...

История советского кино помнит всего несколько мастеров, равных по значению Александру Довженко. И уж вовсе уникальными ока-

зались его взаимоотношения со Сталиным. В январе 1935 года, в связи с 15-летием кинематографии, Довженко был награжден орденом Ленина. Он подготовил и провёл вместе с Сергеем Эйзенштейном Всесоюзное творческое совещание работников кино. Довженко активно выступает в центральной печати, с открытым сердцем приемлет партийную линию в искусстве. И славит Вождя.

Сталин давно приметил одаренного украинского сценариста и режиссера, одобрил его ранний фильм «Арсенал»: «Настоящая революционная романтика»,— заявил генсек на пленуме ЦК в ноябре 1928 года. Однако в ту пору сталинский вердикт еще не являлся истиной в последней инстанции, генсек не успел войти в роль Вождя, и так называемая писательская общественность позволила себе третировать и фильм, и его творца...

Следующий фильм, «Земля», придворный поэт-раёшник Демьян Бедный обругал в «Правде» контрреволюционным, похабным. И критика отозвалась о новой ленте с отрепетированной свирепостью. Последний фильм «Иван» вызвал новую волну поругания, и когда нарком просвещения Украины Николай Скрыпник обвинил мастера в проповеди... «фашизма», Довженко буквально бежал в Москву. В дневнике он запишет: «Я противен Вам и в чём-то опасен... И вы дождались случая расправиться с моим именем. И вы меня убили. Больше, чем убили. Вы растоптали меня, оговорили и живого объявили мёртвым».

Можно себе представить, как тревожился мастер за судьбу своего нового детища — сценария фильма «Аэроград». И он отважился обратиться к Хозяину через его помощника Александра По-

скрёбышева. «Мне было трудно,— писал он два года спустя в статье «Учитель и друг художника».— Я подумал: один раз в трудную минуту моей жизни я обращался письменно к товарищу Сталину, и он спас мне творческую жизнь и обеспечил дальнейшее творчество, несомненно, он поможет мне и теперь. И я не ошибся. Товарищ Сталин принял меня ровно через двадцать два часа после того, как письмо было опущено в почтовый ящик.

Товарищ Сталин так тепло и хорошо, по-отечески представил меня товарищам Молотову, Ворошилову и Кирову, что мне показалось, будто он уже давно хорошо меня знает».

Довженко прочитал сценарий вождям — Большому и троим малым — и Сталин не только одобрил текст, но и заинтересованно расспрашивал автора о подробностях, о возможности строительства города на Дальнем Востоке.

Вождь оказал Александру Петровичу конкретную помощь в постановке фильма, вызвал его к себе еще раз и проводил до дома. Там они еще долго беседовали, прохаживаясь в поздний час по тротуару. Необычный поступок Вождя вызвал тревогу охраны и изумление дворников, которые под конец решили, что перед ними артист Геловани...

Фильм Сталину понравился, и он решил поручить художнику новую тему. Присутствуя в феврале 1935 года в Кремле на церемонии награждения Довженко орденом Ленина, генсек бросил реплику: «За ним долг — украинский Чапаев». Получив это задание, Довженко сразу же остановился на колоритной фигуре Николая Щорса. А генсек пригласил мастера на просмотр фильма

«Чапаев», обсуждал с ним особенности и различие героев гражданской войны — русского и украинца. Сталин отметил при очередной встрече: «Когда я говорил вам в прошлый раз о «Щорсе», я это сказал в плане совета. Я просто думал о том, что вы примерно будете делать на Украине. Но ни мои слова, ни газетные статьи ни к чему вас не обязывают. Вы — человек свободный. Хотите делать «Щорса» — делайте, но если у вас имеются иные планы — делайте другое. Не стесняйтесь. Я вызвал вас для того, чтобы вы это знали».

Хозяин, конечно же, играл роль скромного советника, принципиального противника диктата.

...Вот уже готов сценарий, фильм запущен в производство, и тут грянул большой террор. «Врагами народа» оказались и сподвижник Щорса, консультант фильма Дубовой и секретари ЦК Украины Косиор и Постышев. Совсем недавно они участвовали в обсуждении сценария в кабинете Хозяина. И всё же «Щорс» вышел на экраны, и вскоре режиссеру была присуждена Сталинская премия первой степени.

Киноповесть «Украина в огне» обещала стать событием. 5 ноября 1943 года автор записывает в дневник: «Позавчера был у Хрущева. Он принял меня радушно и приветливо... Он благодарил и поздравил меня по поводу «Битвы...», очень понравившейся Правительству и Политбюро». Говорили об «Украине в огне». Я рассказал ему, что ее боятся печатать из-за того, что в ней есть критические места. Как блюстители партийного целомудрия, чистоплюи и перевыполнители заданий боятся, чтобы не взбаламутили народ своими критическими высказываниями.

Он дал мне согласие на то, чтобы напечатать «Украину в огне» всю целиком и немедленно».

Казалось, ничто не предвещало бури...

Год 1943, 6 ноября, годовщина Великой революции. Праздник... А три недели спустя Довженко узнает, что его повесть не понравилась Хозяину, и он запретил ее к печати и постановке.

«Что делать, еще не знаю. Тяжко на душе и тоскливо. И не потому тяжко, что пропало впустую больше года работы; и не потому, что возрадуются враги и мелкие чиновники испугаются меня и станут презирать. Мне тяжко от сознания, что «Украина в огне» — это правда. Прикрытая и запертая моя правда про народ и его беду.

Значит, никому, выходит, она не нужна, и ничто, видимо, не надобно, кроме панегирика» — писал художник.

Чем же не угодил Довженко на этот раз Хозяину, обласканный им по первому разряду? Об этом мы узнаем из доклада генсека на заседании Политбюро 31 января 1944 года. Текст доклада стал достоянием гласности совсем недавно благодаря разысканиям ученого Александра Латышева, который очень много сделал для воссоздания подлинной истории советского кино и познакомил читателей с трагедией жизни Довженко.

Этот доклад, единственный в практике генсека целиком посвященный разбору одного произведения кинодраматурга. В нем, как в зеркале, четко отразился облик непререкаемого Диктатора — циничного, жестокого лицедея. Докладчик обвиняет автора в неприятии генеральной линии партии, в развенчании ленинизма, в национализме, а также — в злобной клевете на советский

народ и Красную Армию... Сталин обильно цитирует киноповесть.

Герой киноповести Довженко Запорожец говорит партизанам, собирающимся судить его за работу старостой при немцах:

«Попривыкали к классовой борьбе, как пьяницы к самогону! Ой, приведет она нас к погибели! Убивайте, прошу вас. Убивайте, ну! Доставьте радость полковнику Краузу. Соблюдайте чистоту линии!».

«Стараемся перехитрить друг друга, да всё железною метлою, да каленым железом да выкорчевываем все один другого на смех и глум врагам. Лишь бы линия была чиста, хоть и земля пуста! Ну, потешьте немцев, перевыполняйте задачу нашего самогубства!

— Бейте его, гада!

— Помолчи, дурка... Я не знаю сегодня классовой борьбы и знать не хочу. Я знаю отечество! Народ гибнет! Я раб немецких рабочих и крестьян! — грозно закричал вдруг Запорожец.— И дочь моя рабыня! Стреляй, классовый чистёха! Ну, чего ж ты стал?»

Более всего генсека раздражает то, что Довженко не осуждает предателей, а пишет о них с явной симпатией. Вместо описания героических подвигов солдат и показа могущества нашей армии — ложные обвинения партии и правительства в плохой подготовке к войне... Вот что говорит колхозник Куприян Хуторной своим сыновьям-дезертирам:

— Царя защищал, не бежал. Кому ты присягал? — обернулся он к Павлу.

— Теперь бога нет! — крикнул один дезертир.

— Брешете, есть: отечество!

— Так про это же разговор не был. Обучали классам. Опять же все побежали,— оправдывался Павло.

— Не пущу! Я защищал, не отступал, а вы свою власть отстоять на можете.

— Броня тонка, тато.

Самозваный маршал Сталин пытается оправдать поражения первых месяцев объективными причинами и славит ленинскую внешнюю политику, обеспечившую создание мощной антигитлеровской коалиции.

...Перед партизанами стоит колхозница Христя. Её судят за связь с итальянским офицером. «Я знаю, что мне не выйти отсюда живой. Что-то мне здесь,— она прижала руку к сёрдцу,— говорит, что пришла моя смерть, что совершила я что-то запретное, злое и незаконное, что нет у меня этой, как вы говорите, национальной гордости, ни чести, ни достоинства. Так скажите мне хоть перед смертью, почему этого нет у меня? А где же оно, людоньки! Род же наш честный... Почему я выросла негордая, недостойная и негодная. Почему в нашем районе вы измеряли девичью нашу добродетель главным образом на трудодни, да на центнеры. Националистка я? Какая?»

Тут верховный Цензор обрушил на голову Художника гневную тираду в защиту колхозного строя и наших замечательных женщин. Уличая Довженко в клевете на советский народ, Сталин приводит слова немецкого офицера:

«У этого народа есть ничем и никогда не прикрытая ахилесова пята. Эти люди абсолютно лишены умения прощать друг другу разногласия даже во имя интересов общих, высоких. У них нет государственного инстинкта... Ты знаешь, они не

изучают историю. Удивительно. Они уже двадцать пять лет живут негативными лозунгами отрицания бога, собственности, семьи, дружбы. У них от слова нация осталось только прилагательное. У них нет вечных истин. Поэтому среди них так много изменников... Вот ключ к ларцу, где спрятана их гибель. Нам незачем уничтожать их всех. Ты знаешь, если мы с тобой будем умны, они сами уничтожат друг друга».

Лучше не сказать о том, что сотворила Система с бедным народом. А в словах немецкого офицера о самоистреблении,— прямой вызов организатору массового террора.

Не прошёл Сталин мимо того места, где автор живописует советского работника, носителя антинародной власти.

«Он был большим любителем разных секретов, бумаг, секретных дел, секретных инструкций, постановлений, решений. Это возвышало его в глазах граждан города и придавало ему долгие годы особую респектабельность. Он засекретил ими свою провинциальную глупость и глубокое равнодушие к человеку. Он был лишён воображения, как и всякий человек с сонным, вялым сердцем. Он привык к своему посту. Ему ни разу не приходило в голову, что, по сути говоря, единственное, что он засекречивал, это была засекреченная таким образом его собственная глупость. ...У него не было любви к людям. Он любил только себя и инструкции».

Ну а после войны, после освобождения всей земли чего ожидать народу -победителю?

«...не будет уже, верно, ни учителей, ни техников, ни агрономов. Одни только следователи да

судьи останутся. Да здоровые, как медведи, да напрактикованные вернутся!».

Сталин говорит, что Довженко выступает против военной политики советского правительства, клевещет на кадры, позволяет себе критику самих основ нового строя, критикует колхозы, идёт вразрез ленинской теории. Учитель приводит характерный пример:

«Всех же учили, чтоб тихими были, да смирные... Всё добивались трусости. Не бейся, не возражай. Одно было оружие — писание доносов друг на друга, трясця его матери нехай. Да ни бога тебе, ни чёрта — всё течёт, всё меняется. Вот и потекли. А судьи впереди».

Вооружившись дубинкой, генсек бьёт Довженко за этакое «нахальство». Из одного только уважения автор киноповести должен шапку снимать, когда речь заходит о теории ленинизма, о теории большевистской партии... Обозвав Довженко кулацким подголоском, откровенным националистом, Сталин с наигранным гневом вопрошает: как это автор позволяет себе выпады против «нашего мировоззрения»?..

Заканчивая свое выступление, генсек еще раз ударяет по «националистической идеологии» Довженко: якобы тот отрицает участие в Отечественной войне представителей всех народов СССР. На основании этого Сталин называет киноповесть «ярким проявлением украинского национализма...»

За два месяца до того черного дня января, предчувствуя неминуемый разнос, Довженко записал в дневник:

«Я написал рассказ честно, как оно есть и как я вижу жизнь и страдания моего народа. Я знаю:

меня будут обвинять в национализме, христианизме и всепрощенчестве, будут судить за игнорирование классовой борьбы и ревизию в воспитании молодежи, которая сейчас героически сражается на всех грозных исторических фронтах,— но не это лежит в основе произведения, не в этом дело. А речь о сожалении — плохо, что мы сдали Гитлерюге проклятому свою Украину и освобождаем ее людей плохо. Мы, освободители, все до одного, давно уже забыли, что мы немного виноваты перед освобожденными. Мы считаем их второсортными, нечистыми, виновными перед нами, дезертиро-окруженно-приспособленцами.

Мы славные воины, но у нас не хватает объективной человеческой теплоты к этим людям. В этом рассказе я как-то полусознательно, то есть совершенно органично заступился за народ свой, несущий тяжкие потери в войне. Кому же, как не мне, сказать слово в защиту, когда такая большая угроза нависла над несчастной моей землей. Украину знает лишь тот, кто был на ней, на ее пожарах сегодня, а не по газетам и салютам отсчитывает ее победы, втыкая бумажные флажки в мертвую географическую карту. Грустно мне...»

Удивительно верное предчувствие. И какая отвага: почти наверняка зная, чего можно ожидать от властей, мастер рыцарски-смело выходит на арену со своим копьем, но без щита. Однако то, что произошло в кабинете Сталина, оказалось страшнее самых мрачных предчувствий.

Вспоминая о погроме, учиненном 31 января 1944 года, Довженко напишет ровно год спустя такие пронзительные строки:

«Сегодня годовщина моей смерти. 31 января 1944 года я был привезён в Кремль. Там меня раз-

рубили на куски и окровавленные части моей души разбросали на позор и отдали на поругание на всех сборищах. Все, что было злого, недоброго, мстительного, все топтало и поганило меня. Я держался год и пал. Моё сердце не выдержало тяжести неправды и зла».

...Они стояли на разных полюсах Земли, Диктатор и Художник. Сталин, твердо усвоивший ленинский тезис «Цель оправдывает средства», полагал вполне допустимым и даже естественным для себя уничтожение тысяч и миллионов ради достижения и укрепления власти над людьми. Господство — любой ценой! Довженко, с его проповедью добра и милосердия, был ему органически чужд, творчество его противопоказано самой Системе.

Еще их разнило то, что Довженко был искренен и честен во всем, Сталин же постоянно играл — то роль доброжелательного мецената, то роль ортодокса-ленинца... Искренним он не бывал никогда. И это развело Диктатора и Художника по разные стороны сцены.

Но был еще один участник того памятного представления, о котором мы не вправе умолчать. Это — Лаврентий Берия, злокозненный подручный Вождя.

...Доверить эту запись дневнику Довженко смог лишь после ареста Берия. Дата записи — 10 августа 1953 года.

«Вспоминаю дьявольскую рожу, которую скорчил Берия, когда провожал меня к товарищу Сталину на сурово-страшный суд. ...Вытаращив на меня глаза, как фальшивый, плохой

актёр, он грубо гаркнул на меня на заседании Политбюро:

— Будем вправлять мозги!..

...Кто лишь не вправлял мне мозги, Боже мой?!.»

Почётное место в ряду классиков-лакировщиков занимал в ту пору Михаил Чиаурели, хронический лауреат Сталинской премии. Посещение этого весьма выдающегося режиссёра помогло Александру Довженко определить свое место в соцреалистической культуре эпохи Сталина.

— О, я знаю тебя! — грозно тыча пальцем и также злобно вытаращив глаза, поучал меня друг Берия. — Ты Вождю пожалел десять метров плёночки!.. Ты ни одного эпизода ему не сделал. Не захотел изобразить Вождя! Гордость тебя заела, вот и погибай теперь! Ты-ы! Как надо работать в кино? И что твой талант?! Тьфу! — Вот что твой талант... Ничего не значит, если ты не умеешь работать... Ты работай, как я: думай, что хочешь, а когда делаешь фильм, бросай по нему то, что любят: тут серпочек, там молоточек, тут серпочек, там молоточек, а там звёздочку...

Циничный монолог придворного ремесленника стал достойным завершением того памятного представления.

После учинённого Сталиным разноса можно было ожидать самого худшего, но Диктатор решил проявить милость к падшему Художнику. Ему было разрешено даже преподавать в Институте кинематографии. Не сразу познал он истин-

ную цену Благодетелю. По свидетельству А. Латышева, два года спустя после смерти Сталина Довженко сделал горькое признание: «Я эти сапоги лизал...»

Тяжёлые были те сапоги... Попавших в опалу кинорежиссёров, драматургов, операторов (их тоже) Сталин оставлял на милость НКВД. Многих приглашали на Лубянку. Мне довелось встречать их в конце войны на Печоре, Воркуте. Да, молот рабочего — вспомним композицию на здании Комитета — совсем не простой символ. Сталин, по меткому выражению Л. Корявина, бил по головам не молотком — кувалдой. Что до законопослушных, аккуратно следующих генеральной линии («тут молоточек, там серпочек...»), то их службу Меценат поощрял орденами и званиями. Списки награждённых визировал лично.

Может быть стоило включить в эмблему Комитета по делам кинематографии кнут и пряник?..

Погром (1947—1949)

История помнит имена купцов и промышленников Кокорева, Мамонтова, Демидова, Солдатенкова, Морозова... Их неустанными трудами богатела Россия, развивалась её экономика. Но действительно, не хлебом единым жив человек. Именитые миллионеры стали радетелями отечественной культуры, покровителями искусства, литературы, театра. Не все из них блистали образованием, но ни один не позволял себе диктовать Мастеру свою волю, вмешиваясь в творческий процесс. Меценатство понималось купцами и фабрикантами как дело тонкое, деликатное.

Советская эпоха породила целое сословие меценатов-диктаторов. Секретари партийных горкомов и обкомов решали на месте, у себя, судьбу каждого артиста, художника, поэта, музыканта: дать мастерскую, квартиру, продовольственный паек... или не давать. Разрешить постановку спектакля, издание книги или нет. Похвалить в «своей» газете или разнос учинить. Легко было управлять голодными, бесправными... Та же картина наблюдалась на следующем этаже — в Центральных Комитетах национальных республик. А на вершине этой пирамиды — Сталин, верховный Меценат. На первых порах он еще ограничивался диктатом, потом, добившись абсолютного послушания партии и народа, естественно вошел в роль Мецената-карателя. Нет, в тюрьму он отправлял далеко не всех преданых партийной анафеме мастеров. Но разве лагерные театры не полнились осужденными по статье 58 УК актёрами, режиссёрами, музыкантами, художниками? И все же иным современникам Сталин казался в послевоенные годы весьма доброжелательным Меценатом. Так, запретив целый ряд пьес Корнейчука, Леонова, Горбатова, Погодина, Сталин никого из них не тронул...

Невосполнимые потери понесла художественная интеллигенция в годы тридцатые. А сколько мастеров культуры сложило головы на войне... Сохранить, сохранить остатки, уберечь тонкий слой от гибели! Нет, не этим был озабочен криминальный ум, породивший в конце сороковых новую истребительную кампанию.

Она открылась 26 августа 1946 года постановлением ЦК ВКБ(б) о репертуаре театров. После этого формирование репертуара попадало под

жесткий контроль партийных надзирателей. Театрам вменяли в вину постановку пьес Шкваркина («Последний день») и Гладкова («Новогодняя ночь»), Моэма («Круг») и оперетты Эрве «Мадемуазель Нитуш»... Разносы в Комитете, проработки на собраниях следовали непрерывно. Вместе с покаяниями провинившихся режиссеров. Прошло два года и вот, в декабре 1948-го, на XII пленуме правления советских писателей с докладом о реализации «исторического Постановления ЦК» выступил Анатолий Софронов, автор пьесы «Московский характер», которая представляла собой ничто иное, как политический штамп на потребу. Этот впередсмотрящий лицедей был осторожен, ибо не знал еще ничего о верховной директиве. Поэтому ограничился выпадами против отдельных театральных критиков, нелестно отозвавшихся о его пьесах и о поделках Ромашова «Великая сила» и Анатолия Сурова («Зеленая улица»)... Пьесу Георгия Березко «Мужество» Софронов назвал идейно ущербной, а комедию Николая Погодина «Бархатный сезон» — вовсе вредной. Еще бы: эта комедия попала под запрет — самый эффективный вид цекистской критики...

Украинский драматург Александр Корнейчук, подхватив эстафету шельмования, назвал пьесу Погодина пошлой, грязной, мещанской и призвал на помощь тень Великого Пролетарского Писателя: «Горький завещал нам показывать передового человека в труде. А вы — кого вы показываете? Над кем глумитесь?»

Но Корнейчук оказался не главным забойщиком. Эту роль Сталин поручил Александру Фадееву. Его выступление ярко и достоверно опи-

сал Константин Рудницкий, свидетель и жертва той зубодробительной кампании.

...Седые волосы разметались над высоким лбом управляющего писательским цехом, стальные глаза гневно сверкают. Фадеев начал скромно: оказывается, «наша драматургия — новое слово в художественном развитии человечества», но добавил, что мы «признаем только партийную драматургию и только партийную критику»... Тут бы ему, к месту, процитировать Ленина, с его теорией классовой морали: Учитель учил нас отличать мораль пролетарскую от морали буржуазной.

...В образе яростного фанатика Фадеев явился писателям впервые. Кто -то из самых ответственных там, в ЦК, накрутил его до предела. Иначе бы Фадеев на сбился на крикливую угрозу: «Но у нас есть еще непартийные критики!». Иначе не назвал бы среди первых, предназначенных на заклание,— своих друзей Абрама Гурвича и Иосифа Юзовского. Что ж, предательство всегда высоко ценилось при Кремлевском дворе. Потом, когда оплеванных критиков, выдающихся публицистов лишат работы, оставят без хлеба насущного в ожидании ареста, Фадеев предложит им свою помощь и сочувствие. Трагедия Фадеева, чем она закончится? После смерти Мецената и его разоблачения перед Александром Фадеевым встала извечная проблема преступления и наказания. Осознав до конца постыдную роль литературного лакея в театре Иосифа Сталина, писатель застрелился. А тогда, в конце сороковых, он продолжал служить своей партии, непорочной и непогрешимой.

Фадеев первый крикнул «Ату!», и вот уже

целая свора погромщиков набрасывается на врагов партийного диктата. Вслед за Софроновым и Корнейчуком в дело вступили Ермилов, Вишневский, Первенцев, Залесский и непременный Заславский. Травле подверглись, кроме Гурвича и Юзовского, Бояджиев, Борщаговский, Малюгин — их Фадеев тоже назвал.

Наступил год 1949. Он начался с публикации в «Советском искусстве» статьи под указующим заглавием: «Большевистская партийность — основа творческой работы драматургов и критиков». Через 13 дней, 28 января,— статья в «Правде», как выстрел из орудия главного калибра: «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Через день прозвучал подголосок — газета «Культура и жизнь». Все три статьи — без подписи, значит директивны. И серия директивная.

В том, что к статье в «Правде» руку приложил Сталин, можно догадаться по развязному тону, по набору ругательств и отсутствию чувства стиля: «гнусный поклеп», «озлобленные издевки», «рыбьи глаза», «попытки оболгать... мошенничать... охаять», «космополитическое, гнилое отношение к советскому искусству»... И в конце — призыв разоблачить и разгромить эту антипартийную группу. Узнаете язык, темперамент записного громилы? Разве не так, заменяя научные аргументы бранью, описывал генсек своих оппонентов в позорно знаменитом Кратком курсе истории ВКП (б)? Да, статья в «Правде», с ее специфической лексикой, несомненно инспирирована Сталиным. Это подтверждает в своих воспоминаниях Константин Симонов, который лично общался с Вождем. Сталина можно понять: при-

своив монопольное право на критику, разве мог он терпеть иные мнения, допустить превосходство признанных профессионалов?

В «Правде» впервые прозвучало определение «безродные космополиты». Родился расхожий ярлык, который тотчас прилепили на каждого «разгромленного» критика. Большее число из них «случайно» оказались евреями. А то, что в список новых жертв включили одного армянина и одного русского, не могло никого обмануть: геноцид против творческой интеллигенции сопровождался разжиганием антисемитизма. Этому «принципу» Сталин оставался верен до конца.

Кампания травли «космополитов» и прочих идейных врагов, конечно же, не ограничивалась упомянутыми публикациями. Разносных статей удостоились сценарии и романы Василия Гроссмана и Веры Пановой. Против схоластики в науке выступил в «Правде» такой признанный сталинский догматик, как Федор Васильевич Константинов. Юрий Жданов вдарил по физикам, химикам, биологам и физиологам,— по своим и западным...

Отметим некоторые особенности директивных выступлений центральных газет: невежество, агрессивность и полное небрежение к фактам. Тут они, цекистские авторы, определенно смыкаются с лубянскими следователями. Могу по себе судить об этом.

Иные погромщики в припадке раболепия предлагают отдать «безродных» на расправу соответствующим органам. Дадим слово Аркадию Первенцеву, автору пьесы и сценария кинофильма, воспевших полководческий гений Вождя, «Счастье наше, что нами руководит великий гений

человечества, товарищ Сталин, великий философ и наш друг. Он вовремя указывает, каким образом мы должны расправляться с врагами и двигаться дальше! Мы свое дело сделали. Теперь очередь за милицией». Он, конечно же, оговорился, имея в виду Лубянку. «Правда» была откровеннее, причислив крамольных критиков к «литературному подполью». Таким путем Сталин зачислил всю группу в потенциальные клиенты органов кары и сыска. Что удержало Его от команды «Взять!»? Неужто новая кампания террора окажется бескровной?..

Еще и еще раз отличился Софронов, кропатель конъюнктурных пьесок, лакей из предбанника ЦК. В его речах, поступках, в жирном прищуре глаз сквозил зрелый цинизм партийного бонзы.

В том же году, в апреле, и Первенцев и Софронов, а вместе с ними другие «идейно преданные»,— Корнейчук, Суров, Вирта получили Сталинские премии, их пьесы вошли в обязательное меню всех театров, на них, убогих, приказано равняться драматургам... Будто на кремлевском холме установили гигантский нивелир, которым отныне Отец Народов будет выверять выстроенные в ряд театральные сцены. А рейку надлежит переставлять команде подсобных рабочих, чьи имена нами уже названы.

Сталин позволял себе поучать драматургов, режиссеров, он грубо вмешивался в творческий процесс больших мастеров,— неужто из чувства превосходства или же в сознании всесилия личной власти? Было и это. Но главное — он настолько вошел в роль небожителя, что стал мыслить заоблачными категориями, взирая с неизмеримой высоты на недоразвитое человечество,

которое ему предначертано осчастливить. На родине он вел себя как Гулливер, попавший в страну лилипутов. Иначе как объяснить этот психологический феномен? Дошло до того, что сей невежда объявил творчество Шостаковича и Прокофьева чуждыми народу. Генсек пытался «перевоспитать» на свой большевистский лад великих композиторов, составляющих гордость не только русской, но и мировой культуры. Натолкнувшись на непонимание, Сталин предал их анафеме.

А художники оставались художниками, творить на потребу полуграмотным властолюбцам они не хотели, не могли. Постановщику оперы Прокофьева «Война и мир» Борису Покровскому довелось наблюдать за поведением композитора во время директивных «проработок». «...Он смотрел в окно, разглядывал потолок или свои теплые красивые бурки... Жрец искусства, он в эти часы сочинял музыку. Он был неприступен и потому прекрасен».

Преследуя гениев, Меценат поощрял угодливых ремесленников. В храм искусств пробрались менялы. Нет, им не пришлось пробираться, двери лакействующим широко открыты.

Удивительно многогранной оказалась деятельность Сталина на культурном фронте: поощрение преданных партийным указаниям, гонения на непокорных и излишне талантливых, отслеживание «чуждых» произведений, «укрепление кадров» — в просторечии изгнание потерявших бдительность руководителей... Сталин всерьез считал

себя корифеем наук, а также знатоком всех видов искусства и поучал, поучал драматургов и режиссеров, музыкантов и поэтов, художников, скульпторов, архитекторов... Учил их мастерству, а заодно — коммунистическую идеологию внедрял.

О том, как он это делал, рассказывает Константин Симонов.

По всему видно, Сталин знакомился с пьесами советских драматургов, опубликованных в журналах. Но никто не знал, какие пьесы попадали ему на глаза. Когда на заседаниях Политбюро обсуждались кандидатуры Сталинских лауреатов, Вождь приходил со стопой книг и журналов, которую он клал на стол рядом с собой. На одном из таких заседаний в марте 1948, присутствовали редакторы литературных журналов Фёдор Панферов, Всеволод Вишневский, Валерий Друзин и автор воспоминаний. После строго отмеренной паузы Сталин спросил:

— Кто читал пьесу «Вороний камень»? Она была напечатана в сорок четвертом году в журнале «Звезда». Я думаю, что это хорошая пьеса. В свое время на неё не обратили внимания. А может быть, дадим премию товарищам Груздеву и Четверикову? Какие будут мнения?

Друзин, единственный, кто читал эту пьесу, лихорадочно тряхнув Симонова за локоть, прошептал:

— Что делать? Она была напечатана у нас, но Четвериков арестован, сидит. Как, сказать или промолчать?

— Конечно, сказать,— прошептал Симонов. Он подумал: Сталин может освободить автора пьесы. Если же Друзин промолчит, ему это не простится.

— Остается решить, какую премию дать за пьесу, какой степени? Я думаю...

Тут Друзин выпалил с отчаянием:

— Он сидит, товарищ Сталин.

— Кто сидит? — не понял генсек.

— Один из авторов пьесы. Четвериков сидит, товарищ Сталин.

Вождь промолчал, повертел в руках журнал, закрыл и положил его, продолжая молчать. Потом заглянул в список премий и сказал:

— Переходим к литературной критике.

Хозяин не только самовластно решал, кому дать, кому не дать премию собственного имени. В сорок седьмом году, когда Жданов объявил войну так называемому низкопоклонству, Симонов опубликовал повесть «Дым отечества». Она как нельзя более отвечала новой политической моде, но автор к тому же остался доволен ее художественным уровнем. Случилось непредвиденное: «Советская культура» поместила статью с разносной критикой повести. На той же странице другой автор разделался с романом А. Фадеева «Молодая гвардия». Писаки выполняли чей-то заказ. Чей?

Все разъяснилось в беседе с Андреем Ждановым, когда этот специалист по идеологии повторил облыжные упреки «Советской культуры». Жданов явно говорил с чужого голоса, ибо в свое время похвально отозвался о повести Симонова. Через некоторое время драматурга вызвал секретарь ЦК А. А. Кузнецов. Он поинтересовался, как продвигается работа над пьесой. Только тут Симонов вспомнил, что на встрече Сталина с писателями в мае 1947, он пообещал написать пьесу на актуальную тему об ученых-биологах. Однако, увлеченный работой над новой повестью, забыл о

своем намерении. Он сказал Кузнецову, что примется немедленно за работу, и тот обещал ему всяческое содействие.

Пьеса «Чужая тень», как признался позднее автор, получилась конъюнктурной. Советский микробиолог создает вакцину против опаснейшей болезни, но его привлекает возможность печататься на Западе, общаться с иностранными коллегами. При большой концентрации вакцина может быть использована как бактериологическое оружие, и таким образом ученый превращается во врага народа.

Весной 1948 года Симонов сообщил Поскребышеву об окончании пьесы и послал текст Жданову. Шло время, год подходил к концу и — никакого отклика. Симонов старался забыть об этой заказной пьесе, готовил к изданию книгу новых стихов, как вдруг, в январе сорок девятого, его вызвали к аппарату знаменитой кремлевской вертушки.

Сталин был краток и категоричен:

«Я прочел вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников полагает, что лаборатория — это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неправильная точка зрения. Лаборатория — собственность народа и правительства. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. А ведь вопрос идет о секрете большой государственной важности. Я думаю, что после того, как

Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно у вас не вмешивается. Это неправильно. По-моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству, и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова в лаборатории, и обязательно передать Трубникову, что правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности и на способности его довести до конца начатое дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. Когда исправите, то пьесу надо будет пустить». Каков образчик партийного канцелярита, стиля примитивно-директивного. Но не о том речь.

Как оказалось, Сталин более полутора лет помнил о задании, данном им Симонову в мае сорок седьмого, но Жданов по каким-то причинам не представил ему готовой пьесы. Вот почему кремлевский Меценат в разговоре с Симоновым заметил раздраженно:

«Только вчера получил и прочел, полгода не сообщали, что она там у них лежит, и вообще...»

Предлагая драматургу новую концовку пьесы, Сталин взял на себя роль гуманного правителя, однако Симонов и сам был непрочь изменить трагическую развязку. Исправленная на вкус Хозяина пьеса была опубликована в журнале «Знамя» и выдвинута затем на соискание Сталинской премии. Однако на этом приключения злополуч-

ной пьесы не кончились. На заседании секретариата Союза писателей она попала под массированный огонь конъюнктурщиков: дескать, автор занял слишком либеральную позицию, и пьеса с таким капитулянтским финалом не может быть выдвинута на самую почетную премию. Никто, кроме Симонова, не знал, что финал переделан согласно предначертаниям Мецената, но автор молчал. Лишь после заседания, на котором «Чужую тень» изъяли из списка, Симонов поведал Алекандру Фадееву — а тот в одном лице совмещал руководителя писателей и председателя комитета по Сталинским премиям — о разговоре с Вождем. Фадеев обиделся: почему не предупредил вовремя? Стороны договорились впредь информировать друг друга о любых творческих пожеланиях Иосифа Виссарионовича.

Эта трагикомедия закончилась тем, что равноунизительная для актеров и зрителей пьеса была поставлена на сценах ведущих театров Москвы и Ленинграда. И получила, после похвального звона, искомую премию.

Сотворение гимна

Весной 1943 года, когда солнце повернуло на победу, маршал Сталин решил, что пора сменить государственный гимн. Новый гимн должен украсить, политико-эстетически облагообразить фасад его социализма и, подобно звуковой рекламе, разнести весть о народе-победителе по всему свету. Передаваемый ежедневно по советскому радио,— с ним граждане СССР будут просыпаться поутру и отходить ко сну после трудового дня.



Путь от кинто до Диктатора он проделал за тридцать лет.



Великий продолжатель.



В роли надзирателя.



Государственный муж.



Отец народов.





Дядюшка Джо.



Н.Скрыпник, А.Рыков, С.Буденный, С.Косиор, Л.Каганович, М.Калинин.



Ф.Махарадзе, М.Багиров, Л.Берия

Соратники... Подручные...



А.Вышинский, А.Гитлер. Кто кому подражал?



Партийные бонзы.



На процессе промпартии. 1930 год



На процессе меньшевиков. 1931 год.

Судебные спектакли.



В.Молотов и А.Вышинский в роли дипломатов.



Кремлевская самодеятельность : К.Ворошилов, К.Данкевич, Н.Хрущев.



Лагерная самодеятельность.





Партия и иарод едииы !



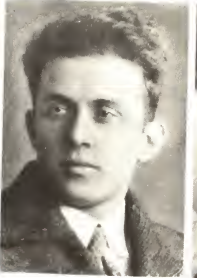
На партконференции в Большом театре.





В.Давыдова.

М.Семенова.



Е.Микеладзе.



К.Микеладзе (Орахелашвили).



А.Петрушанская.



М.Фишман с коллегой. 1929 год.



Он всю жизнь комедию ломал...

Они так свыклись с прежним гимном, но нельзя же брать Европу под звуки «Интернационала». Это Верховный очень понимал. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...» Что союзники скажут?..

Авторы нового текста знали, что Хозяину полюбился «Гимн партии большевиков» бывшего синодального регента, будущего генерала Александра Александрова. В этом опусе слышны отзвуки церковных песнопений, столь привычных уху бывшего семинариста. Михалкову и Эль-Регистану оставалось совсем немного — перелицевать Лебедева-Кумача. Что до музыки, то Заказчик устроил для композиторов нечто среднее между конкурсом и всесоюзным соревнованием. Приверженный грандиозным масштабам, Сталин мобилизовал 160 музыкантов — целую роту, обязав участвовать в этом ристалище выдающихся мастеров: Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна и официально приравненного к ним Александрова.

Жюри отобрало 14 произведений и устроило прослушивание в Большом театре при участии оркестра под управлением Мелик-Пашаева. В пустом зале находились лишь охранники, в бывшей императорской ложе — члены правительства. Назначенная Сталиным конкурсная комиссия в составе маршала Ворошилова, московского партийного вождя Щербакова и председателя Комитета по делам искусств Храпченко, засела в боковой ложе. Почему там? Это знал только Меценат.

Но вот сыгран последний гимн, и Сталин пригласил в ложу маститых авторов. Прокофьев отсутствовал. Трое остановились перед дверью: кому входить первым? Наконец, вытолкнули

Шостаковича — он не робел перед властителями.

Сталин стоял посреди кабинета, примыкавшего к ложе, по бокам — малые вожди. Шостакович со свойственной ему фотографической памятью выпалил:

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович, здравствуйте, Николай Александрович...

И затем всех, сколько там было — 15 или 17 членов Политбюро и кандидатов, назвал по имени-отечеству.

Сталин пригласил сесть и, дымя своей неизменной трубкой, спросил:

— Скажите, товарищ Хачатурян, что по Вашему нужно сделать, чтобы улучшить качество музыки? Вы ведь получили замечания жюри?

— Мне кажется,— ответил Хачатурян,— что хорошо бы ввести в хор женские голоса...

— Нэ надо женщин,— отрезал Хозяин.

— Вы знаете, это будет такой серебристый звук,— пытался продолжать Хачатурян,— как серебряные трубы...

— Нэ надо женщин.

По выражению желтых глаз Шостакович понял, что музыка Арама не пройдет.

— А Вы, товарищ Шостакович,— обратился к нему Сталин,— получили замечания жюри? Вы с ними согласны?

— Да, да!

— Сколько же Вам надо времени, чтобы переделать музыку?

— Три дня,— сказал Шостакович,— и прочитал в глазах Вождя, что и его музыка не пройдет.

— Вот, товарищи композиторы,— сказала Сталин,— прослушали мы последние гимны. Есть у нас свое мнение, но хотелось бы прежде, чем при-

нять окончательное решение, посоветоваться с вами. Кажется нам, что величию страны Советов больше всего соответствует гимн профессора...— кивок в сторону Александрова.

К описываемому времени Александр Васильевич Александров, главный музыкальный фаворит Вождя, пользовался невиданным почетом. Без руководимого им коллектива, придворного краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии, не обходится ни один ответственный концерт. Но будем справедливы: не он один отдал свой талант служению кремлевскому сидельцу, не он один...

...Выслушав похвалу, Александров заулыбался. Но Сталин еще не закончил:

— Только я вот что скажу Вам, профессор, там у Вас что-то с инструментацией неладно.

Композитор смешался:

— ...Да, да, Иосиф Виссарионович, Вы совершенно правы, мне вот некогда было, и я поручил Кнушевицкому, а он схалтурил, безобразно отнесся, надо переделать...

Взрывается Шостакович:

— Александр Васильевич! Замолчите немедленно! Сейчас же замолчите! Как вам не стыдно? Кто же за вашу музыку будет отвечать, если не вы сами! Как вы можете так говорить о человеке, которого здесь нет и который является вашим подчиненным по армии. Сейчас же замолчите!

Все замерли. Сталин, попыхивая трубочкой, поглядел на одного, на другого. Александров побледнел. После тяжелой паузы Вождь заметил:

— А что, профессор, нехорошо получилось...

Можно было подумать, что Диктатор оставит без внимания дерзкое поведение Шостаковича. Но

нет, он ничего не забыл, и в кампании травли деятелей культуры, что начнется через три года, имя композитора поставят в один ряд с именами Мурадели, Зощенко, Ахматовой. И подвергнут глумлению. С решающей силой вступило в эту кампанию Ленинградское управление. НКВД неотрывно следило за семьей расстрелянного в 1937 году Вячеслава Ромуальдовича Домбровского, с которым Дмитрия Шостаковича связывала давняя дружба.

Тогда же репрессировали вдову, Г. Д. Левитину. Яркая личность Генриетты Давидовны вызывала восхищение Евгения Шварца, Ираклия Андронникова, Николая Олейникова... Уцелев в лагерях, она в сорок пятом пыталась вернуться в родной город, но дальше Луги ее не пустили. В сорок восьмом Генриетту Давыдовну неожиданно вызвали в Большой дом и предложили сотрудничать на предмет слежки за Шостаковичем, пообещав взамен ленинградскую прописку, снятие судимости и кое-что еще. Следователь Баранов был весьма удивлен отказом женщины: на такое отваживались совсем немногие. Травля Шостаковича со временем прекратилась. Что касается Святослава Кнушевицкого, за которого смело вступился композитор, то и его оставили в покое.

Майор Кнушевицкий, заместитель Александрова по музыкальной части, действительно справился со своей задачей не лучшим образом. Новую оркестровку поручили Рогаль-Левицкому.

Профессор Московской консерватории Дмитрий Романович Рогаль-Левицкий был автором трехтомного труда «Современный оркестр», учите-

лем многих выдающихся музыкантов. Его почитали далеко за пределами страны. Потомок ссыльных поляков, он обладал характером угрюмым, скрытным и казался человеком, занятым исключительно своим любимым делом. Однако Рогаль-Левицкий предстает острым наблюдателем жизни. Оказавшись свидетелем и участником сложных событий, он оставил нелицеприятные и точные в деталях воспоминания. Вот когда пришелся к месту его педантизм. Мемуары профессора хранились втайне, и лишь после его смерти в 1962 году вдова передала рукопись писателю Владимиру Лакшину. Первое знакомство читателей с этими мемуарами состоялось почти тридцать лет спустя.

Рогаль-Левицкий присутствовал в зале Большого театра на верховном прослушивании четырнадцати отобранных гимнов и на заключительном, когда был сделан окончательный выбор в пользу александровского гимна в новой оркестровке. За полчаса до начала из музыки изъяли звон колоколов. На всякий случай. И вновь — десятки охранников у всех дверей, на сцене, за кулисами, во всех темных углах. И тревожное ожидание. Ровно без четверти двенадцать в своей бронированной ложе, рядом со сценой, в сопровождении обычной свиты появился Сталин.

Оркестр изготовился и после команды: — «новую редакцию» заиграл в полную силу. Отзвучал последний аккорд, наступила пауза. Наконец дали занавес. На сцену вышел начальник музыкального управления и объявил: «Хор!»

Красноармейский ансамбль Александрова, в который раз грянул гимн, но уже с последними исправлениями партитуры:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует, созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

А дальше — прямой плагиат из дежурного приветствия «белорусского народа» Вождю на XVIII съезде партии:

Мы доспехи наши в боях здобывали,
Да радости партия нас привела.
Вучили вяликия Ленин и Сталин,
А дружба народов нам силу дала.
Славься, Отечество наше свободное...

В конкурсе на лучший текст участвовало сорок поэтов и рядовых стихоплетов — целый взвод. Победил баснописец Сергей Михалков. И заслужил у своих коллег прозвище — Михалков-Гимнюк. Какие завистливые люди...

...Полный смелых надежд прибыл юный Михалков из провинции в Москву. Родственники спросили:

— Что ты собираешься делать в столице, Сережа?

— Я буду красным Байроном.

Байроном детский поэт Михалков так и не стал, зато преуспел в жанре басен... Вместе с Эль-Регистаном с готовностью уловил суть задания и заменил текст партийного гимна новым, более актуальным.

Рассказывают, что М. Светлов, встретив уже во времена Брежнева Михалкова, заметил:

— А ведь неважные стихи вы тогда написали.

— Можешь на память не учить, зато эти слова ты будешь всякий раз слушать стоя.

...«Славься, отечество наше свободное...» — в последний раз пропел хор, занавес закрылся, ложа опустела, музыкантов отпустили. Тишину нарушил резкий голос:

— Скорее в ложу! Дмитрий Романович, вас просят!

Дадим слово Рогаль-Левицкому. «Я сорвался с места и — бегом за кулисы. У каждой двери раздавался окрик стражи — Рогаль-Левицкий! И меня, словно мячик, передавали от одного поста к другому. На сцене уже ждали.

— Об инструментовке вы уж не поднимайте разговора, — шепнул мне Храпченко.

— Ну ясно! — так же ответил я.

Через сцену мы шли гуськом. Шествие открывал кто-то из личной охраны Сталина, затем шел Александров, Пазовский, я, Храпченко и в хвосте два адъютанта — Сталина и Ворошилова. Мы подошли к правительственной ложе. Перед ней — человек шесть охраны.

— Минуту обождите, — отрезал дежурный и нажал на кнопку звонка. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз. Двери раскрылись и нас впустили.

Аванложа и салон были заполнены военными. Мы прошли молча сквозь их ряды в открытую дверь гостиной. Входящих ласково приветствовал сам Сталин. Нас представлял ему Ворошилов:

— Рогаль-Левицкий, автор новой оркестровки!

Сталин улыбнулся сквозь усы и сильным рукопожатием выразил свое одобрение. Поздоровавшись с Ворошиловым — на его лице играла радостная улыбка, — я перешел на правую сторону. Меня приветствовали Молотов, Щербаков и Берия. Спустя минуту на нашу сторону перешел и

Ворошилов. Последним от Сталина отошел Молотов, открыв всем взорам фигуру Вождя в маршальском мундире с Золотой звездой на груди. Мизансцена приобрела законченный вид.

— Очень хорошо,— сказал Сталин. Лицо его выглядело утомленным, он нервно ходил по комнате и курил свою трубку, держа ее в левой руке.

— Очень хорошо,— повторил он.— Вы взяли лучшее, что было прежде, соединили со всем хорошим, что придумали сами, и получилось то, что нужно. Очень хорошо,— одобрительно закончил он.

Мы с Пазовским поклонились.

— Ну, я очень рад! Я все устроил, все протащил! — быстро проговорил Ворошилов, слегка подталкивая меня в бок. Я обернулся. Климент Ефремович улыбается и одобрительно кивает головой.

Пазовский оправдывался, пытаясь смягчить гнев Мецената.

Сталин продолжал мерить шагами расстояние между двумя стенами гостиной, тесно заставленной мягкими диванами, креслами и круглыми столиками. Лакеи накрывали на стол. Все продолжали стоять. Водворилось молчание — немного чопорное, неестественное. Ни на минуту не задерживая хождения, Хозяин все время тянул трубку, он не раз подходил к столу и чиркал спичкой, терпеливо ждал, когда вновь запыхтит трубка.

— Пожалуй, сядем,— обратился он к присутствующим и подошел к столу с противоположной стороны.

— Сядем! — в один голос ответили Молотов и Ворошилов.

Все нерешительно подошли к столу. Сталин не

садился, ожидая размещения гостей. Появился Маленков и, ни с кем не здороваясь, занял место по ту сторону стола, между Молотовым и Берия. Все сели. На овальных срезах стола, друг против друга, оказались Ворошилов и Щербаков. Между ними — Сталин, Молотов, Маленков и Берия. Напротив — Александров, Пазовский, я и Храпченко.

— Ну, Молотов,— обратился к нему Сталин,— ты будешь председателем нашего собрания.

Вячеслав Михайлович встал, раскланялся.

— Что мы будем пить? — улыбаясь спросил он.

— Вино! — в один голос ответили все мы.

— Нет! Лучше водку! — возразил Ворошилов. Молотов колебался.

— Ни вино, ни водку! — спокойно возразил Сталин.— У нас есть прекрасная перцовка. Она не очень крепкая. Я предлагаю начать с нее.

Все согласились. Молотов налил Сталину, и графин пошел вкруговую.

— За успех нового гимна! — провозгласил он первый тост. Все встали и чокнулись. Сталин поднял свою рюмку и сделал приветственное движение.

Вопреки словам Иосифа Виссарионовича, перцовка оказалась очень злой. Не допив своей рюмки, я осторожно отставил ее в сторону.

— Э нет,— вступил Ворошилов,— так не годится! За гимн надо пить до дна!

— Нет сил, Климентий Ефремович! Она такая крепкая,— ответил я.

— А вы закройте глаза, она и проскользнет,— посмеиваясь вставил Сталин. Перцовку пришлось проглотить.

— Вот и хорошо! Вторая пойдет легче! — подбодрил Молотов, сидевший как раз насупротив меня, за вазой с фруктами.

— А все-таки,— начал Ворошилов,— я немного виноват. Мне кажется, что сегодня слишком затянули гимн. Вчера он шел удачнее.

— Пей штрафную! — смеясь заметил Молотов.— Комитет за Ворошилова? Пей тоже штрафную.

Храпченко и Ворошилов взмолились.

— Нет, раз виноваты — пейте! — улыбнулся Сталин и чиркнул спичкой.

— Климентий Ефремович,— обратился я к Ворошилову,— я могу вас выручить из беды.

— Каким же образом?

— Вчера гимн шёл три минуты двадцать секунд, а сегодня на одиннадцать секунд меньше.

— Не может быть! — обрадовался Ворошилов.— Тогда я пить не буду?

— Пей, пей! — вмешался Берия.— Все равно виноват, раз не сумел разобраться в секундах.

Все засмеялись. Ворошилов и Храпченко выпили штрафные рюмки. Вновь налили и Молотов поднял тост за нового дирижера гимна. Пазовский раскланялся.

— Ну нальем еще и выпьем за здоровье нового оркестратора гимна! — сказал Молотов.

Все наполнили рюмки.

— За ваше здоровье! — объявил Молотов и встал. Все чокнулись, поздравляя меня. Сталин сделал приветственное движение, быстро выпил и вышел из-за стола».

То было подлинное театральное представление — подготовка текста, сочинение музыки, соревнование композиторов, прослушивание гим-

на (зачем, если всё было давно решено одним человеком), работа комиссии, чествование победителей и сам банкет... Комично выглядели на этой сцене Молотов и Ворошилов в ролях Бобчинского и Добчинского. Явно переусердствовали в лакействе статисты Храпченко с Пазовским, но на фоне всеобщего раболепия это выглядело вполне пристойно. А Хозяин, его позы и реплики, его умение закатывать длинные паузы,— он был великолепен, насколько мог быть великолепным провинциальный фигляр под маской Небожителя.

Участие в этом представлении Клима Ворошилова было оговорено давно: главный режиссер поручил ему роль попечителя культурного ведомства. Маршал Ворошилов мало что смыслил в военном деле, зато в музыке... Послушаем, что по этому поводу говорит концертмейстер Георгий Прусаков. В 1938 году он был участником концерта на правительственном приеме в Кремле.

«Не проаккомпанируешь ли ты одному человеку? — спросил его дирижер Василий Агапкин.

И к нему направляется — кто бы мог подумать — маршал Ворошилов с клавиром в руках и ставит на пюпитр перед пианистом: Чайковский. Ария Германа из оперы «Пиковая дама», и сходу как начал петь чистейшим драматическим тенором «Я имени ее не знаю...», следом другую арию «Прости, небесное созданье...» и, наконец, не дав опомниться,— «Что наша жизнь...» в си мажоре и как взял верхнее си — десять потов с меня сошло. И уже дальше на «бис» романсы Чайковского, Рахманинова... Вот вам и маршал, думаю. Да ведь он из луганских слесарей, а каков певун!»

Не знал, видимо, Прусаков, что Ворошилов в молодости пел в церкви. Молотов тоже был цер-

ковным певчим. Да и Вождь, по словам современников, обладал приятным голосом, пел в Тифлисской православной церкви.

Став распорядителями огромной державы, они собирались за обеденным столом на Ближней даче генсека и на сытый желудок, после обильного возлияния, пели иногда церковные песни. Бывало и белогвардейские пели...

На Кремлевской сцене это трио сразу же заняло ведущее положение, спевка в Политбюро началась ведь еще при жизни Ленина. Но вокальную школу прошел один лишь Ворошилов, он брал уроки у именитой Антонины Неждановой. Что бы там не говорили о вокальных способностях наркома обороны, но именно его Генсек определил, по совместительству, на вторую роль — куратора государственного гимна.

Однако этим обязанности Ворошилова не ограничивались, ему, как члену Политбюро препоручили изобразительное искусство. И он энергично ведал этой отраслью, покровительствуя одним (соцреалистам), шельмуя других (формалистов). Ворошилов поддерживал дружеские отношения с такими живописцами-лакировщиками, как, например Дмитрий Налбандян.

Производство картин, скульптур, графики было поставлено под надзор одного из главных управлений (Главизо) Комитета. Кому понадобилось подчинить это дело военному? Впрочем, не будем задаваться риторическими вопросами: все подчинялось капризу Диктатора. Этот маршал был ему удобен во всех видах, прежде всего в роли главы военного ведомства. Именно его кремлевский калькулятор назначил наркомом после загадочной смерти Михаила Фрунзе.

О культурном уровне самого попечителя можно судить по эпизоду, имевшему место много позднее, в конце пятидесятых.

В кабинете Хрущева утверждали проект строительства Дворца съездов в Кремле. В стиле того времени деревья вокруг здания были изображены несколько схематично.

— Разве такие деревья бывают? — возмутился Ворошилов.— На них же сучочки, сучочки!

— Ты ничего не понимаешь,— пояснил новый Хозяин,— это модерново!

...Было такое село в Белоруссии — Остолопово и сельский Совет того же наименования. Этому селу и сельсовету присвоили в 1935 году имя Ворошилова. Уже тогда Вождь знал истинную цену своему верному оруженосцу. И в размышлении о том, кому курировать культуру победившего социализма, остановил свой выбор на нем, Климе Ворошилове.

...Прости, небесное созданье.

Всеволод Мейерхольд

Затевая в конце 1938 года, вместе с Берия, игру в оттепель, генсек опасался, что народ поймет его неправильно и некоторые граждане, из особо неустойчивых, выйдут из повиновения. А ведь товарищ Сталин был уже готов запретить репрессии, и если бы не происки врагов...

Доказательства? Взять хотя бы шпионское гнездо в Наркомате иностранных дел. Однако поставить с помощью Лаврентия Павловича и его подручного Богдана Кобулова новый судебный

спектакль, с участием дипломатов, не удалось. Тогда Вождь обратил свой взор, в который раз, на творческую интеллигенцию. Его гордость, Союз советских писателей, под угрозой. В эту послушную когорту графоманов проникли диверсанты, они собираются взорвать Союз изнутри, Михаил Кольцов, Исаак Бабель, Борис Пастернак, Юрий Олеша, Илья Эренбург, Валентин Стенич... К ним примкнули видные деятели музыки, кино, театра: Дмитрий Шостакович, Сергей Эйзенштейн, Алексей Дикий, Всеволод Мейерхольд... Впрочем, не важно, кто к кому примкнул, важно установить их связь с Троцким. Вот кто разлагает мои творческие союзы. Пока мы им безответственно аплодировали, они создали разветвленную троцкистскую организацию. Активным собирателем антисоветских сил оказался Мейерхольд.

Сталин боялся само́го революционного духа, заложенного в этом гении режиссуры. Ведь он вершил революцию на сцене задолго до семнадцатого года. Слава его как лидера нового театра перешагнула границы родины. Весьма нескромно. Да, и еще одно досадное свойство этого деятеля — умение проникнуть в самую сердцевину человека (исполнителя) и образа (царя или вождя). Мейерхольд знал, что король гол.

В доме режиссера постоянно собирались деятели культуры, бывали иностранные гости. Слежка за Мейерхольдом началась еще в годы двадцатые, при Ягоде, продолжалась при Ежове, от него эстафету принял Берия. Первый тяжкий удар по Мейерхольду пришелся на тридцать седьмой год, после разгромной статьи Керженцева в «Правде» 17 декабря. Тотчас газеты устроили очередной политический шабаш: «Такой театр не

нужен советскому зрителю», «Разоблаченный пустоцвет», «Путь ошибок», «Мертвая система», «Мейерхольдовщине не место в советском искусстве»...

Вскоре зачинателя погрома Керженцева сместят с поста председателя Комитета по делам искусств, его очернит Жданов — грубо, цинично, в сталинском духе. Старший надзиратель по вопросам идеологии обвинит старого большевика в либерализме, в потворстве мейерхольдовскому «трюкачеству». На сей счет Жданов получил соответствующее указание. «Идеолога» поддержит ассистент Берия Джафар Багиров, выступивший в роли народного депутата. Запланированную точку поставит председатель Совнаркома Молотов. Эту сцену ансамбль присяжных провокаторов разыграет на очередной сессии Верховного Совета СССР.

В январе 1938 Мейерхольда лишили театра, и тогда же у Сталина созрело решение арестовать режиссера. Об этом свидетельствует К. Л. Зелинский — со слов секретаря правления ССП Александра Фадеева. Тот имел неосторожность положительно отозваться о деятельности Мейерхольда, и генсек вызвал его к себе. Сталин дал ему ознакомиться с показаниями арестованных М. Кольцова и командарма 2 ранга И. Белова. Оказывается, Мейерхольд был агентом иностранной разведки... И Сталин сообщил Фадееву — разумеется, конфиденциально — о намерении арестовать режиссера-шпиона.

Показания о троцкистских связях Мейерхольда требовали и от его ученика Л. Варпаховского.

Арест Мейерхольда последовал 21 июня 1939 года, вскоре после выступлений Всеволода Эмилье-

вича на первой Всесоюзной конференции режиссеров. Вышинский, невольный свидетель крамольных оваций в честь Мейерхольда, донес об этом в искаженном виде генсеку. И замкнул смертное кольцо.

Сохранилось постановление об аресте, с визой наркома комиссара ГБ I ранга Л. Берия — специальным синим расстрельным карандашом: «Утверждаю». Перед этой директивной визой стоит другая, младшего по чину, начальника следственной части НКВД комиссара 3 ранга Кобулова: «Согласен». В его кабинете проходили первые допросы.

«Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам... Меня били по лицу размахами с высоты». Это — из письма Мейерхольда Молотову. В памяти несчастного остался еще один «допрос», спустя три недели. «Когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били жгутом, и боль была такая, что казалось, на эти места лили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли)».

Знакомые, слишком знакомые детали: вспомнил допросы Евгения Гнедина на Лубянке, в этом же кабинете Кобулова, на этом же ковре. И еще одно средство подавления воли — применение химических препаратов. Не случайно Мейерхольд жаловался прокурору: «На допросе 9 ноября 1939 года я опять потерял власть над собой, мое сознание опять было затуманено. Меня охватила истерическая дрожь, и я проливал потоки слез».

Не станем поэтому удивляться чудовищным

показаниям истязаемого. Он оговорил самого себя и дал искомые показания на своих соратников, друзей, знакомых. В деле «троцкиста» и «шпиона» Мейерхольда фигурировали имена Эренбурга и Бабеля, Михоэлса и Кольцова, Пастернака и Олеши, Гарина и Дикого, Иванова, Кирсанова, Федина, Сейфуллиной...

Берия по заведенному на Лубянке обычаю готовил материалы впрок, предугадывая очередные капризы Хозяина. Дабы придать новому показательному процессу политический размах, следователи вписали в это дело Троцкого, Каменева, Рыкова, Бухарина, Радека и еще раз Троцкого... Не обошлось без заграничных персонажей, ни в чем не повинных японца Иошиды и американца Грея.

Создавая эту нелепую конструкцию, Сталин вместе с Берия и лубянскими сказителями еще раз явили миру образец политической фантазии. Но им поверили. А те, что не поддались обману, молчали, придавленные страхом.

Опасаясь преждевременной смерти главного обвиняемого, Берия поместил его в тюремную больницу, сменил следователя. К тому времени, в конце октября, подоспело обвинительное заключение, пора знакомиться с делом — в соответствии со статьей 206 УПК. Все по закону. Так же, как появление военного прокурора Белкина. Но и этот статист назначен с недоброй целью: вместе со следователем Шибковым они вымогают у несчастного подтверждение прежних показаний.

Мейерхольда перевели уже в Бутырскую тюрьму, он начал приходить в себя и обратился с протестом к Прокурору Союза: для ознакомления с делом ему дали ничтожно мало времени и, при-

менив психическую атаку, исказили ответы, вновь подвели под самооговор и клевету. Мейерхольд категорически отказался от ложных показаний, он сообщил о невыносимых пытках.

...Бумаги принимают, приняли даже письма Молотову и самому товарищу Берия. Узнику засветила надежда.

24 января 1940 года исполняющий обязанности Главного военного прокурора Афанасьев утвердил обвинительное заключение, которое осталось без всяких изменений — таким же, как три месяца назад. Занятное игрище затеяли функционеры смерти на потеху Папе Малому и Папе Большому.

Отправляя материалы в Военную коллегию, прокурор предписал провести слушание дела в соответствии с законом от 1 декабря 1934 года. Как известно, этот закон, принятый тотчас после убийства Кирова, предусматривал для особо опасных политических преступников смертную казнь — без права обжалования приговора. Прокурорская отметка была сделана обусловленным синим карандашом.

Судебный фарс, разыгранный 1 февраля, в исполнении несменяемого Ульриха был, как обычно, скоротечен — Мейерхольд не признал себя виновным, он взывал к закону и к разуму власти.

Отказался от ложных показаний и другой обвиняемый, Иошида... Японский коммунист покинул родину, где его дважды бросали в тюрьму, он связался в Москве со шпионом Мейерхольдом, «кадровым троцкистом» (что за птичьи мозги породили сей ярлык?). Вместе планировали акты диверсии, террора. Коммунист оговорил коммуниста: якобы они решили убить генерального ком-

муниста, товарища Сталина — в ложе, во время спектакля.

Театр абсурда? Нет, тогда это было повседневной реальностью.

Мейерхольда казнили на другой день после судебного заседания.

...Царская охранка полагала пребывание мятежного режиссера в Петербурге опасным для трона. Однако Мейрхольд был принят на императорскую сцену и вместе с художником Головиным создал шедевры театрального искусства. Сталинская охранка действовала иначе. Всемирно известный режиссер Гордон Крэг писал по поводу гонений на Всеволода Мейерхольда, чей гений высоко ценил: «Крысы не могут навредить Мейерхольду. Даже если они станут причиной его смерти».

Пришел день, история назвала всех крыс поименно. Тех, кто сожрали Зинаиду Райх — тоже.

...Её зарезали дома в тот самый день, когда супруга истязали в лубянском застенке. Бериевская служба дезинформации поспешила распространить слух о налете случайных уголовников.

По этому же сценарию неугодных властям убирали и сорок лет спустя. Замечательного поэта и переводчика Константина Богатырева устранили тем же способом при Брежневе.

Преемственность...

Зинаида Райх давно досаждала Сталину. Искрометный талант и красота актрисы, верность опальному режиссеру, независимый ум,— можно лишь удивляться долготерпению Диктатора. Она к тому же осмелилась обращаться к нему лично, одно из писем было на одиннадцати страницах.... Рассказывают — рассказ этот вполне достове-

рен — что в минуту досады Зинаида Николаевна заметила:

— Если Сталин ничего не понимает в искусстве, пусть обратится к Всеволоду Эмильевичу...

Такое и Папа Малый никому не прощал, вспомним гибель незабвенного Сандро Ахметели.

...Опустевшая квартира Мейерхольда приглянулась Лаврентию Павловичу. Пожилую экономку переселили в тюрьму. Библиотеку, собрание бесценных книг, убрали, вещи растащили по дачам лубянские мародеры рангом пониже. В свое время Мейерхольд приобрел в этом доме в Брюсовском переулке две объединенные квартиры. Берия, разделив их вновь, презентовал одну своей любовнице, вторую — личному шоферу-охраннику.

...Хлопоты по устройству здесь музея отняли без малого сорок лет.

Судьба другого великого режиссера, Соломона Михоэлса, во многом сходна с судьбой Мейерхольда. Он тоже сердцем принял Революцию, служил ей страстно, самозабвенно, был самобытным, оригинальным художником. Незадолго до войны Михоэлс-актер заслужил всемирную славу, и его визит в Америку и Англию в 1943 году принес сражающейся родине ощутимую пользу. Сталин явно покровительствовал Еврейскому театру и его руководителю лично: орден Ленина, звание Народного артиста СССР, должность заведующего театральной секцией Комитета по Сталинским премиям, наконец, пост председателя Антифашистского еврейского комитета,— таковы явные признаки особого внимания Вождя. Гитлер не

случайно приговорил Соломона Михоэлся к смертной казни. Заочно.

Внезапная гибель Михоэлса в январе 1948 года вызвала скорбь театрального мира. И — недоумение, которое рассеялось только после публикации воспоминаний Светланы Аллилуевой.

...Михоэлс поехал в Минск для просмотра спектаклей местных театров и там нашел свою смерть, как было объявлено, в автомобильной катастрофе. Однако дочь Сталина стала случайным свидетелем телефонного разговора отца и пришла к непреложному выводу: «Он был убит. ...«Автокатострофа» была официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему доложили об исполнении...»

Гитлер был удовлетворен вполне.

Следующим на очереди мог стать Николай Акимов, режиссер и художник ленинградского Театра комедиии. Во время московских гастролей Сталин побывал на одном представлении и, не досмотрев до конца, покинул ложу. Наутро появилась разгромная рецензия в директивной газете. Акимова изгнали из родного театра, расторгли все договоры на постановку и художественное оформление новых спектаклей, запретили публикации статей.

На этом сталинский гнев почему-то иссяк...

Екатерина Фурцева

Не следует думать, что партийное меценатство прекратилось со смертью Сталина и шефа Лубянки Берия. Эти функции поручали в разное время таким серым личностям как Ворошилов,

или министр совхозов Пономарев... По штату главным надзирателем числился министр культуры, но на деле он был лишь исполнителем, проводником пресловутой партийной линии. Исключение составляла Екатерина Алексеевна Фурцева. Она, единственная в истории ЦК женщина, вошла в состав Президиума — Политбюро, потом в течение 14 лет занимала пост Министра культуры. Остановимся на этой колоритной фигуре, ведь она вышла из театра Иосифа Сталина, азы актерского мастерства постигала в Его труппе.

Объявленную в 1947 году войну «низкопоклонству», Фурцева встретила на посту первого секретаря Фрунзенского райкома столицы, и сразу же проявила поразительные способности к партийной мимикрии. Получив закрытое письмо ЦК по делу профессоров Н. Клюевой и Г. Роскина, обвиненных в низкопоклонстве перед американской наукой, Фурцева организовала кампанию травли ученых и, сколотив специальную команду политического сыска, охватила покаянными судилищами-спектаклями все научные и учебные институты района и даже военные академии. Заставила каяться ту же Клюеву, которую незадолго до этого выдвинула кандидатом в депутаты Верховного Совета республики и сердечно, на публике, обнимала. Подобные представления, чередуясь, составили театр абсурда конца сороковых годов. В своем обзорном докладе на пленуме райкома Екатерина Алексеевна сообщила, что в одной диссертации о борьбе с малярией в Южной Америке упомянуты работы 175 иностранных авторов против двух советских. Крамола налицо, космополит остался без ученого звания. Еще жестче наказан начальник кафедры Академии

имени Фрунзе: у него на кафедре истории военного искусства обсуждались труды Карла Клаузевица и Макса Гофмана. Начальника уволили...

Решающий успех ожидал Фурцеву на сцене Московского городского комитета в октябре 1969 года. К тому времени Екатерина Алексеевна вполне освоила правила игры и, выступая перед партийными отцами столицы с отчетом, решила устроить сеанс политического стриптиза. Казалось, перечень недочетов, ошибок, упущений в деятельности Фрунзенского райкома нескончаем. Взяв отважно почти всю вину на себя, Фурцева сменила тональность и уже в роли этакой недотепы просила помощи и совета у опытных идеологов городского масштаба. Игра Екатерины Алексеевны произвела искомое впечатление, и вот она уже на ответственном посту в горкоме, рядом с ЦК. В ведении Фурцевой — административный отдел, агитация и пропаганда, наука и культура. До культуры она еще доберется, а пока следовало проявить железную волю в других областях. Страна вступила в новую полосу массовых репрессий, горком планировал чистку партийных организаций. Войдя в особую комиссию, Фурцева предложила начать с родного Фрунзенского района. Погром, учиненный ею в педагогическом институте до сих пор вспоминают с содроганием. Иные современники рисуют портрет Фурцевой элегантно-женственным, а она оказалась талантливым, беспощадным террористом. Жестокости хватило надолго, ее сумел оценить, уже после смерти Вождя, либеральствующий Никита Хрущев. Он поручает Екатерине Алексеевне курировать вопросы культуры. На этом поприще она показала хватку надзирателя. Из ее рук ведущие

театры получают директоров и партийных секретарей, подобранных лично Фурцевой в закромах номенклатуры. Верная сталинской традиции, фаворитка Хрущева следит за идеологическим здоровьем театрального организма, разрабатывает программу перевоспитания художников сцены. И вот она, решающая ступень карьеры — пост главы московского горкома. Фурцева — депутат Верховных Советов Союза и РСФСР, она возглавляет престижные комитеты, комиссии, ассоциации. Каждое посещение низовых организаций, предприятий становится событием дня. К Хрущеву, Булганину и другим членам Президиума ЦК поступают от нее десятки докладных и памятных записок, исполненные государственной мудрости и заботы о благе народа.

Министром культуры в ту пору был Г. Ф. Александров. Вскормленный на питательной среде цекистской номенклатуры, он в короткое время сумел создать у себя подобие гарема из молодых актрис московских театров. В оргиях, устраиваемых им в закрытых особняках, принимали участие партийные коллеги, некоторые поэты, художники и литературный критик А. М. Еголин. Они были большими учеными — академик Александров и член-корреспондент Еголин. Министр обзавелся богатой домашней коллекцией живописи, которая могла бы украсить любой государственный музей. Стоило ли устраивать в конце сороковых очистительный погром культуры? На этот вопрос отвечает закрытое письмо ЦК, посвященное художествам Александрова и компании. Письмо наделало много шума, обсуждалось во всех парторганизациях, а уж Фурцева позаботи-

лась о том, чтобы Никита Хрущев узнал о всех пикантных подробностях этого грязного дела.

Надо сказать, однако, что в заботах о личной карьере Фурцева не забывала о нуждах театральной культуры. По ее инициативе московские власти приступили к реконструкции здания Театра имени Маяковского и строительству двух новых — Театра имени Моссовета и Театра оперетты.

Автор документального биографического очерка Е. Таранов совершенно справедливо выделяет в карьере Фурцевой XX съезд партии. Екатерина Алексеевна отважилась открыть прения докладом о достижениях трудовой Москвы и деятельности столичной парторганизации под руководством дорогого Никиты Сергеевича Хрущева. Ничего особого, оригинального, но *как* она говорила: уверенно, с хорошо поставленной дикцией, сдержанной жестикуляцией, почти не заглядывая в бумаги на полочке трибуны. За всем этим стояли годы целенаправленных занятий по актерскому мастерству и — гимнастика, плавание, ежедневный массаж. Словом, монолог Фурцевой оказался самым ярким на фоне серых, монотонных выступлений делегатов.

В перерыве к Фурцевой подошел Никита Хрущев: «Молодец! Моя школа!»

Итак, Фурцева уловила свой звездный час. На XX съезде ее избрали в состав ЦК и сразу же — секретарем Центрального Комитета. И это не все: нашу изящную даму впускают в таинственный чертог Политбюро, именуемого ныне Президиумом ЦК. Пока — в роли кандидата в члены.

Вскоре Фурцевой представился случай отплатить сторицей Хрущеву за доверие. Когда Моло-

тов, подговорив других членов Президиума ЦК убрать Никиту Сергеевича с главного поста, созвал закрытое заседание, Фурцева сумела организовать силы поддержки Первого секретаря, и экстренно созванный в июне 1957 года пленум вывел заговорщиков, то бишь «антипартийную группу» из состава ЦК.

Фурцева вскоре становится полноправным членом Президиума и пользуется советами опытного Суслова. Ныне он стал достаточно известен как организатор диверсионных компартий на всех континентах. Одержимый целью навести повсюду социалистические порядки, «Серый кардинал» долгое время функционировал в ЦК в роли присяжного идеолога. Главными средствами очищения культурной жизни Суслов, вслед за Сталиным, полагал запреты и террор. В лице Фурцевой он нашел убежденного подручного. Сколько бед натворила эта пара в конце пятидесятых, когда не только творческая интеллигенция, но и простые люди поверили в оттепель...

Стараниями Фурцевой на корню были задушены все интересные начинания в литературе, искусстве, на телевидении, на сценах столичных театров — вполне в духе сталинского меценатства. Запретительная деятельность Фурцевой зиждилась на пресловутой теории диктатуры пролетариата. Характерный эпизод из будней ЦК приводит в своих воспоминаниях Федор Бурлацкий. Когда Отто Куусинен поднял в секретариате ЦК вопрос о переходе от диктатуры пролетариата к демократическому государству, Екатерина Фурцева не удержалась от крика: «Как же вы могли, Отто Вильгельмович, покуситься на святая святых — на диктатуру пролетариата! Что же

будет с нашим государством, с нашей идеологией, если мы сами будем раскачивать их основы!»

Но умудренного богатым жизненным опытом Куусинена подобные всплески демагогии уже не трогали. Он даже выразил надежду, что со временем Екатерина Алексеевна изменит свою позицию. «Никогда! Ни за что! — поклялась Фурцева.— Я эту диктатуру, можно сказать, всосала с молоком матери и буду стоять за нее насмерть!».

Готовая сцена для театра Иосифа Сталина, не правда ли? Только сдается мне, что на этот раз Екатерина Фурцева не играла роль партийного ортодокса, она была сама собой.

Недолго обитала Екатерина Алексеевна в чертогах Верховной власти.

... В кабинете Фурцевой — писатели, работники кино. Идет оживленный разговор. Внезапно без стука входит человек в полувоенной форме, подходит к столу и отрезает шнур белого правительственного телефона с гербом Советского Союза. Также молча, сноровисто отключает телефон внутренней связи и, прихватив аппараты, удаляется. Посетители тихо, на цыпочках покидают кабинет павшей фаворитки.

Эта немая сцена, описанная Е. Тарановым, надо думать, не раз повторялась в том старом сером здании.

Пережить такое Фурцева не могла, но домашние спасли её после попытки покончить жизнь самоубийством. Это случилось в 1960 году. Хрущев не оставил ее без должности, пост министра культуры Союза должен хоть частично компенсировать утраты. На какое-то время ее увлекла роль мецената, покровителя Театра Ленкома и вновь созданного Театра на Таганке. Среди ее любимцев

были Михаил Козаков, Муслим Магомаев... Она мирволила Галине Вишневской и (какой контраст!) Людмиле Зыкиной. Но тоска по звездному прошлому не проходила, Екатерина Алексеевна все чаще прикладывалась к бутылке. Затеяла строительство роскошной дачи, да так увлеклась, что получила партвзыскание от КПК. Могли даже исключить, если бы не заступничество самого председателя, члена Президиума ЦК А. Пельше.

Время, житейские передряги не сделали Фурцеву добрее, терпимее. Она продолжала выискивать крамолу в пьесах и постановках, часами уговаривала МХАТ снять сомнительные сцены, запретила спектакль «Живой» в Театре на Таганке по повести Б. Можаева.

... О тесной дружбе министра культуры с весьма народной, истинно русской певицей Людмилой Зыкиной, знали все. Они часто встречались, подолгу беседовали, вместе ходили париться в сауну при бассейне «Москва». Доступ в эту деревянную избу-баню был открыт лишь самым-самым, да дочкам и женам генералов ГБ.

В тот поздний вечер 1974 года Фурцева позвонила Зыкиной и как-то странно, на грустной ноте закончила разговор. Директор бассейна «Москва» Сергей Буткевич рассказал мне, что Екатерина Алексеевна позвонила ему в полночь. Он тоже был большим ценителем коньяка, это их сближало. «Серега,— сказала Фурцева,— мы больше не увидимся... Прощай». И повесила трубку. За несколько дней до этого она объехала всех родных и щедро наделила их нажитым добром.

На этот раз ее не спасли... Политический театр потерял незаурядную актрису, а культура — неусыпного погонщика.

Они были на «ты», ленинградский секретарь и генсек. Сталин при всяком удобном случае демонстрировал свою дружбу с Кировым. Свою книгу «О Ленине и ленинизме» он подарил Кирову с выразительной надписью: «Другу моему и брату любимому — от автора. И. Сталин. 23/5–24 г.»

Январь 1934 года, XVII съезд партии. Генсеку доложили, что против его избрания в состав ЦК подано 292 голоса, а против кандидатуры Кирова — всего 3. Сталин понял, что желание делегатов увидеть во главе Центрального Комитета именно Кирова может вот-вот исполниться. Пришлось пойти на фальсификацию результатов голосования, пришлось потом устранить председателя счетной комиссии Затонского и его заместителя Верховных. Киров уехал в Ленинград, его ждала работа. Летом в Казахстане, куда Кирова послали на хлебозаготовки, кто-то устроил на него покушение. В сентябре он отдыхал вместе с товарищем Сталиным в Сочи. До убийства «дорогого Мироныча» оставалось три месяца.

... Когда тело Кирова положили в гроб и настала минута прощания, никто не поцеловал покойного — кроме Сталина и вдовы. Да еще Петра Смородина, близкого друга Сергея Мироновича. Этот будет уничтожен через четыре года, в феврале 1939-го.

В конце августа 1937 года генерального консула в Барселоне Антонова -Овсеенко вызвали в Москву. В подъезде Второго дома Совнаркома Владимира Александровича встречает испуган-

ный взгляд лифтерши. Почти все двери семиэтажного здания опечатаны большими сургучными печатями НКВД. Арестован Сулимов, председатель СНК Российской Федерации. Теперь он враг. Подобно многим соратникам по октябрьским боям. Погибли Тухачевский, Примаков и другие верные люди и полководцы.

Прошла неделя и еще одна. Вставать каждое утро без всяких обязанностей, провожать бесцельно прожитый день и длинной ночью ждать — чего?

Сталин вызвал Антонова-Овсеенко в Кремль на тридцатый день пребывания в Москве. Он начал с упреков. Оказывается, Антонов действовал в Испании слишком самостоятельно, не согласовывая своих шагов с Наркоматом иностранных дел. На него поступило много жалоб.

Владимир Александрович объяснил:

— Необходимо было принимать подчас рискованные, смелые решения немедленно, как того требовала сложная обстановка.

Видимо, он убедил собеседника. Сталин подобрел, проводил до дверей, сердечно простился с Владимиром Александровичем.

Через день последовало назначение на пост наркома юстиции РСФСР. Через две недели Сталин приказал арестовать его и бросить в тюрьму.

Для расправы с наркомом юстиции СССР В. Н. Крыленко генсек измыслил довольно примитивный план. Роль провокатора он поручил давнему приятелю Берия, соучастнику закавказской резни Джафару Багирову. На первой сессии Верховного Совета тот набросился на Крыленко,

обвинив наркома в чрезмерном увлечении... спортом. Он действительно увлекался альпинизмом, любил шахматы — что с того?... Но сигнал прозвучал, и Крыленко сняли. Пять дней он сдавал дела диввоенюристу Н. М. Рычкову, работавшему до этого в бригаде Ульриха. Потом Крыленко уехал на дачу.

Неожиданный звонок из Кремля, голос Сталина:

— Слушай, Николай Васильевич, ты не расстраивайся, мы тебе доверяем. Продолжай порученную тебе работу над новым Кодексом...

В ту же ночь группа оперативников НКВД окружила дачу.

1 Мая 1937 года из Испании приехал Михаил Кольцов. Сталин принял его через несколько дней. Почти три часа члены Политбюро слушали рассказ публициста. В тот же вечер Кольцов поделился о встрече с Вождем со своим братом Борисом Ефимовым.

... Сталин остановился возле меня, прижал руку к сердцу, поклонился.

— Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли?

— Мигель, товарищ Сталин,— ответил я.

— Ну, так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. До свидания, дон Мигель. Всего хорошего.

— Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!

Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул, и произошел какой-то странный разговор:

— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?

— Есть, товарищ Сталин,— удивленно ответил я.

— Но вы не собираетесь из него застрелиться?

— Конечно, нет,— еще более удивляясь, ответил я,— и в мыслях не имею.

— Ну, вот и отлично,— сказал Сталин.— Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель.

На другой день Климент Ворошилов сказал по телефону:

— Имейте в виду, Михаил Ефимович, вас ценят, вас любят, вам доверяют.

Это было приятно слышать, но Кольцова грызли сомнения. Он сказал брату:

— Знаешь, что я совершенно отчетливо прочитал в глазах Хозяина, когда он провожал меня взглядом?

— Что?

— Я прочитал в них: «слишком прыток».

В той давней беседе Кольцова со Сталиным принимал участие Николай Ежов. Арестовали Михайла Кольцова 17 декабря 1938 года, уже при новом наркоме внутренних дел Лаврентии Берия.

Подивимся долготерпению Хозяина.

Все, что предшествовало убиению Николая Бухарина, напоминает игру черной пантеры с добычей, которую она уже закогтила. Иное сравнение на ум не приходит. Не он ли, генсек, говорил на XIV съезде партии: «Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте!»

Это было сказано в 1925 году. Через десять лет

на банкете в честь очередного выпуска военных академий Сталин произнес тост:

«Выпьем, товарищи, за Николая Ивановича Бухарина! Все мы его знаем и любим, а кто старое помянет, тому глаз вон!»

Через год, в 1936–м, осенью, на процессе Зиновьева — Каменева подсудимые дали показания против Бухарина. Спектакль в Октябрьском зале еще не истек, а прокуратура начала новое следствие — по делу «правых».

Что же Сталин, друг Бухарина, с которым он на «ты»? Генсек в Сочи, он отдыхает, он не хочет мешать ни суду, ни прокуратуре. Это ведь органы независимые, ему не подвластные.

Неожиданно Бухарина вызвали в ЦК. В кабинете Кагановича сидел доставленный сюда из тюрьмы Сокольников. Очная ставка. Покорный чьей-то воле, твердит он монотонно о предательстве Николая Ивановича, друга юности.

Но вот вернулся из Сочи Сталин, и сразу же газеты сообщили о прекращении следствия по делу Бухарина — Рыкова. Пантера вобрала свои когти...

Следующую сценку генсек разыграл на Красной площади, куда Бухарин пришел вместе с женой по гостевому билету 7 ноября. Они стояли на боковой трибуне, мимо них демонстранты проносили бесчисленные портреты Вождя. Вдруг к ним подошел часовой, отдал честь и передал просьбу товарища Сталина подняться на Мавзолей. «Ваше место там...»

Сталин вскоре ушел. Ушел первым.

В декабре игра вступила в новую фазу. На Пленуме ЦК нарком внутренних дел Ежов, назначенный вместо арестованного Ягоды, обвинил Бухарина в контрреволюционной деятельности. Когда

Бухарин бросил в лицо клеветнику гневное «молчать!», вступил Сталин. «Не следует торопиться с решением,— сказал генсек,— а следствие надо продолжить...»

На этом декабрьский акт закончился. Следующий назначен на февраль 37-го. Но Бухарин решил не участвовать в этом представлении и объявил голодовку. Сталин послал на квартиру Бухарина людей с распоряжением выселить его с семьей. И тут же позвонил:

— Что у тебя, Николай?

— Вот пришли из Кремля выселять...

— А ты пошли их к чертовой матери.

Начало работы Пленума ЦК было отложено по случаю гибели и похорон Орджоникидзе. Бухарин явился на первое заседание Пленума, но голодовку не снял.

Диалог начал Сталин.

— Кому ты голодовку объявил, Николай, ЦК партии?

— Зачем это надо, если вы собираетесь меня из партии исключать?

— Никто тебя из партии исключать не будет.

Через день Бухарина арестовали. Анна Михайловна, его вдова, запомнила этот день, 27 февраля 1937 года, навсегда. Вечером позвонил секретарь генсека Поскребышев и пригласил на заседание Пленума. Ни ордера на арест, ни агентов в фуражках с голубым верхом...

Инженер-строитель Асцатуров, двоюродный брат известного революционера Богдана Кнунянца, приехал в 1937-м в Москву в ЦИК СССР.

Ему вручили орден Ленина — награду за досрочное завершение строительства моста.

Беспартийный инженер удостоился редкой чести: его принял Сталин. Хозяин беседовал с ним сердечно, поздравил с наградой, изволил проявить живой интерес к планам...

Окрыленный высочайшим приемом, спустился Асцатуров на первый этаж здания ЦК, прошел в гардероб. А там его уже ждали. Инженера препроводили на Лубянку. Потом — Краснопресненская пересылка и столыпинским вагоном — домой, в Армению. В ереванской тюрьме его навестили родные, Иосиф успел передать сестре письмо для Сталина. Вот Вождь узнает, как с ним поступили — сразу же освободит и накажет виновных в произволе.

И сестра поехала в Москву. И отдала письмо на имя Сталина в ЦК. И стала ждать справедливости.

Брат был высок, могуч, красив. Казнь кавказскому Геркулесу придумали лютую: подвесили к потолку камеры за ногу, вниз головой.

Так погиб Иосиф Асцатуров, обласканный Иосифом Сталиным.

В 1937–м Сталин арестовал всех заместителей председателя правления Госбанка Льва Ефимовича Марьясина. Придя к своему близкому другу, Марьясин хотел тут же, в кабинете, покончить с собой. Но друг выхватил у него из руки револьвер.

— Зачем ты меня удержал? — укорял его Лев Ефимович.— Неужели тебе неизвестно, какие *там* заставляют романы писать? Перед ними сочинения Эдгара По кажутся забавой.

... На Пленуме ЦК, в перерыве между заседаниями, генсек обнял Марьясина за талию.

— Ты же наш советский банкир. Ты не пойдешь в услужение к этому презренному врагу Сокольникову. Ты наш...

Через месяц «нашего банкира» забрали, обвинили во вредительстве. Он погиб мученической смертью.

В 1937 году Сталин бросил в тюрьму известного большевика, наркома внутренней торговли Израиля Яковлевича Вейцера. С ним дружил Анастас Микоян, а остальные члены Политбюро, видя особое к нему расположение Хозяина, относились к Вейцеру с большим почтением. Наталия Сац вспоминает, как однажды на спектакле в ее Детском театре присутствовали в ложе Никита Хрущев и Николай Булганин. Последний, увидев среди детей в партере Вейцера, пожурила руководителя театра за то, что она не пригласила «любимца партии» в ложу...

Сам генсек тоже не скупился на знаки внимания к наркому. Однажды Вейцер лежал в больнице. В квартире зазвонила кремлевская вертушка. Наталия Сац сняла трубку.

— Товарищ Вейцер на операции?

— Да.

— Говорит Сталин. Когда товарищ Вейцер откроет глаза после наркоза, передайте ему от меня привет...

Меж тем, судьба народного комиссара, «любимца партии», была предопределена: через два месяца его бросили в тюрьму и казнили как заклятого врага.

Николая Вознесенского не взяли, а только сняли со всех постов — председателя Госплана, заместителя председателя Совета Министров и вывели из состава Политбюро. Это случилось в

марте 1949 года. Почти полгода, месяц за месяцем, день за днем ожидал он решения своей участи. Не теряя напрасно времени, работал над книгой «Политическая экономия коммунизма». Недавний фаворит послал записку Сталину. Вождь оставил ее без ответа.

...Телефонный звонок: Сталин приглашал Николая Алексеевича на подмосковную дачу. Сталин обнял опального соратника, посадил за стол рядом с членами Политбюро.

— Я предлагаю тост за дорогого товарища Вознесенского, нашего ведущего экономиста. Он тот, кто способен прокладывать пути к светлому будущему, планировать дальнейшие победы. Такие люди составляют наш самый ценный капитал, такие люди, как Николай Алексеевич, нужны нашей партии. За здоровье товарища Вознесенского!

Счастливый, сияющий, вернулся он домой. Жена обняла, заплакала от радости. Звонок. Нет, это не телефон. За ним пришли. Один оперативник по-хозяйски сел за стол и начал опорожнять ящики. На пол полетели бумаги, записные книжки, ордена... На лице у сотрудника Органов — натренированное выражение гадливости. Рядом на столике возле пишущей машинки лежала рукопись «Политической экономии коммунизма». Сотрудник брал по листку и бросал на пол. Вот ведь как они маскируются, предатели,— о коммунизме пишу́т. Коммунизм вам не поможет...

Вознесенскому повезло: его долго не пытали, а лишь возили раздетого зимой в товарном вагоне по окружной железной дороге — авось простудится... Потом прикончили.

...Чокаться с завтрашними мертвецами за ноч-

ным столом? Это для гурманов. Сказано: «Незачем поить ночью птицу, которую утром зарежут». А Сталин поил. И перышки приглаживал, игривец.

Последний акт

Последний акт затянувшейся драмы был разыгран в первые дни марта 1953 года в Кунцево, на Ближней даче. На этот раз Сталин не мог вмешиваться в ход спектакля. Может быть поэтому в драму смерти вплелись неуместные комедийные мотивы. Вот как это выглядело в описании дочери. «В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного (академик В. Н. Виноградов, много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме) ужасно суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген лёгких, медсестра беспрестанно записывала в журнал ход болезни. Все делалось, как надо. Все суетились, спасая жизнь, которую уже нельзя было спасти.

Где-то заседала специальная сессия Академии медицинских наук, решая, что бы ещё предпринять. В соседнем небольшом зале беспрерывно совещался какой-то ещё медицинский совет, тоже решавший как быть. Привезли установку для искусственного дыхания из какого-то НИИ, и с ней молодых специалистов,— кроме них, должно быть, никто бы не сумел ею воспользоваться. Громоздкий агрегат так и простоял без дела, а молодые врачи ошалело озирались вокруг, совершенно подавленные происходящим».

Среди присутствующих выделялись члены Президиума ЦК Берия, Маленков, Хрущёв, Булганин. В последнее время только их и терпел Хозяин. Но эту четвёрку раздирали противоречия и взаимное опасливое недоверие. Берия с Маленковым значительно превосходили вторую пару и умом, и характерами. Хрущёва с Булганиным Сталин взял в свой театр на роли простаков. Это выглядело вполне естественно, также, как назначение на амплуа резонёра Маленкова. Берия попал на свою роль злодея ещё в двадцатые годы. Однако он обладал могучим сценическим темпераментом и далеко не всегда вписывался в отведенные ему режиссёром рамки. В смертный час Вождя он, возбуждённый до крайности, метался по комнатам, отдавая распоряжения охране, прислуге, врачам. В цепких руках мелькали маски — то самоуверенного Папы Малого, как его почтительно называли не только в Грузии, то верного, преданного до собачьего визга друга, и тогда он лобызал влажную руку Хозяина. То — охваченного злобой ожидания соперника...

Умирал Сталин трудно. Правая сторона уже была парализована, он лишился речи, наступило удушье. В последний раз открыл глаза, обвёл взглядом окружающих — своих детей, охранников, незнакомых врачей и слишком знакомых соратников... Вдруг поднял левую руку в угрожающем жесте, силясь что-то сказать. И сник навсегда.

Занавес.

Нет ещё, остался последний эпизод. Лаврентий Берия, многолетний партнёр, убедившись наконец в столь желанной смерти Бессмертного, не удержался и вышел из образа. Скорбную тишину про-

резал его ликующий возглас: «Хрусталев, машину!»

Занавес.

Кончину Хозяина оплакивала вся прислуга — повара, подавальщицы, шоферы, дежурные диспетчеры охраны, садовники.

Читаем у Аллилуевой:

«Пришла проститься Валентина Васильевна Истомина,— Валечка, как её все звали,— экономка, работавшая у отца на этой даче лет восемнадцать. Она грохнулась на колени возле дивана, упала головой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. Долго она не могла остановиться, и никто не мешал ей... И как вся прислуга, до последних дней своих, она будет убеждена, что не было на свете человека лучше, чем мой отец.»

...Покойный был так внимателен, так приветлив и добр к ним. И они горевали искренне. А Он, он когда искренним был — с ними или со своими подручными! Быть может, с народом?

Нет, Сталин играл со всеми, он всю жизнь комедию ломал.

ТЕАТР В ЗОНЕ МАЛОЙ

Для меня лагерный театр начинался в Бутырской тюрьме. Когда я, совсем еще неопытный двадцатилетний арестант впервые вошел туда, ко мне сквозь плотную толпу протиснулись двое с вопросами: — как там на воле, что слышно о помиловании?.. И еще: — откуда, за что посадили, где родные?..

Обычные, как я потом понял, вопросы для фраеров. Но вот с нар сошел один из хозяев камеры, вор или грабитель, особа привилегированная. Он приблизился и, с трудом придав лицу искательное выражение, спросил: «Ро́маны тискаешь?».

Это означало, догадался я не сразу,— «рома́ны рассказывать умеешь?».

Камера была средней величины, около 30 квадратных метров. Сюда набили 80 человек. Слева — сплошные нары, там разместились блатные — воры «в законе» и их прислужники, «шестерки». Остальные проводили долгие дневные часы стоя, сесть было негде. У пожилых опухали ноги, но кто обращал на это внимание?.. Спали все на полу, на одном боку, так тесно сжатые соседями, что повернуться можно было только всем разом по команде. Уныло-серые стены, два окна, забранные массивными решетками, с козырьками, закрывавшими небо, параша возле двери и тусклый ржавый свет единственной лампочки под мрачным потолком. Так выглядел мой первый театр в заключении.

Многие сидели давно, измучились в ожидании приговора. Однообразие тюремного быта — утренняя поверка, оправка, выдача хлебного пайка, долгожданной «пайки», миска баланды на обед, вечерняя кружка кипятка и поверка на ночь,— все это наводило тоску. Каждая песня, каждое слово приобретали силу необыкновенную.

Днем сцену — высокие нары — занимали карманные воришки. Они метили на главные роли и, чтобы привлечь к себе внимание, сочиняли такие криминальные истории, что впору было иному «щипачу» давать не год тюремного срока, а судить

наравне с матерым бандитом «на всю катушку». Эти импровизации авторитета карманникам не прибавляли, но они не унимались.

Среди обыкновенных подследственных был артист цирка — иллюзионист и крафт-акробат. За неимением реквизита он не мог демонстрировать свои коронные номера, зато его силовые стойки на кистях произвели на сокамерников большое впечатление. Впрочем, физическая сила не давала даже ему «права» занимать место на нарах.

Ну, а мне пришлось вспомнить мальчишеские годы, когда я, не жалея зрения, зачитывался дореволюционными дешевыми изданиями вроде «Генрих Рау, железная рука Нижнего Рейна», «Шерлок Холмс в Китае», «Банда «Желтый паук»... Многое уже забылось, спасала импровизация. Слушали меня взахлеб, для многих приключения Волчьей графини или Ната Пинкертона стали чем-то вроде наркотика. «Романиста» блатные подкармливали, им жилось сытно. Остальные зрители-слушатели голодали.

Из Бутырок меня вскоре освободили в связи с прекращением дела. Потом грянула война. Она застала меня в Ашхабаде, в командировке. За мной пришли на второй день войны. Камеры местной тюрьмы с заложенными кирпичом окнами — лишь узкая щель, закрытая снаружи козырьком,— превращались летом в адские жаровни. День-деньской сидели мы на полу, на нарах, обмахиваясь непрерывно кто полотенцем, кто тряпкой, не успевая вытирать пот. Кожа покрывалась мелкой красной сыпью и зудела так, что хотелось содрать ее всю. Не знаю, как квалифицируют эту болезнь дерматологи, но мы окрестили ее «колючкой». Самое позорное место — на полу

возле параши, стало спасительным: здесь тянуло легкой прохладой из коридора. Заснуть ночью было трудно, мучила духота. Тогда наступал час романиста. Я садился на нары, поджав ноги по-турецки и слегка раскачиваясь в такт набегавшим образам, вел слушателей путями морских пиратов, пробирался с ними по ночным парижским улицам, сражался с тиранами, грабил богатых и раздавал добро бедным. Народ в камере собрался простой — ни одного «троцкиста» или меньшевика. Были здесь и местные туркмены. Я украшал рассказ-фантазию живыми сценками в лицах. Настал день, когда истощился мой репертуар, иссякли даже романы Александра Дюма, Вальтера Скотта. Тогда вспомнился Музей изобразительных искусств, где я, студент истфака, служил экскурсоводом. В нашу камеру вторглись герои древней Эллады, зазвучали голоса олимпийских богов, ожили скульптуры Мирона и Фидия. Однажды, закрыв глаза, я не спеша извлекал из памяти одну за другой поэтичные, глубоко человечные легенды эллинов, как вдруг ощутил необыкновенную тишину. Прислушался — все спят. Значит, им хоть на несколько часов стало легче на душе...

Наконец, вызвали нашу камеру с вещами. Назначенных на этап вывели в тюремный двор, тщательно обыскали. Куда нас назначат? Этот вопрос, однако, нас занимал не очень, главное — мы увидели небо над головой и, говорят, паек в лагере больше тюремного. Работа? Авось на Дальний Север не повезут, на лесоповал не попадем. Но так рассуждали не все. Известный вор-рецидивист — испитое лицо, седой ёжик волос на голове — лёг на булыжную мостовую, прикинувшись больным. Старший надзиратель сказал что-

то начальнику конвоя, тот кивнул головой и отрядил ему в помощь четверых бойцов. Вместе с ними надзиратель направился к лежащему уголовнику, наклонился и, резко приподняв его за плечи, отскочил в сторону. При этом обнажилась спина седого урки и на ней — летящий орел, якорь с цепью, чей-то насмешливый профиль, женская нога, стихи и в самом низу — морской пейзаж, освещенный ярко-красным солнцем. Еще секунда и арестант упадет назад, он играл полное бессилие. Но в это мгновение один из конвоиров, подскочив сзади с винтовкой в руках, приставил к спине, точно между лапаток, свой граненый штык. Остальные были уже рядом: один выставил штык спереди, чуть вонзив острие в грудь, двое — с боков. Падать человеку стало некуда. А бойцы, держа его на кончиках своих штыков, двинулись к воротам, где заканчивалась посадка на грузовые машины. Шли они четко в ногу, переднему пришлось идти широким шагом спиной к воротам, на лицах — деловитость с лёгким налётом служебной скуки.

Где, когда, под какой режиссурой родился этот слаженный ансамбль?..

Лагерь под Красноводском, куда мы прибыли через несколько дней, состоял из десяти колонн, каждая в своей зоне. Рыли вручную огромные ямы — емкости для нефти, которую должны были доставить сюда морем из Баку. И без того истощенный, я очень ослаб от болезней, установленную норму выполнить не мог, даже половины не мог. Мне грозил карцер, после него — лазарет, а там уже — полное избавление от жизненных тягот. Последние дни я плелся с работы в зону в крайнем ряду. Конвоиры, угрожая прикладами,

подгоняли хвост колонны окриками. А я шел, еле переставляя ноги, и пел. Что я пел, какие романсы, не помню. Но пел. Кто-то сообщил начальнику КВЧ — культурно-воспитательной части о поющем доходяге и наутро бригадир оставил меня в бараке: «За тобой скоро придут из КВЧ».

Ансамбль КВЧ помещался в самом конце одноэтажного деревянного здания Дома культуры. Здесь репетировали, здесь отдыхали на двухъярусных нарах. Пианист Борис Озеров, баритон из местной филармонии, попавший в лагерь за «агитацию», два танцора, лихо «бацавшие» чечётку, пара цирковых артистов — клоун Жан и гимнаст Гиро, музыканты (баян, аккордеон, балалайка, домбра, гитара) и несколько хористов — вот, кажется, и весь состав. Этими силами надо было давать концерты для вольнонаемных служащих и охраны, а также обслуживать заключенных. Поначалу меня поставили в общий хор, потом поручили вести программу. Репертуар отсутствовал, и однажды начальник попросил меня написать литературно-музыкальный монтаж на военную тему. То ли мои сильные очки произвели на него столь обнадеживающее впечатление, то ли еще что, но начальник ждал от меня сценария.

... Будто вчера прошла эта премьера. Мы, двое ведущих, стоим перед занавесом. Дзынь-н-н... Ударили за кулисами медные тарелки.

Первый ведущий: Год 1242-й. Александр Невский на льду Чудского озера наголову разбил немецких рыцарей, посягнувших на Новгородские земли. Дзынь-н-н...

Второй ведущий: Год 1380-й. Дмитрий Донской на Куликовом поле в битве с монголо-

татарами отстоял независимость Древней Руси.

И так год за годом, через века к нашим дням. К трагедии 1941-го, которую надо подать как величайший подвиг Сталинского руководства. Каждая реплика ведущего сопровождалась музыкой, пением или драматическим действом. Это напоминало столь популярные когда-то представления «Живой газеты» или «Синей блузы».

Прошло два года, я вернулся в Москву, не захотел жить за 101-м километром от столицы. Насколько это было опасно, понял лишь на Лубянке, где мне предъявили обвинение в террористической деятельности. Вот когда «пригодилась» высокая близорукость; только она помешала довести следствие до намеченного конца. Тройка, знаменитое Особое совещание, оценила мою «вину» — антисоветскую агитацию — в восемь лет лагерей. Без доказательств, без судебного спектакля.

Летом 1944 наш этап прибыл на Центральный пересыльный пункт Северо-Печорского ИТЛ. Пересылка — большая зона со своим штабом — канцелярией, лазаретом, клубом. Отсюда заключенных, прибывших из Москвы и других городов, этапировали на производственные колонны Печорстроя, протянувшегося на сотни километров за Полярным кругом. Временным обитателям этой зоны культурное обслуживание не полагалось, но начальник ЦПП М. М. Иванов давно уже тяготился пустующим клубом, а тут нашелся какой-то очкарик, дерзкий новичок, предлагает свои услуги. Да, я рискнул обратиться к гражданину начальнику с предложением поставить на сцене клуба какой-нибудь спектакль, организовать концерт художественной самодеятельности. В зоне

пересылки отсутствовала КВЧ, некому было даже письма раздавать и газеты. Узнав, что я осужден по статье 58, пункт 10, начальник задумался на минуту, потом вызвал помощника по труду. От этого человека зависело направление на этап и назначение на работу внутри зоны.

Клуб, в котором до этого лишь в редкие праздничные дни собирались охранники, ожил. Начали мы с инсценировки рассказов Антона Чехова, позднее собрали несколько эстрадных номеров для концерта, благо лазарет обслуживали женщины. Однажды начальник вызвал меня в кабинет и показал номер «Правды» с рассказом Алексея Толстого «Русский характер». Героя-летчика подбили в бою с фашистами, самолет загорелся, но он все же спасся. Пламя изуродовало его лицо до неузнаваемости, летчик не мог явиться в таком виде домой. Все же он решил навестить родной дом под видом фронтового товарища и сообщить матери о гибели ее сына. Но разве материнское сердце обманешь. Такая вот история...

Начальник предложил мне инсценировать рассказ и поставить на сцене клуба. Надо сказать, что начальники лагерей, даже небольших зон, старались каждый обзавестись своей театральной труппой. Здесь же, в Печорском крае, равном по территории Нидерландам и Португалии вместе взятым, с такими поистине грандиозными предприятиями НКВД, как Воркута-уголь, Печорстрой, Инта-уголь, Ухта-нефть, Севжелдорлаг, негласная конкуренция лагерных начальников обернулась созданием уникальных театров. История истребительных лагерей помнит имена сталинских наместников, имена-символы: И. Ку-

рилка на Соловках, Матвей Берман на Беломорканале, Степан Гаранин, Иван Никишов на Колыме, Ефим Кашкетин на Воркуте. К тридцать девятому году в живых почти никого не осталось, кремлевский диктатор убирал со сцены исполнителей одного за другим. В годы войны комбинатом «Воркутауголь» и огромным, тысяч на сто заключенных, лагерем командовал генерал Митрофан Мальцев. На сцене его театра блистали такие знаменитости, как бас Борис Дейнека, артисты мюзик-холла Валентина Токарская и Рафаил Холодов. Депутат Верховного Совета Мальцев, пользуясь благорасположением Вождя, своей властью переводил людей из одного состояния в другое — заключенных в вольнонаемные. В этом случае бывший арестант давал подписку о невыезде до конца своего прежнего срока наказания. С этим «мальцевским сроком» на Воркуте работали инженеры, геологи, врачи и артисты. Среди последних были даже каторжане. Мальцев мог все.

Наместником Сталина на Печоре был Василий Арсеньевич Барабанов. Строительство железной дороги Печора — Воркута имело огромное хозяйственное значение. Печжелдорлаг пользовался приоритетным снабжением. Это касалось, разумеется, материально-технических средств. Что до заключенных, то они вымирали от голода и непосильной работы десятками тысяч. В привилегированном положении оказывались лишь инженеры-строители, конструкторы, медицинские работники и артисты.

Деревянное здание своего театра начальник управления воздвиг в поселке Абезь, на правом берегу Усы, притока Печоры, в двухстах километ-

рах южнее Воркуты. Столица лагеря возникла здесь, у Полярного круга, в довоенные годы и очень скоро превратилась в благоустроенный городок. Заключенные, обслуживающие управление, и артисты жили в отдельном лагерном пункте (ОЛПе) на штабной колонне. Голодная смерть им не грозила, зато любого из них в тот день и час, который назначит оперчекистский отдел (ОЧО), мог отчислить и отправить на штрафную колонну. На неминуемую гибель.

Состав Печорского музыкально-драматического театра насчитывал вместе с обслугой, в разное время 80—120 человек, из них десятая часть, не более, вольнонаемных. Художественным руководителем был Петр Никитович Шаповалов, в прошлом — певец. Музыкальной частью ведал Евгений Алексеевич Попов, прибывший сюда с трассы строительства вторых путей Байкало-Амурской магистрали. Позднее, в конце войны, в театре появился бывший главный дирижер Одесского оперного театра Н. Н. Чернятинский.

Барабанову было нетрудно конкурировать с соседями: собирая театральные силы, он использовал свои связи в ГУЛАГе, где его информировали о поступлении в систему артистов. В конце войны в заполярных этапах все чаще попадались музыканты, певцы, актеры, освобожденные Советской Армией на оккупированной гитлеровцами земле. Так случилось со знаменитым ленинградским тенором Николаем Константиновичем Печковским, угодившим в Инту. Там он возглавил местный театр. Чернятинский в начале войны вместе с труппой Одесского театра оперы и балета попал в румынский плен и в 1945 году первым призвал своих коллег вернуться на Родину. Три-

бунал отправил его, как изменника, в лагеря на 10 лет. Одним из первых.

Обо всем этом я узнал, уже работая в Печорском театре, куда меня этапировали из Центральной пересылки по специальному наряду. Поначалу поставили в мужской хор. Исполняли песни советских композиторов и народные: русские, украинские... С большим воодушевлением пели прекрасную «Ноченьку» Антона Рубинштейна. Этим хором, а также большим, смешанным, дирижировал Дмитрий Иванович Кутузов, из зеков, редкий энтузиаст своего дела. Хормейстер нуждался в исполнителях басовой партии, и он поставил меня вместе с Владиславом Крайновым на позицию второго баса. Я со своим сильным баритоном забирался порой в теноровые верха, но никогда не подозревал, что способен держать такие низы.

Крайнов запомнился мне добрым, открытым характером и своей трагичной судьбой. До войны он служил ученым секретарем в столичном Историческом музее. Когда осенью 1941 года гитлеровские дивизии подошли к Москве, одним из первых вступил в батальон народного ополчения. Пуля миновала рослого бойца, впервые в жизни взявшего в руки оружие. Крайнов угодил в плен, чудом уцелел в концлагере. Остальное понятно: донос, арест, «признание», суд и этап на Печору вместе с тысячной партией свежих «врагов народа».

Вскоре мне предложили еще одно дело — объявлять действующих лиц и исполнителей спектаклей. Наш костюмер, угрюмый, но расторопный Кузьмич, обряжал меня в вольный костюм кофейного цвета, я выходил к рампе перед закрытым

занавесом... Позднее мне поручат вести концерты, но об этом речь впереди. Объявлять зрителям имена исполнителей приходилось за отсутствием бумаги. Иногда программы печатали на серой оберточной бумаге ничтожным тиражом. В зонах рабочие сведения писали на плотной коричневой бумаге, остатках цементных мешков. На дальних колоннах пользовались финской стружкой — древесной щепой, которой крыли крыши бараков.

Через несколько месяцев мне уже давали эпизодические роли. В оперетте Эрве «Мадемуазель Нитуш» я играл офицера и произносил по ходу действия несколько реплик. Это был очень веселый, искрометный спектакль, украшенный хоровым пением и танцами. Евгений Попов сочинил музыку к некоторым номерам, балетмейстер Петр Пустовойтенко поставил на его музыку танец оловянных солдатиков. Офицеры в белых мундирах наперебой ухаживали за юными монашками... А потом, потом исполнителей — бравых гусаров и нежных «ласточек» уводили под конвоем в зону. Мы жили двойной жизнью — в отличие от остального запроволочного населения. Существование в лагерном бараке и пребывание на сцене — это вызывало в памяти сказки Эдгара По и полотна Гойи. Психика, придавленная многолетним сроком заключения, раздваивалась, душу терзали картины прежней жизни.

Запомнилась постановка оперетты «Гейша», она шла в отрывках. Необычные костюмы, веера, тихое пение — японская экзотика так не вязалась с лагерной реальностью, зато ублажала вольную публику, заполнявшую зал.

Но ведущей в театре была, пожалуй, не опе-

ретта и не музыкальная часть, а драма и комедия. Особенно удалась постановка «Чужого ребенка» по пьесе В. Шкварина. В спектакле были заняты ведущие актрисы, из вольных, Ирина Старцева и Любовь Латкина, но наибольший успех выпал на долю зека Бориса Вершковского. Его высокая нескладная фигура, эмоциональная речь и тонкое чувство юмора запомнились всем. Только вот не вписывался он в запроволочную зону, сколько раз начальство изгоняло его из театра «за нарушение режима», сколько мытарств пережил этот талантливый бунтарь. И с волей был не в ладах. Дождавшись конца срока, Вершковский в первый же день свободы напился, набедокурил и...

Из заключенных актеров остались в памяти Лев Вильдер, побочный сын князя Трубецкого, и мастер старой академической школы Сергей Копченов. У него я учился сценическому искусству, правильной речи (ныне она уже «неправильной» стала...) и бескорыстному служению Театру. Одним из премьеров драмы стал вольный Владимир Евграфов, подыгрывал ему Василий Сучков.

Весной сорок пятого состоялась премьера спектакля «Поединок» по пьесе братьев Тур и Л. Шейнина. Мне, врагу народа и сыну врага народа, поручили роль Комиссара госбезопасности. Я допрашивал шпионку, эту роль исполняла Валя Юдина, совсем недавно отбывшая свой срок заключения. Трудно мне было играть Комиссара, а тут еще этот непривычный мундир, наклеенные усы, отсутствие очков. Не чувствовал я контакта с залом, сам себя не ощущал — ни актером, ни зеком...

В тот победный год Вождь произнес одну из речей, причисленных к историческим, и знаменательные слова: «Жить стало лучше, товарищи,

жить стало веселей...» Я читаю сталинскую речь по местному радио — кому там, в политотделе, понадобился именно мой голос? В радиорубку меня, под наганом, привел охранник. Он стоит за спиной, дышит мне в затылок, потом отведет меня в зону — «Руки назад!». Это человечный охранник в иной обстановке мы зовем его просто Димой. Таких, как он, единицы.

В Управлении Печорстроя помимо всенепременного опер-чекистского (ОЧО), учетно-распределительного (УРО), общего снабжения, производственно-технического (ПТО) и прочих отделов, существовал и культурно-воспитательный (КВО). В задачу последнего входило не только воспитание заключенных, но и культурное обслуживание. Формально театр находился в ведении КВО, но поскольку в состав труппы входили вольные и театр давал представления большей частью вольнонаемным инженерам, управленцам, охранникам всех рангов, распоряжался нами политотдел и лично полковник Кузнецов, гроза Северо-Печорского лагеря. Он явно тяготился властью начальника управления — знаменитого в то время Василия Арсеньевича Барабанова и, не скрывая своей неприязни, отменял нередко его распоряжения-приказы. Перед ответственными спектаклями или концертами полковник вызывал руководителей театра вместе с ведущими артистами в кабинет и, надев личину заботливого мецената, снабжал нас отеческими наставлениями, спрашивал о насущных нуждах. Любая просьба о помощи находила чуткий отклик в добром сердце политического пастыря. Он вызывал соответствующего начальника отдела — контрольно-планового, финансового или материально-технического и тут же, в

нашем присутствии, разрешал возникшую проблему. С этакой великокняжеской щедростью. Здесь же находился начальник КВО, лейтенант, однофамилец полковника. Мы их так и звали — папа большой и папа малый. Лейтенант Кузнецов, так же как и другие начальники, стоял перед ним навытяжку, искательно заглядывая в грозные полковничьи очи. Мы же, культурная обслуга,— зека и несколько вольняшек — продолжали комфортно сидеть. Они и внешне каждый соответствовал своей роли, папа большой и папа малый: полковник был крупным мужчиной, с выпуклой, густо оснащенной орденами грудью. Тщедушный вид малорослого лейтенанта лишь оттенял щедрую вальяжность начальника политотдела. Отдавая очередное распоряжение подчиненному, он, растягивая слова по слогам, говорил с особой значительностью «по-ли-ти -чес-кий от-дел рекомендует вам отпустить для декораций новой постановки» то-то и то-то.

Подобные сцены начальник полиотодела разыгрывал в своем кабинете несколько раз в году. Это был мини-театр в театре, обнимавшем весь Печорский край. Начальники взяли на себя роли управителей запроволочного государства, солдатам поручили охрану населения, составленного, согласно пьесе Верховного Драматурга, из шпионов, диверсантов, террористов. Искусственные, обусловленные заранее отношения, искусственная жизнь, для контингента подневольных — антижизнь. Лишь смерть была настоящей — гибель десятков, сотен тысяч тружеников, заброшенных в этот заполярный театр на роли «врагов народа». Мы, зеки, обходились без масок, дав негласный обет молчания и покорности. Вольным, от началь-

ника лагеря до рядового вохровца, маски тоже были ни к чему: они искренне верили в свою ответственную миссию спасителей отечества. А те немногие, кого природа не обделила критическим умом, давно были приучены к молчанию, затылком ощущая горячее дыхание агентов ОЧО.

Формально театр подчинялся начальнику КВО — лейтенанту Кузнецову. Он был спесив не по чину, полагая, например, что его запроволочному контингенту вовсе ни к чему смотреть спектакли, концерты же несомненно способствуют бодрости зеков, а значит — росту производительности труда.

Концертные программы составлял Владимир Маркович Иоффе. Уже не помню подробностей его арестантской судьбы, но эстраду он знал досконально, придирчиво просматривал каждый готовый номер. Попов вел музыкальную часть, но самые ответственные программы составлял сам. Иногда вызывал меня в свой вагон (многие вольные жили с семьями в списанных за ненадобностью товарных вагонах) и обсуждал со мной концертную программу к празднику. Я был тогда еще артистом малоопытным, но наш музрук относился ко мне с уважением, он вообще не делал различия между вольными и зеками, добрейший Евгений Васильевич.

Джаз-оркестром руководил при мне Валентин Ключарев, отбывший по литерной статье ПШ (подозрение в шпионаже) поразительно скромный срок — всего 3 года. Он, естественно, остался на Печоре, на положении вольнонаемного. Не ехать же домой за новым сроком... С джазом Ключарева

я исполнял популярную в годы войны английскую песню «Джеймс Кеннеди».

На эсминце капитан Джеймс Кеннеди
Гордость флота англичан, Джеймс Кеннеди.
Не в тебя ли влюблены, Джеймс Кеннеди,
Шепчут девушки страны: «Джими, Джими».
    Только в море, только в море —
    Безусловно это так, безусловно это
    Только в море, только в море
    Может счастлив быть моряк.

После этого рефрена следовал музыкальный рассказ об отважном капитане, о том, как он меткой торпедой потопил германскую подлодку. На сцене музыканты вступали в диалог с солистом, подхватывали припев... Была в нашем репертуаре и бравурная песенка военных лет «Путь далекий до Типерери». Солистом джаза я, конферансье, стал неожиданно для себя. Джазмены устроили конкурсное прослушивание и остановили свой выбор на мне. Пришлось снять очки, облачиться в морскую форму и...

Разумеется, в концертах участвовали и профессионалы. Иван Чигринов обладал сильным серебристым тенором, с ним занимался Чернятинский. Кстати, для индивидуальных занятий этот замечательный дирижер отобрал и меня, но его школа оказалась для меня краткой. Среди самодеятельных певцов запомнился Анатолий Хижняков, он исполнял песни советских авторов. И Валентина Юдина. Она уже отсидела свой срок, вышла замуж за Михаила Алексеева, редактора «Производственного бюллетеня», небольшого формата органа, поступавшего на все колонны Печорлага. Юдину, певицу редкого обаяния, публика полю-

била, всегда вызывала на бис. Заканчивала она свое выступление неизменно песней «Полюбила я парнишку». О Валентине Юдиной стоило бы рассказать особо, здесь же упомяну лишь о ее трагическом конце: она погибла в пожаре на второй день по возвращении из гастрольной поездки.

На пятисоткилометровой трассе Печорстроя встречалось немало баянистов, но лишь двое работали в театре — виртуозы Николай Линев и Спиридон Панов. Этот дуэт исполнял классику, попурри из русских народных и современных песен. Однажды к нам привели пожилую женщину в серой телогрейке, измученную дальним этапом пианистку. В театр попадали иногда самозванные артисты. Спасаясь от голодной смерти, иной зека объявлял себя танцором, музыкантом или актером, и его направляли к нам. Но на первом же просмотре выявлялась его профессиональная непригодность. Испытание Ольги Сергеевны Ландер завершилось триумфом: сгрудившиеся вокруг пианино музыканты были поражены ее виртуозной техникой. Эстрадная пианистка высшего класса, она сразу же нашло свое место и в оперетте, и в концертных программах.

Династия цирковых артистов Боркис (по афишам — Кис) была представлена акробатами-эквилибристами Михаилом Боркисом с партнером. Злые ветры занесли в лагерный театр иллюзиониста Владимира Куно. Война настигла его в Одессе, он давал представления в оккупированном городе и после освобождения Одессы угодил на Печору как изменник. Репертуар Куно не отличался оригинальностью, но большой опыт и обаяние позволили ему с ассистентами держать целое отделение.

В дни больших праздников концертная программа занимала три отделения: хор, чтецы, певцы-солисты, цирковые артисты, инструментальные номера, танцы... Танцев было много: сольных, дуэтов, больших ансамблей. Один из постановщиков, Пустовойтенко, украинский балетмейстер, ежедневно занимался с артистами в танцевальном классе, ставил народные, эстрадные танцы. Безусловной премьершей была выпускница сыктывкарского балетного училища Мария Афанасьева, голубоглазая дочь народа коми. Добрая душа, она никогда не делала разницы между «первыми» и «вторыми».

В концертные программы включали также отрывки из оперетт и сцену из комической оперы «Запорожец за Дунаем». В этой сцене хорош был в роли Ивана Карася Антон Король с его могучим басом и колоритной фигурой. Опера Гулак-Артемовского шла на сцене Печорского театра несколько лет подряд и могла бы сделать честь не одному областному театру. Красочные декорации выполнили художники Лев Прокушев, Лев Рыминский и Николай Кадыш.

Не совсем обычный, многопрофильный театр. Была при нем и литературная часть, ею в разное время заведывали поэты Владимир Автономов, Михаил Сточик и литератор Вадим Ясный. Каждый по-своему личность замечательная, каждый мог бы многое рассказать о своей суровой судьбе.

С появлением в театре Н. Черятинского заметно обогатилась музыкальная часть. Николай Николаевич сумел создать малый симфонический оркестр, сочинил для него праздничную увертюру и неутомимо репетировал, репетировал, добиваясь от музыкантов удивительного в тех условиях зву-

чания. Каждое выступление этого оркестра поднимало концертную программу на новую высоту.

Меня не только занимали почти во всех спектаклях, но и поручали вести концерты. То была бесценная школа существования на сцене, уроки ее незабываемы. Вскоре в театре появился бывший актер ЦТКА Владимир Богоявленский. В начале войны его забросили в тыл германских войск, и добытые им сведения высоко ценились в разведуправлении. В сорок четвертом он попал, вместе с двадцатью такими же патриотами, в новую кампанию репрессий. Многих тогда расстреляли, Богоявленскому смертный приговор заменили 20- ю годами лагерей. Вместе с артистом московской эстрады Судзаном они составили отличную пару конферансье.

Примечательной фигурой в нашем театре был помощник режиссера Василий Шагов. Этот человек обладал чувством высокой, пожалуй, даже слишком высокой ответственности. Яркая краска предельного возбуждения не сходила с его лица на протяжении всего спектакля или концерта. Его выпученные глаза, казалось, мелькали за всеми кулисами, выискивая опаздывающих к выходу артистов. Если иная прима-танцовщица (из вольных, разумеется, зеки подобного себе не позволяли) капризничала в гримуборной, угрожая срывом номера, Шагов мчался к ней вниз по лестнице, потом взлетал к кулисам и, найдя подходящий столб, с силой прикладывался к нему... Он был предан театру, как родной матери. Для нас же, зеков, театр, был больше, чем мать. Он спасал жизнь, он возрождал духовность, раздавленную арестом и тюрьмой. Он одаривал любовью — жертвенной и всегда трагичной. Так уж складывалось

в этой иррациональной жизни, что либо вольная полюбит арестанта, либо заключенная — вольного артиста, но неизменно карали «вторых» — так официально именовали лагерников. Как и всякое заведение, наш театральный организм был густо прошит доносчиками. Во всякий день и час в ОЧО, в политотделе знали, со всеми подробностями, кто кого любит. Виновного списывали на «штрафняк».

Режим в театре не отличался строгостью, но после побегов он ужесточился. Первый на моей памяти побег совершил московский актер Козичев, ученик Яншина. Козичев взялся поставить спектакль о железнодорожниках по пьесе Н. Мерцальского «Седой Урал», начал репетиции и неожиданно исчез. На вечерней поверке перед уходом в зону охрана не досчиталась одного зека, им оказался Козичев. Нашли его через два дня в тундре. Далеко он уйти не мог, да и не пытался, зная, что до заполярного Урала без посторонней помощи добраться трудно, знал, наверное, что за Уралом — колючая проволока других лагерей. Тоска погнала актера в побег, на погибель, горе неизбывное. Козичева отправили на Воркуту, на строгорежимную колонну, а нас зажали клещами усиленного надзора. Второй беглец — им оказался Владимир Куно — действовал как опытный рецидивист: добыл документы, вольную одежду, сел в поезд и был таков. Дерзкого иллюзиониста вернули на Печору через год. Оперативники, отправленные ОЧО на розыски, прежде всего заблокировали с помощью местной милиции всех родственников беглеца. Куно был предельно осторожен, но хоть на миг побыть рядом с домом, одним глазом взглянуть на родных, близких — кто устоит перед этим желанием?..

Куно этапировали на самую дальнюю колонну, за Воркуту. На общие работы его не выводили, даже к вахте не подпускали: а вдруг он применит к охране гипноз?.. Иллюзионист не горевал, устроился уютно в зоне, отпустил бороду и стал ждать перемен...

В Абезь пришла неожиданная весть о смерти полковника Кузнецова. Он погиб в одном из северных поселков при невыясненных обстоятельствах. По слухам, начальник политотдела пал от руки обманутого мужа. Целую неделю печорские правители не знали, как объявить о смерти Кузнецова, запросили ГУЛАГ и получили, наконец, «добро» на публикацию некролога...

Новый начальник полиотдела старший лейтенант Любаев не досаждал театру своей опекой и, принимая очередную премьеру, заботился лишь о соблюдении политических канонов. При Любаеве театральная труппа чаще выезжала на гастроли — в города Печору, Воркуту, в поселок Большая Инта. Интинский лагерь раскинулся на территории второго по значению в этом регионе угольного бассейна. Здесь был свой музыкально-драматический театр, которым руководил Печковский. Наши спектакли и концерты проходили с неизменным успехом, но в арестантской судьбе эти гастроли ничего не меняли. На ночь нас под конвоем отводили в зону, спали мы в бараках на двухэтажных нарах. Та же баланда, но чуть погуще. Те же клопы, только чуть упитаннее.

В Инте мне довелось побывать дважды, а в Ухту и еще южнее — в текстильный городок близ Котласа не попал: ОЧО не пропустил. Клеймо на мне лежало, невыводимое клеймо на всю жизнь. Любаеву я тоже «не показался», и меня отправили

с концертной бригадой по отделениям Печорлага. Старый, видавший виды двухосный пассажирский вагон, печь-буржуйка, деревянные полки, баян, скрипка, певец и певица, танцевальная пара, чтец, он же конферансье, и один охранник — так выглядел этот осколок Печорского театра, эстрадно-концертная бригада КВО. Состав ее со временем менялся. Нет, не потому, что артисты покидали ансамбль по окончании срока. Сюда, на Печору, почти все прибывали с десятилетним грузом на плечах. 8 или 5 лет лагерей имели немногие счастливчики. Одним из ведущих артистов бригады стал Эдуард Касперович, осужденный на десять лет по сравнительно безобидной «статье» — закону от 7 августа 1932 года. Никакого хищения социалистической собственности старший лейтенант Касперович на фронте не совершал, он имел неосторожность вступиться перед полковником СМЕРШ за честь беззащитной девушки. В отместку зажиревший чин состряпал на него уголовное дело.

Эдуард Владимирович родился в Одессе, получил техническое образование, но, следуя давнему влечению, поступил в театральную студию, учился у Николая Николаевича Волкова. На войне Касперович служил в автомобильных частях. Весну 1944 года встретил на территории освобожденной Молдавии. Прибыв по делам службы на КП Юго-Западного фронта в Кишинев, молодой офицер решил вечером посетить местный монастырь францисканцев. В тенистой аллее монастырского парка он встретил монаха, который, неожиданно подняв клобук, поздоровался с Эдуардом на чистом русском и спросил: «Сын мой, ты что, не узнаешь меня?». То был Леонид Оболен-

ский, известный кинорежиссер, с которым Касперович до войны учился вместе в театральной студии. Режиссер, попав на оккупированную немцами землю, укрылся от гестаповских ищеек в монастыре...

Кто бы мог предположить, что через год им предстоит еще одна встреча, в поселке Абезь, центре Печорлага. Лауреата Сталинской премии Оболенского доставят сюда этапом как врага народа — статья 58, пункт 10, срок — 10. С этаким клеймом, выглядевшим эфемерным даже в глазах функционеров политотдела и ОЧО, Оболенский работал режиссером Печорского драмтеатра. Зека Касперович значился в личном деле офицером 12-го фронтового автомобильного полка, поэтому с Печорской пересылки его вскоре же отправили на авторемонтный завод, в тот же поселок Абезь. Узнав о прибытии бывшего однокашника и земляка, Оболенский забрал его в театр и занял в своих спектаклях. В «Любови Яровой» Эдуард исполнял роль отца Закатова, в «Губернаторе провинции» — журналиста Эчмена.

В ту пору в арестантском театре работало несколько артистов кино. Александр Короткевич, Вера Михайлова, исполнительница главной роли в «Гуцулке», а также одесский актер Пихур.

Через полгода Касперович перешел в концертную бригаду, стал ведущим, пел с джазом. Большим успехом у зэка и вольных пользовалась бывшая солистка молдавского джаза Зоя Кузьминых. Украшением ансамбля стал еще один «враг народа», князь Борис Болховской, блестящий мастер художественного слова, любимец Ленинграда довоенной поры. Одесский и Николаевский балет были представлены Зинаидой Сысоевой и

Константином Дмитриевым. Аккордеонист Виктор Игнатьев угодил на Печору за службу в театре Радлова на оккупированной немцами территории под Ленинградом. Из музыкантов запомнился скрипач Густав Рылко, заброшенный сюда из Польши. Мы подружились с Густавом в Халмерью, расположенном севернее Воркуты, когда жили в одном вагоне. Где он теперь? Может быть доведется увидеть этого скромного, всегда приветливого скрипача на его родине... Одно время в концертах участвовал чтец Новодаров. Это был могучего сложения донской казак, чемпион СССР по десятиборью, человек неукротимой воли и свободолюбия. Полковник Новодаров решился на невиданное дело — подготовку восстания против печорских мучителей. Однако его судьба достойна отдельной повести...

Подконвойная эстрадно-концертная бригада гастролировала по всей трассе от Канина Носа до Седловой, выезжала иногда и в соседние лагеря. В клеенчатом портфеле Касперовича лежал «открытый наряд», по которому он мог затребовать любого профессионала из зоны в театр или в ансамбль. Мы сказали «любого», нет, исключение составляли осужденные по особо тяжким статьям и с особой пометой в деле. К этой категории относилась, несомненно, Светлана Тухачевская, дочь маршала. К театру Светлана не имела никакого отношения, но Касперович, узнав, что она находится на северной женской колонне в Козловом, решил любой ценой вызволить ее и ради этого подделал наряд. Светлана умирала от пеллагры — так стыдливо начальство именовало голодную цинготную смерть. Он многим рисковал, Эдуард Касперович, но медлить было нельзя, и как

только Светлану доставили под конвоем к нему в бригаду, выехал в Печору-городок, где сдал ее с рук на руки профессору Данишевскому, работавшему на положении зека в лазарете при Центральном пересыльном пункте.

Театр на Колыме

Он зародился на заре тотального террора в 1933 году. Сюда, на край света, потянулись бесчисленные этапы осуждённых — рабочая сила треста Дальстрой. Вскоре на Колыме появилось три театра, в 37-ом они слились в единый драматический. Приступили к строительству большого здания.

Этапы заключённых прибывали в бухту Ногаево морем, и труппа пополнялась постоянно профессиональными актёрами, музыкантами, художниками. Начальство пеклось о своём подневольном театре, привлекало материальными благами вольнонаёмных актёров, поощряло отличившихся «вторых» (заключенных) досрочным освобождением. Всё — как на Воркуте. Летом театр выезжал на гастроли, обслуживал спектаклями и концертами прииски, ОЛПы, рудники, заводы Колымского края. Рождённая в недрах ЦК директива перековки «врагов народа» трудом требовала от лагерных КВО усиления агитации и устройства бодряческих зрелищ. Если в само́м Магадане ставили по 18 спектаклей в месяц, то на гастролях приказано давать вдвое больше. Нашлись энтузиасты, выдвинули встречный план. На Нижнем Хаттынахе заключили социалистический (!) договор: актёры обязались играть по два спектакля в день, заключённые — добывать золото стахановскими темпами. В Зоне Малой, как в Зоне Большой.

Репертуар театра, который позднее приобрёл статус музыкально-драматического имени М. Горького, поражает разнообразием. Там ставили пьесы мировых классиков У. Шекспира, А. Дюма, К. Гольдони, Н. Гоголя, А. Островского и многих советских драматургов: А. Афиногенова, А. Арбузова, И. Ильфа и Е. Петрова, В Шкваркина, А. Мариенгофа, В. Катаева, Н. Погодина, Н. Вирты, Г. Мдивани, Л. Шейнина и братьев Тур, Д. Фурманова, А. Корнейчука, М. Зощенко...

Со временем репертуар пополнился оперетами, оперой. Дальние этапы приносили на Колыму артистов балета. Был создан Эстрадный театр с джазоркестром, появился Кукольный театр. Гордостью начальства стал малый симфонический оркестр.

Москва, Ленинград, Киев, Саратов, Свердловск поставляли Магаданскому театру великолепных артистов, меченных лубянским клеймом. И всё — благодаря самоотверженной работе НКВД. Московский Художественный театр был представлен Ю. Э. Розенштраухом, осужденным на 8 лет «по подозрению в шпионаже». В том же театре служила Н. А. Изаксон. За «контрреволюционную деятельность» изъяли из Московского театра революции двадцатишестилетнего Олега Пославского, театр имени Ермоловой лишился актёра А. И. Демича, Московский драматический — А. И. Опрытова, Современный театр — В. М. Дозорного, имени Ленкома — Н. Н. Рытькова. Привезли на Колыму несколько актёров Еврейского театра. Семь лет колымских страданий достались популярному киноактёру Г. С. Жжёнову. Органы кары и сыска не оставляли в покое учеников Всеволода Мейерхольда и актёров его театра. Из их числа на

Колыму отправили И. В. Эллиса, В. В. Португалова, В. К. Розовенко. Из Ленинграда этапировали актёра Александринского театра А. Д. Богданова и солистов Мариинского Н. С. Артамонова и Н. В. Антонова. Артистку Е. М. Негину арестовали в 1934 году вместе с сыном, драматическим актёром за... «попытку свержения советской власти». Заведующего музыкальной частью Магаданского театра А. Е. Шварцбурга и художника-постановщика профессора В. И. Шухаева (тоже «по подозрению в шпионаже») взяли также в Ленинграде.

Певец Николай Степанович Артамонов начинал в дореволюционном Петербурге, после 17-го служил в Мариинском театре. Первый арест пал на 1933 год — 10 лет, иркутский лагерь. В 37-ом добавили 5 лет и — на Колыму. Но в театр его приняли лишь по окончании срока заключения, в 1946-ом.

Колымские чекисты не скупились на повторные аресты. Сколько их, актёров, эстрадных артистов дважды прошли через конвейер ареста-следствия-«суда». Среди них — актёры И. В. Чекарёв и В. В. Португалов, музыкант И. Л. Прилипко, художник И. И. Ерёмин, актриса Н. А. Изаксон, преподаватель музыки и лингвист Гертруда Рихтер, оказавшая театру неоценимую помощь... И что примечательно: первый арест настигал обычно в 1937 году, второй — в 1949-м, в дни погрома театральной культуры. В зоне Малой, как в Зоне Большой.

На судьбе Эллиса, актёре старого МХАТа, сто́ит остановиться. В 1915 году его мобилизовали на фронт, после Октябрьской революции он воз-

главил Московский уголовный розыск, на гражданской войне стал комиссаром кавалерийской бригады. Новый этап — актёр и режиссёр-ассистент в театре Мейерхольда. В 1924 году арестован как социально опасный элемент (СОЭ) и выслан из столицы. После ссылки в течение семи лет — режиссер-постановщик в театрах крупных областей. Второй арест последовал в году 35-ом за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» (КРТД). Отбыв 5 лет, поступил в Магаданский театр. Третий арест — декабрь 1946 — «за пропаганду и агитацию...» Жизнь Ивана Васильевича Эллиса вместила в себя невыразимую эпоху, когда страдания отдельной личности сливались с трагедией народа, и на политической сцене пошлый фарс перемежался высокой драмой.

Судьба Ивана Эллиса во многом напоминает судьбу Леонида Варпаховского. Его тоже трижды репрессировали. Вспомним о горькой участи режиссёра, который с 1933 года работал вместе с Мейерхольдом и уже в 36-ом удостоился первого ареста, ссылки, потом — 10 лет лагерей. В Магаданском театре Варпаховский работал с 1948 года, поставил десять спектаклей, начав с комедии Л. Вернеля «Похищение Елены». Эта комедия вызвала недовольство краевого начальства. Подражая столичным распорядителям, местный отдел искусств осудил директора театра за самовольное включение в репертуар неугодной краевому исполкому пьесы. Но Варпаховский оставался верен себе. Следующая постановка — по пьесе Дюма-сына опера Д. Верди «Травиата» — стала вершиной творческого пути заполярного театра. Осуществить свой грандиозный замысел опальному режиссеру удалось при участии артистов Дома культуры и Художествен-

ного ансамбля Эстонии, который почти в полном составе был заарестован во время гастролей в Ярославле и отправлен по этапу на Колыму. Многих трудов, бессонных ночей потребовала полноценная постановка оперы — от оркестра и хора до достоверных костюмов и париков. Премьера стала настоящим праздником искусства.

И ещё один небывалый спектакль поставил Варпаховский — по пьесе Джерома К. Джерома «Мисс Гоббс». Редкостный талант режиссёра в сочетании с трудолюбием позволили Варпаховскому ставить и оперетты. «Чёрный тюльпан» И. Штрауса не сходила со сцены несколько лет.

Пришла пора отметить успехи труппы, и лучших актёров, режиссёров, художников наградили медалями, значками. Среди особо награждённых был многолетний режиссёр Георгий Кацман. А Варпаховского поджидал третий арест. Он последовал в октябре 47-го по доносу одного озлобленного актёра — в Зоне Малой, как в Зоне Большой.

Политотделы многотысячных арестантских строек, получивших в театре Иосифа Сталина статус «строек коммунизма», бдительно следили за температурой террора в Москве. И когда там прозвучал сигнал к началу новой зубодробительной кампании — постановление ЦК «О репертуаре драматических театров...», тотчас откликнулись актуальными заседаниями и собраниями на Печоре, на Волге, на Колыме... В Магадане собрание творческого состава театра обернулось фальшивым спектаклем с дежурными проклятиями в адрес «буржуазных перерожденцев», с обвинениями в космополитизме и прочими инсинуациями — сценами покаяния. Закончилось это представление клишированными призывами неустан-

но повышать идейно-политический уровень мастеров искусства и насытить репертуар пьесами на современные советские темы. Присутствовавшее на собрании начальство продиктовало соответствующую резолюцию и на другой день уже приступило к чистке рядов мастеров культуры. Надо было срочно выполнять спущенный из центра план репрессий. И перевыполнять.

План охватывал не только заключённых (повторные аресты), но и вольнонаёмных. В проскрипционные списки Сталин заносил и лично им назначенных функционеров высокого ранга, своих наместников. В конце 37-го подошла очередь начальника Дальстроя Э. П. Берзина. Казнили заслуженного чекиста в августе 38-го, объявив его английским и японским шпионом. Расстреляли начальника лагеря И. Г. Филиппова и, бросив в закипавший котёл несколько тысяч ни в чём неповинных специалистов крупнейшего в стране треста, в придачу с местными жителями, сочинили криминальную пьесу под названием «Подпольная повстанческая антисоветская контрреволюционная троцкистская организация». Роль главаря приписали Берзину. Поплатился жизнью за верную службу Диктатору начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю В. М. Сперанский. Совсем недавно он сам фабриковал дела на «шпионов» и «изменников»...

Ещё один театр абсурда, такой далёкий и такой близкий по режиссуре, когда каждый спектакль заканчивался казнью героя.

В мае 1944 года магаданским артистам довелось участвовать в необычном представлении, заказанном кремлёвским выдумщиком. Речь идёт

о встрече вице-президента США Г. Э. Уоллеса, о которой мы уже упоминали ранее. Директором театра в ту пору была Эмилия Адолина. Почему начальник Политуправления решил заменить опытного, дельного Ф. Ярикова заведующей магазином? Впрочем, подобные метаморфозы случались на всех лагерных параллелях и меридианах.

В большом концерте, который колымчане дали в честь высокого гостя, участвовали лучшие актёры, музыканты, танцоры. Зрелище завершилось танцевальными номерами из оперы Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Назначая участников, Адолина постаралась обойтись без заключённых: вице-президента следовало убедить в том, что золото на Колыме добывают довольные своей судьбой, свободные, счастливые патриоты...

Начальницей Магаданского лагеря была Александра Романовна Гридасова, супруга начальника Дальстроя генерал-лейтенанта Героя социалистического труда Ивана Никишова. Покровительство этой колоритной чиновницы не раз спасало театр в трудные дни, но все видели, что в роли мецената старший лейтенант госбезопасности Гридасова оставалась натуральным лагерным надзирателем. Взращенная Системой, она смотрела на подвластных ей артистов глазами Лаврентия Берия,— как на «лагерную пыль».

* * *

Как сложилась судьба моих друзей из Абезьского театра?

...Пройдут годы. Они встретятся в Москве, Эдуард и Светлана, вольные люди, пережившие печорский ад. И осознают, что проволочная колючка, отделяющая Зону Малую от Зоны Боль-

шой,— граница весьма условная. А еще они узнают, что рампа театра Иосифа Сталина после смерти главного лицедея не погасла. Да иначе и быть не могло, если людей, целый народ, с младенческих лет приучали обманывать друг друга, самих себя. И — государство. Притворяться, будто они строят социализм, улыбаться, улыбаться, когда хочется плакать от горя и кричать от боли. Разыгрывать сцены искренней преданности партийным начальникам и припадать к стопам новоявленных вождей. Проклинать загнивающий Запад, который почему-то продолжает благоденствовать. Аккуратно участвовать в собраниях, митингах, демонстрациях, выборных кампаниях и прочих мистериях, проклиная в душе эту до тошноты опротивевшую повинность. Изображать дружбу народов в годы расцвета махрового шовинизма и унижения малых народов. Воспевать счастливое прошлое и лучезарное настоящее. Провозглашать равенство и свободу, стоя на коленях.

Фальшивое время, фальшивая жизнь. Ложь и обман вошли в генетический код поколений, привели к стойкому раздвоению личности. Раньше это было уделом одних лишь актеров, со временем каждый стал активным участником спектакля, разыгранного на необъятной сцене, именуемой страной Советов.

Одна из особенностей театра Иосифа Сталина — обязательное присутствие на всех представлениях. Из зала не выпускали никого. Но вот двери открыли, зрители и актеры стали свободными. Только свобода оказалась обманчивой: порожденный Системой театр остался, преданный анафеме, он существует в наши дни.

Разве не так?

Повесть о Матильде и Ларисе

Семья революционера.

Матильда

Мой папа был очень добрым человеком. Однажды пришел домой без кальсон: днем, в общественной уборной, он снял их с себя и отдал нуждающемуся. Мы сами бедствовали, ничего лишнего в доме не было, но папа с этим не считался.

Леонард Фишман, так звали моего отца, дружил с писателем Антоном Чеховым. Когда мама получила наследство: драгоценности, много серебряной посуды и значительную сумму денег в золотых рублях,— папа эти деньги отдал на строительство туберкулезной больницы, которую основал Чехов.

С папой был дружен Анатолий Дуров. Когда знаменитый клоун приезжал с цирком в Ялту, он останавливался у нас. Антоша, мой младший брат, нашел на помойке брошенную флейту. Он был очень музыкален. Дуров подарил пятилетнему музыканту настоящую скрипку. Антоша спал с ней, клал рядом с головкой на подушку. Играть он научился сам, позднее его взяли в оркестр. Мы с мамой, бывало, стоим за оградой городского сада, где играл оркестр, видим, как господа вызывают Антошу на «бис», кидают на сцену деньги. Антоша отдавал все деньги дири-

жеру. Когда подходило время платить за квартиру, мама говорила, что нужны деньги. Антоша шел к дирижеру, брал необходимую сумму и приносил маме. Он получал большое, по тем временам, жалованье. Мы все любили славного Антошу, только жизнь ему была суждена короткая.

Красноармейцы штурмовали в Ялте графский особняк, к зданию никак нельзя было подступиться. Белые точным огнем уничтожали всех, кто пытался подобраться близко. Папа дал Антоше пулемет и два ремня: «Вот, заберись на дерево повыше, обвяжись вокруг ствола, и бей из «люиса» по огневым точкам. Только зря патроны не расходуй, дисков больше нет и не будет».

Партию этих пулеметов привез из Севастополя Василий Андреевич Игнатенко, первый председатель Ялтинского ревкома. Дисков было мало, всего по семь штук на пулемет.

...Папа стоит внизу, а Антоша выбивает одно гнездо, второе... Папа кричит:

— Сынок, еще два гнезда. Бей белогвардейскую сволочь!

Наконец Антоша стал опускаться. Еще не коснулся земли, повернулся к отцу и упал замертво. Пуля попала ему прямо в сердце. Но он не признан героем, наш Антон, его имени нет на Холме Славы. Я назвала его именем своего единственного сына.

После гибели Антоши отец взял мамину черную трость с золотым набалдашником. Трость украшала фигурка распятого Христа из литого золота. Эта трость досталась мне в наследство от бабки и прабабки. Папа взял трость, вышел на балкон и выбросил ее в сад: «Все. С Богом покончено».

Мама сказала: «Леонард, ты окончательный идиот. На эту вещь можно было содержать всю семью. Но ведь ты выбросил не просто дорогую вещь, ты выбросил из дома Бога. Покарает нас Бог, не будет счастья — ни для тебя, ни для наших детей. Ты сам дал Антоше оружие в руки и послал на убой...»

У меня было четыре брата. В четырнадцатом году папа привел с улицы подростка, еврея из Риги, по фамилии Каплан. У него умерла бабушка, последняя родственница. Макс скитался по южным городам, добрался до Ялты.

— Ага (мою маму звали Агнессой), вот еще один наш сын,— заявил отец. Тогда уже трех его сыновей взяли в армию, только Рудольфа не призвали еще.

— Теперь с нами будет два сына, Рудольф и Максик.— Добавил отец.

— Боже мой, пойди, приведи еще с улицы максиков...

— Если найдутся такие, как Макс, я приведу. На один половник воды нальешь больше в кастрюлю, суп получится пожиже, но Максик будет жить с нами.

А было у нас так: как папа сказал, так он и делал. У нас целыми днями торчали красногвардейцы, солдаты, ели-пили, и, извините, пи́сали мимо унитаза и делали такие вещи, что мама чуть с ума не сошла... Она выросла в Кракове, получила европейское образование, и вдруг такое...

Максик вырос, он красивенький был, не такой как мои родные братья. Он пел хорошо, а играл на любом инструменте, от скрипки до гармошки. В восемнадцатом году папа взял его вместе с сыновьями, дал всем по винтовке. В Нижней Мас-

сандре шли сильные бои. Максик тоже участвовал в боях, ему оторвало ногу. Мы уже все полюбили его, как родного, и вот оторвало ему гранатой ногу. Старший брат разорвал рубаху — тогда бинтов не было — скрутил жгут. Брат отвинтил от винтовки тесак, отрубил мясо, которое мешало, отбросил ногу и на руках отнес Макса в госпиталь, где работала мама. Она упала в обморок...

Мы сдали Ялту, эвакуировались. Максик вместе со всеми ранеными лежал на палубе судна. Надо было видеть, как мама ухаживала за ранеными, она прихватила все необходимое, ничего не забыла: матрацы, кастрюли, утки... От Макса она не отходила. Довезли мы его до Новороссийска, не высадились: город занимали белые. Куда теперь? В Керчь. В Керчь прибыли, куда? Только в каменоломни, больше некуда; опять белые подошли. Спрятали раненых в отвале. Макс поправлялся. Был там доктор Левандовский, хороший человек, он приделал к ноге Макса деревяшку, сунул туда культю,— она к тому времени зажила,— дал ему два костыля.

...В Крыму установилась советская власть, и Макса назначили начальником Ливадийских винных подвалов. Однажды Макс пришел домой: «Отец, что делать? Смотри... Вот это все — записки от Дмитрия Ильича: «Выдать столько-то ящиков вина», «Выдать...», «Выдать...»

Дмитрий Ульянов ведал курортами Крыма. К вину он был сильно пристрастен. Но об этом никто не знает, об этом нельзя рассказывать. Я была тогда еще совсем юной, помню, отец недоумевал: «Как же можно... Родной брат Ленина...» А отец знал Ленина, встречался с ним в Берне,

в Женеве. Отец привозил из Швейцарии всякие мелочи: моим братьям — запонки, брелочки, а мне привез большой кошелек, Кота в сапогах...

Дмитрия Ильича из Крыма убрали, товарищи осудили его поведение на партийном собрании. Юрий Гавен снял его с должности.

Вскоре мы проводили Максика на Кавказ. Там он пробыл недолго, его исключают из партии за то, что он, якобы, потерял ногу не в бою, а под трамваем. Макс приезжает в Москву. У него там никого нет, кроме меня. Я работала на первом этаже здания гостиницы «Метрополь», в моем ведении специальные железнодорожные кассы, бронь ЦК партии. Слышу, мой помощник ругается с кем-то, выхожу... Макс! Мы кинулись друг к другу, целуемся, обнимаемся, рыдаем. Потом я говорю своему церберу:

— Сколько раз я просила — пускать ко мне всех!

До меня здесь работал начальник, тот никого к себе не пускал, вот цербер и привык всех гонять.

Макса я накормила, напоила. Сели в такси, поехали прямо в ЦК, тогда можно было просто по партбилету пройти в ЦК партии. Я туда ворвалась, собрала всех товарищей, кто знал меня, помнил отца. Через несколько дней Макса восстановили в партии. Я уговаривала его:

— Оставайся здесь, никуда не надо ехать.

— Я же начальник Сахаросбыта, не могу бро сить работу.

Кому-то он там, на Кавказе, помешал, решили от него избавиться.

Макс уехал к себе. Забрали Макса раньше, чем меня, в тридцать шестом. И расстреляли.

...Бедная мама, она как будто предвидела все, что с нами случится. Она очень любила папу, но не могла его понять. В семнадцатом она говорила ему: «С кем ты связал свою судьбу? Это же бандиты, хулиганы...»

Они ворвались в магазинчик Биркенгофа «Санитария и гигиена». Чем там торговали? Шапочками резиновыми для плавания, мылом, мочалками, порошком от клопов... Они ворвались в магазин и все разгромили, растащили. Сын хозяина, коммунист, стал потом народным комиссаром здравоохранения Крыма. Расстреляли его в тридцать седьмом.

Мой папа участвовал в вооруженном восстании, командовал отрядом, а мама урезонивала его: «Ну что тебе сделали эти князья? Зачем ты кровь проливаешь? Тебя же все проклинать будут...»

После революции Украину охватил страшный голод. Отец собрал все, что осталось от наследства, полученного мамой,— бриллианты, кольца, серебро — сверх того взял все ценное, найденное в доме.

Мама молчала, молчала, не вытерпела:

— Эти ценности твои? Ты их наживал?! Леонард, ты вступил в банду грабителей.

— Что я принес в дом? Что я украл?

— Ты думаешь, что вместе со своей бандой принесешь народу счастье?

...Отец снял с моей руки единственное кольцо, подарок Антона.

— Неужели ты, дочь революционера, будешь ходить в кольцах, когда кругом умирают от голода дети?

— Леонард, опомнись! — вступилась мама.— Ведь от всего этого останется пшик. Матильда —

девочка, ей понадобится приданое. Оставь хоть что-нибудь...

Но отец был неумолим. Таким же он был и когда возглавлял в восемнадцатом году ялтинский ревтрибунал.

— После долгих мытарств мы перебрались в Мелитополь. В городе свирепствовал тиф, папа взял в дом одиннадцать больных красноармейцев. Он хотел их спасти, заразился и умер. Хоронили его в день Парижской коммуны, 18 марта 1920 года.

К Мелитополю подступила белая армия, пришлось эвакуироваться в Харьков. Я участвовала, как боец ЧОНа (частей особого назначения), в арьергардных боях, меня ранили в правую ногу. В Харькове, в конце марта 1920 года, вступила в партию. Вскоре белые оставили Крым, была образована Крымская автономная республика, и в конце двадцать первого года мы решили вернуться в Ялту. В Симферополе я зашла к Юрию Петровичу Гавену, председателю Крымского ЦИКа. Он хорошо знал моего отца, встречался с ним у Ленина, еще до революции. Одним из секретарей партийного комитета была Розалия Самойловна Землячка. Она кичилась своим большим партстажем, умела подлаживаться к руководящим товарищам, зато с младшими обходилась круто и высокомерно, кричала на подчиненных, громко стучала по столу кулаком. И вот я у нее.

— Кто тебе дал такое право — являться сюда? — набросилась на меня Землячка.

— Товарищ Гавен.

— Для меня он не авторитет!

...Не знаю, что сделала бы со мной эта вздорная баба, если бы не Макар Дерябин, старый

каторжанин. Он весьма кстати появился в кабинете:

— Послушай, это же наш боевой товарищ, Мотылек. Ее отец погиб недавно и братья лежат в крымской земле...

Мы все же вернулись в Ялту, я получила назначение в санаторий «Золотой пляж», работала директором до 1927 года.

Однажды пришла домой мама, она видела в приемной горсовета женщину с бриллиантовыми серьгами, которые отец когда-то сдал в ЧК. Разыскали эту женщину, местную кокотку. Дома у нее нашли мамины вещи. Каким образом ценности попали к этой дамочке, я уж не помню.

Председатель ГПУ спросил маму, как она думает распорядиться своим богатством. «Все надо немедленно передать в фонд помощи голодающим,— ответила она.— Я должна выполнить волю покойного мужа».

СЛУЖБА

Матильда

В тридцатые годы, до самой войны, я заведывала Центральными производственными мастерскими Союзтранспроекта. Мы входили в систему НКПС, подчинялись Лазарю Кагановичу. В моих мастерских были и типография, и цинкография, и светокопия, фотоцех, переплетный... более двухсот рабочих и служащих. Москва, Киев, Иркутск, Владивосток — многие города — оформляли секретные чертежи у меня. Люди у нас работали «под

сеткой», то есть, допущенные к секретной работе. Двери закрывались пломбой, тут же — военизированная охрана. На ночь все помещения опечатывали, я даже вентиляторную трубу закрывала на пломбу. Завела себе собаку-крысолова, выпросила ее в Большом театре. За все время я только один раз была в кино и один раз — в театре, и то меня оттуда вызвали, понадобилось мое присутствие на службе. В театре я сидела рядом с Малиновской, директором. Смотрю, а у самой рампы торчат чьи-то уши, острые такие... Я подумала — это собачка и спрашиваю директора: «Откуда здесь собаки?»

— Вы что, плохо видите? Это же крысы. Они очень музыкальны, и как только начинается представление, сбегаются слушать музыку...

Я решила, что директор либо тронулась, либо считает меня дурочкой. Но Малиновская не шутила, она показала мне даже собак-крысоловов, их специально держали в театре. Тогда я решила и у себя завести такую собачку. Ведь крысы могли повредить проекты и материалы.

Разные были секретные проекты, помню и трассу Ухта-Печора... Но самый секретный был титул № 100, он так и назывался: «Сотый титул». Об этом титуле я никому ничего не скажу. Меня когда в Лефортово били, я им тоже не сказала. Они удивились: «Ты же нам обязана, мы же тобой руководили!» А я отвечала: «Ну и что? Я вам все равно ничего не скажу. Можете меня расстрелять».

И не сказала. И сейчас никому не скажу.

Я работала и жила на особом положении. Уходя ночью домой, докладывала по начальству. Если шла в кино, тоже докладывала: где я, на

какое время ушла. Отчитывалась я перед секретариатом Лазаря Кагановича, наркома путей сообщения.

Арестовали меня поздно вечером 23 июня 1941 года, на второй день войны. Пришли, предъявили ордер на арест, забрали ключи от сейфа... Я внимательно проверила ордер, а он выписан чуть ли не... 1936 годом! Я им говорю: «Этот ордер не действителен, я с вами не пойду. Я вооружена, у меня в кобуре револьвер». Старший на минуту вышел и тут же вернулся со свежим ордером, датированным этим числом. Как будто у них за дверью своя канцелярия... Тут подъехал мой шофер, но они его прогнали, посадили меня в свою машину. Повезли домой. Мама встречает: «Доченька, ты с гостями! Сейчас ужин подам на стол». А они говорят: «Мы не в гости пришли, а с обыском».

Мама смотрит на меня, я говорю ей:

— Мама, поверь мне, я, как папа, я честная, ничего вредного не делала, не замышляла. Только верь мне, я такая, как папа.

Начался обыск. Увидели на шее у мамы черную веревочку из сутажа, сорвали с шеи. Сутаж привязан к мешочку.

— Что это?!

— Это моя реликвия,— отвечает мама.

Они раскрыли мешочек, там лежит папин партбилет и клок волос. Когда отец лежал в гробу, мама отрезала прядь волос и взяла партбилет, который кто-то положил ему под голову.

...Агент раскрыл партбилет, на нем стоял номер 14.

— Кто тебе дал право носить партбилет?!

...Когда папа работал секретарем Мелитопольского горкома партии, мама его постоянно колола:

— Ну, сколько ты сегодня принял в партию?

Папа отвечал:

— Да, вот сегодня принял одного, настоящего рабочего, сапожника.

— А что, он будет править государством?

— Да, будет управлять государством.

— Такое государство не будет стоить и ломаного гроша.

Папа:

— Как ты можешь это говорить? Ты выросла в богатой семье, ты не понимаешь, что и сапожник, и кухарка способны управлять государством. И будут управлять!

Мама взялась за голову:

— Майн Готт! Если уж кухарки будут управлять государством, то в этой стране должны жить не люди, а свиньи, хамы, плебеи...

ЛУБЯНКА

В первую ночь меня на Лубянке посадили в подвал. Одну. Было совершенно темно, но скоро глаза адаптировались, я стала рассматривать стены камеры. Странные они были, эти стены, в пятнах маленьких... Нет, это не пятна, а шарики красные, блестящие. Потрогала один шарик — кровь застывшая... А на стене — следы шомполов, риски такие, это когда шомпол срывается со спины. Я раздавила один шарик — на пальце остался след запекшейся крови. Высоко под потолком — тусклая лампочка, в углу — деревянное ведро.

Все это устроено там, около площади Дзержинского, где установлен памятник нашему первому чекисту, железному Феликсу. Над головой дребезжит трамвай, тогда они здесь еще ходили.

Женщин обрабатывала женщина-палач. Она заходила в пыточную камеру, здоровенная такая высокая баба в синем халате, и приказывала: «Нагинайсь!» Потом: «Шире ноги расставляй!» Она подходила ближе, била ногой под колена: «Бери свои ягодицы, раздвигай!» На руке у нее была надета вроде бы из кожи, с крагами, грубая рукавица. На указательном пальце — насадка-крючок. Это так больно, это нельзя передать... Она рвет слизистую, ребром другой руки бьет по затылку:

— Не ори, курва!

К бабе-громиле в синем фартуке меня водили всякий раз перед допросом. Сидишь перед следователем, руки на коленях, не смеешь пошевелиться. А следователь — он знает, как над тобой надругались, он-то знает — следователь покрикивает: «Чего ерзаешь, курва!»

...Весь вечер, с пяти часов сидишь вот так, руки на коленях, перед следователем, у тебя внутри, там, горит все огнем, а ты не смеешь встать, попросить воды, ты сидишь весь вечер, до поздней ночи сидишь, а то и до утра.

...Он развалился в кресле, молодой следователь, в петлице один кубик, значит, младший лейтенант, и покрикивает: «Какого х... ерзаешь, ...твою мать!»

Я этих следователей называла «будильниками». Они не давали спать, сволочи. С июля, весь июль, до декабря, до Нового года, они не давали мне спать, до утра держали на допросах.

Я сижу перед ним на своей арестантской табуретке, а он: «Чего качаешься, курва! А ну, встать! Выравняйсь! Так и стой, б...!» Потом разрешит сесть, у меня голова клонится книзу, шея уже не держит, он опять кричит...

Ему становится скучно, он набирает номер телефона: «Оленька, поставь любимую». Он слушает «Брызги шампанского», танго. Отвечает Оленьке: «Да, скоро, подожди немного... Да тут одну суку, фашистку, допрашиваю... Да, да, что-то подтверждает, но тянет, тянет, стерва... Хорошо, хорошо, что тебе надо? Языков? Почему так много? А... Я забыл, что у тебя день рождения. Хорошо, я с шофером пришлю. С этой мандавошкой расправлюсь и пришлю. И вырезки возьму...»

...Приходит смена, другой следователь, тоже молодой.

— Ну, как у тебя?

— Молчит.

— Молчит? Сейчас я с ней, б...ю, расправлюсь...

Первый уходит, второй располагается в кресле, нажимает на кнопку. В тот момент входит верзила, форма охранника чуть не лопается по швам. Следователь командует: «Две коробки «Казбека», 200 грамм и бифштекс с яйцом.» Верзила приносит заказанное, ставит на стол. Следователь выпивает свои 200, нет, оставляет на дне стакана немного, подходит ко мне. Выплескивает остатки мне в лицо.

— Что вы делаете?!

— Долго ты будешь нам тут яйца морочить?! А ну, говори!

— Что, что говорить? Скажите, что я должна говорить?

— Как ты хотела Гитлеру передать чертежи.

— Какие чертежи?

— Те, что у тебя были. Секретные.

— Вы что, с ума сошли? Я же коммунистка! Если вы хоть на маковое зерно докажете, что я кому-то сказала, скальпируйте меня. У меня папа старый коммунист, мои братья все коммунисты, мой сын, тоже коммунист, добровольцем ушел на фронт... Я даже не знаю, о каком Гитлере вы говорите... Я ведь не читаю газет, я прихожу домой в три-четыре часа утра, мне спать некогда...

Он меня матом, матом и кулак под нос... А внутри все горит, боль невыносимая... Меня мама с детства приучила — каждый вечер перед сном мыться теплой водой, губкой, у нас в семье все были чистоплотны... И такой яд, такую грязь занесла мне та баба-палач...

А следователь вновь кроет матом: «Я тебя вы... и сушить повешу!»

Порой я думала: «Может, я сошла с ума? Может, это мне снится?»

...Как-то я сказала следователю, что мой сын Антоша сражается с врагами, а вы его мать пытаете... Следователь встрепенулся:

— Что, Антон Фишман? Мы его расстреляли. На самой границе схватили, он хотел к немцам перебежать. Вишь, какая б... весь в мать пошел...

КЕТИ РАБ

Чешка Кети Раб была коммунисткой, ее обвиняли в шпионаже.

Как-то я пришла в свою камеру, после допроса, а у меня женщина. Она стонет, просит воды. Кран

у нас в камере был, я налила в ладони, подношу к ее губам, а она не пьет. Подняла ее платье, спина вся иссечена, вдоль и поперек. Я вылила воду на это кровавое месиво.

— Меня зовут Кети Раб. Я чешская коммунистка, меня знают на заводе «Батя». Если вы доживете, передайте им, что меня казнили на Лубянке, заставили подписать себе самой смертный приговор, принудили признаться в том, что я шпионка. А я не шпионка, я коммунистка!

— Зачем же вы подписали?

— Я не могла больше выдержать нечеловеческие пытки...

...Меня потом мой следователь спрашивал:

— Ну как твоя подружка-шпионка?

— Какая подружка-шпионка?

— Ну та, которая просила тебя написать в Чехословакию, на завод «Батя?»

— Не знаю, кто такой батя, о каком бате вы говорите, чей батя?

Словом, прикинулась дурочкой... На всякий случай я еще приврала — будто немецкому языку не обучалась и читать-писать по-немецки не умею. По-чешски — тем более... Вот по-татарски я могу, гражданин следователь. Еще я петь могу, танцевать, а в остальном неграмотная я, порусски я плохо грамотная, а вы говорите, чтоб я написала ее бате...

Через несколько дней Кети исчезла.

Однажды следователь задержал меня дольше обычного, время близилось к обеду. Мы, арестанты, уже знали, что казни устраивали здесь, во внутреннем дворе. Включат мотоцикл и расстреливают. Как ни маскируй, арестантское ухо уловит звук выстрела.

Следователь спросил:

— Ну, где твоя подружка?..

— Какая подружка?

— Кети, Кети Раб.

— Вы ж ее забрали вчера...

— Хочешь на нее посмотреть? — И он повел меня на нижний этаж, втолкнул в кабинет, приказал подойти к окну.

Я повернулась к нему лицом, разорвала кофту на груди:

— На, стреляй прямо, стреляй! Не в спину, а прямо, в сердце. На, сволочь! — И попятилась от него, спиной к окну...

— Повернись, повернись, не бойся, сейчас стрелять тебя не буду, видишь, у меня и оружия нет с собой. Повернись, загляни во двор.

Я повернулась и увидела во дворе, внизу, на асфальте Кети. Бедная Кети лежала мертвая, со связанными сзади руками, она лежала на спине, колени подогнуты, видно, ее перед казнью поставили на колени и выстрелили в затылок. Посредине маленького двора виднелся глубокий желоб, он вел к отверстию в асфальте, туда стекала кровь казненных. Это место закрывали с четырех сторон высокие каменные стены.

— Ну, насмотрелась? То же самое будет с тобой. Если не дашь нам показаний.

В ЛЕФОРТОВО

Тюремный корпус в Лефортово не имел коридоров. Тебя вели вдоль камер по металлическим мосткам, напротив — такие же мостки, между ними — железные сетки. Однажды ведет меня

конвоир по мосткам из следственного корпуса, смотрю, на моем этаже — почти все камеры открыты, они пусты, а на кроватях висят гимнастерки военные, на петлицах следы знаков отличия от «шпал», «кубиков», «ромбов»... Я иду мимо, а нижний охранник кричит верхнему:

— Кузнецов! (Я запомнила эту фамилию, у нас посуда была фирмы Кузнецова). Кузнецов! Ты почему вещи не сдаешь на склад!

...Наш тюремщик почему-то не слышит. Нижний кричит настойчивей: «Степка, ты почему не сдал вещи?»

Степан Кузнецов наконец услышал:

— Вот выберут еще девять, тогда разом и сдам все.

— Ну и х... с тобой,— откликнулся нижний.

Значит, как остальных расстреляют, он отнесет все вещи...

Тюремщики в Лефортово били по пряжке ключом. В Бутырской тюрьме щелкали языком, на Лубянке щелкали пальцами. Это сигнал: «Веду арестованного, он не должен никого видеть».

Однажды на Лубянке меня вели по коридору, щелкали пальцами, но моих конвоиров не услышали. У стены стоял привязанный человек, руки прихвачены кольцами, штаны спущены до пят, а двое бьют его шомполами по голой спине, только кровь брызжет. Как он кричал, как он кричал... Меня привели на второй этаж, на заседание «тройки», где я должна была выслушать приговор. Там были три человека в штатском, все старые уже. Спросили фамилию.

— Вы что, не знаете, что я Фишман?

— Мы вас спрашиваем, а вы отвечайте. Ну, что вы нам скажете?

— Я скажу то, что вы знаете. Я совершенно невиновный человек, была честной комсомолкой, честной коммунисткой...

Это происходило в круглом кабинете, он и сейчас стоит перед глазами, этот «суд». И тот мужчина в коридоре... Как они его били, он кричал, кровь струйками стекала по спине. Один бил с оттяжкой, со свистом. Мой конвоир ударил меня по лицу:

— Куда смотришь, сука!

ЭТАП ИЗ МОСКВЫ В САРАТОВ (Январь 1942 года)

...Нас посадили в грузовую машину, трехтонный грузовик — коробку. В этой коробке — еще пятнадцать коробок, вроде металлических пеналов, в них можно было только стоять, и мы стояли. Привезли нас на Курский вокзал ночью. Мороз был страшный. Мы все — в летней одежде или полураздетые, голодные, истощенные...

Конвой запер нас и ушел. Сначала я слышала — справа, слева, сзади люди ворочались, чертыхались, молили, плакали, стонали. Потом все стихло. Я была в легкой кофточке и старалась дышать под материю, согреть хоть чуть-чуть тело своим дыханием. А пальцы рук прятала под мышками.

...Слышу сзади голос: «Кто-нибудь в машине есть?» Я промолчала, я берегла силы, берегла каждый выдох. Мужчина повторил вопрос. Потом крикнул: «Слышите, есть кто-нибудь? Я отморозил яйца, я не могу больше. Убейте меня! Убейте меня! Я не могу больше!...»

Голос стих.

...Утром послышались возле машины голоса охранников.

— Ну и мороз, 45 градусов...

— Х... с ним!..

Загремели засовы. Я услышала бодрую команду: «Выходи!»

Никто не вышел. Густой мат, лязг запоров... Охранники открывают по очереди кабины, в которых привезли арестантов. Они и сейчас там стояли. Но — мертвые.

— Гляди, померзли все, суки...

Охранники начали выбрасывать трупы по одному на землю.

Открывают мой стоячий гроб...

— Во, есть одна живая...

Вытащили меня. А я ни стоять, ни ходить не могу. Моча самопроизвольно вышла, ноги скованы льдом. Охранник ударил меня сильно в спину, что-то оторвалось между ног, лед слетел, и я сделала один шаг, не упала. Еще один человек оказался жив, а может и не совсем жив, мне разглядеть не пришлось. Кто-то взял меня за руку, потащил. Я сказала, что не могу идти.

— А что, я тебя поведу, что ли?

Меня подхватили под руки и потащили волоком по земле, по асфальту... Когда через рельсы перетаскивали, ноги бились о холодную сталь, щебенка рвала кожу... Не забыть эту боль. За мной тащили еще одного дядю. Тринадцать осталось там. Тринадцать из пятнадцати.

Я оглянулась на машину, ее освещали станционные прожектора, свет выхватил жирную надпись на кузове: «МЯСО». Так выглядел наш черный ворон.

Приволокли к поезду. Длинный состав на дальнем запасном пути. Наш вагон — четырехосная коробка. Открыли дверь: «Принимай!»

А я ж не могу шагу ступить, не могу ногу поднять... Взяли меня конвоиры за ноги за руки, раскачали и забросили в вагон. В вагоне стоит толпа, человек к человеку вплотную. Ни нар, ни скамеек, ни досточки. На полу — конский навоз, раньше в этом вагоне перевозили лошадей. Окошки вверху открыты, забраны стальной решеткой. В стенках щели, в полу тоже. Отопления никакого.

Мы стоим, как холодец. Как живой холодец. Стали на меня дышать женщины, которые очутились рядом, они же видят, что я заледенела. Особенно заботилась обо мне цыганка, ее звали Шурой. Окрутила меня своей широкой юбкой и покрикивает: «Топай ножками, топай ножками!»

...А я и стоять не могу... какой там «топай»... Шура нагнулась, руками сбила лед с моих ног, с юбки: «Теперь давай танцевать, вместе, вместе...»

Там были еще цыганки, три мамки с младенцами. Когда поезд наконец тронулся с места, мы обрадовались. Скоро будем на месте и тогда... А что тогда?.. Но арестант есть арестант, ему всегда кажется, что хуже, чем теперь уже быть не может, значит будет лучше.

...22 дня ехали мы до места, до Саратова. Пассажирский поезд туда идет один день. А ехали двадцать два. Еда? По куску селедки в день и по три сухаря. Питье? Никакого питья, ни капли воды. Первыми умерли младенцы. Матери набирали через силу слюну во рту и плевали в детские ротики. Младенцы кричали, тянулись к пустым грудям... Охранники выкинули детские трупики в

снег. На каждой станции женщины кричали, просили воды. Уж на что голосистая была одна женщина, привезенная из Новинской женской тюрьмы, но и она потеряла силы... Мертвыми телами мы закрывали щели в стенках. Когда конвой открывал вагон, трупы падали на охранников, и они страшно ругались, били нас. Всякий раз при раздаче «пищи» возле вагона складывали штабеля трупов. Одну мертвую мы не выбрасывали, то была старушка горбатая, мы клали ее на спину и горбом закрывали отверстие в полу, нашу «уборную». На ходу поезда оправляться было невозможно, ветер задувал внутрь, но что мы могли поделать?

Во время длительных стоянок бдительный конвой обходил вагоны с огромными деревянными молотами. Этими молотами колотили по доскам — по полу, по стенкам: все ли целы? Не подпилены ли? Не готовится ли побег? Грохот стоял неописуемый, мы приспособились дремать стоя, но и этот сон стал недозволенной роскошью... Мы ехали стоя, потеряв двадцать два дня и двадцать две ночи. Ноги напоминали раздутые бутылки, зеленые раздутые бутылки. Палец погружался в этот зеленый студень как в тесто, наполовину. Кто этому теперь, спустя сорок лет поверит...

Но так было.

В Саратове, на станции, открыли вагон: «Выходи!»

— Нас выстроили по пять в ряд. Сосчитали. Считать-то нечего: семь пятерок, вот все, что осталось от 250 человек. От двухсот пятидесяти.

Конвоиры переговариваются:

— Шо, и це уси? (украинский: Что, это все?)

— Уси.

Одна из выживших спросила:

— А вы что не видели? На каждой станции штабеля мертвых составляли... Что мы их съели, что ли?

— Да, есть их сырыми нельзя... А как бы сварили, то и съели бы...— флегматично ответил конвоир.

Команда:

— Становись на колени, руки назад!

Куда там — «на колени»... ноги ведь не гнутся... Но — встали прямо на снег. Подошли из других вагонов, еще, еще... Подняли нас, повели строем. По обочине, с обеих сторон — овчарки.

Кончились станционные пути, с трудом доплелись до шоссейной дороги. Новая команда:

— Лягай!

Все легли — мужчины и женщины. Мужчины почти все были в гимнастерках и пилотках, их, видно, взяли летом. Один красивый, молодой, умолял конвоира:

— Гражданин начальник, убей меня, убей, я весь замерз, я не могу больше, я не хочу жить! Убей!

Потом он лег на снег, пилотку подложил под лицо.

...Лежим, помираем по одиночке, один за другим.

Голос:

— Да ты человек или нет? Дай нам немножко согреться... Постукаться друг о дружку. Мы же леденеем, мы же погибаем. Ты человек или скотина?!

Наконец, команда:

— А ну встать! Всим Встать!

Не получается, многие уже не могут встать. Они никогда не встанут. Надо проверить — а вдруг симулируют, проклятые фашисты. Подходит конвоир с собакой, отпускает поводок — овчарка хватает арестантские икры, рвет мясо. Человек лежит.Поводок еще отпущен. Собака кусает ягодицы, вырывает клоки штанов, куски кожи. Нет, человек не шевелится. Конвоир отпускает почти весь поводок — зверь хватает за шею.— Нет, не шевелится... Охранник проходит с собакой по рядам.

— Мертвяки е... (есть мертвые),— замечает он меланхолично.

Тела вытаскивают из строя, бросают в кучу. Мы лежим на снегу, поднять головы не смеем — обещана пуля. Прислушиваемся к каждому шороху. Слышим:

— Во, е... их мать! Вагоны угнали, а тюрьма не принимает...

Молодой конвоир предлагает:

— Да пострелять их к е... не матери и — все!

— Ты что, о... ел? — это пожилой ответил.

Долго мы еще лежали. Прибыли три машины. За трупами.

Конвоир командует:

— Клади на машину!

Крайний в строю арестант отвечает:

— Сам клади. Ты в шубе, в тулупе, в валенках, а я голый, я весь обмороженный, я стоять не могу. Ты меня самого туда забрось.

Начали бросать людей на машины. Некоторые еще смотрели на нас открытыми глазами, может, глаза и мозг — то единственное, что не успело замерзнуть на лютом холоде. А на лицах — струйки замороженных слез... Некоторые взды-

хали почти беззвучно — их бросали туда же, на мертвецов, как поленья.

...Нагрузили машины верхом, тронулись, тихо едут, и мы идем вослед тихо.

Навстречу машина с хлебом, под военной охраной. Кто-то из заключенных бросился к машине. Солдат остановил его: — Товарищи, это детям хлеб, мы везем его детям, нельзя брать.

Раздалась автоматная очередь, арестант спрятал окровавленные руки за спину. Пошли дальше. В Саратовскую пересыльную тюрьму нас привели глубокой ночью. Завели в коридор. Камеры переполнены. В конце коридора — станковый пулемет. В другом конце — другой. И предупредили: — Кто поднимется, стреляем без предупреждения.

Из камер тихо спрашивают:

— Откуда прибыли? Кто вы?..

Мы были счастливы, мы прижимались друг к другу, мы лежали на деревянном полу, и снизу не дуло. Над нами был настоящий потолок, оттуда тоже не дуло...

Утром охранник объявил:

— Оправка вам будет после, как пройдут все камеры, а сейчас — давай в один конец коридора, да потесней! Кто голову поднимет — расстрел.

Выпустили одну камеру, сороковую. Тут приходит какой-то начальник:

— Справа становись русские, посередине — фашисты, слева — все остальные.

Мы переглянулись: кто же мы?.. И вот,— цыгане, армяне и я — встали посередине, с фашистами.

Новая команда:

— Фашисты,— в сороковую камеру! Живо!

Заходим, а там одни немцы... Обрадовались

нам. Но ведь нас не водили на оправку, не дали воды. Подошла я к двери, стучу, кричу:

— Дайте нам воды! Нам совсем не давали в дороге, мы погибаем. Всех водили на оправку, а мы не попали, просим вас, ради Христа..

— Завтра! — крикнул охранник в окошко. И добавил: — Смотри, больше не стучи, а то спустим в подвал...

Я язык к нёбу прижала – тогда у меня еще свои зубы были — прижала к нёбу язык и думаю: Боже, как позабыть о жажде. А мочевой пузырь режет ножами, все воспалено...

Кормили нас в тюрьме баландой, посуды никакой, один разбитый черепок на двадцать человек. Каждый норовит подцепить пальцами хоть зернышко крупяное, пальцем, которым перед этим вытирал то, что обычно вытирают бумагой. Ни воды, ни мыла, ничего...

...Лежит возле меня молодая женщина. Спрашиваю:

— За что вы сидите?

— Я мокрушка.

— Что это такое?

— Мы по мокрому делу. А ты фраерша, не понимаешь ни х.. Ну так слушай. Мы жили в маленьком доме, на первом этаже. Пришел мужик с толстым портфелем, попросил у соседки койку — остановиться на время... Соседка отказала. Тогда он сунулся к нам. Я посмотрела — ничего, подойдет. И согласилась. Поставила перед постояльцем чашку чая, а тут приходит муж, он работал мясником, в коридоре у него висел широкий топор. Муж поздоровался с приезжим и вышел. Вернулся с топором — и — сзади, так аккуратно раскроил ему череп, точно пополам. Потом

мы его разрубили на куски,сложили в мешок, отвезли на санках к реке — и в воду, в прорубь. Мы уже купили билеты на поезд, нас на вокзале и забрали. Соседи донесли. Так мы заработали по десятке.

— И это все, что вам дали?

— А сколько бы ты хотела?

— Я вот получила десять лет ни за что. А вы человека убили, и вам десять... Если бы я была у власти, я бы тех, кто убивает, казнила.

— Ах ты б...! Погоди, тебя еще в лагере казнят. Нас знаешь, сколько мокрушников и мокрушниц? Больше,чем вас, фраеров. Ты фраерша, ты не из нашего мира. А за что тебя посадили?

— Ни за что. Так, взяли и посадили.

— А ты что, жидовка?

— Нет, я немка.

— А, фашистка!.. Ну и х.. с вами. Скоро все подохнете.

ЛУИЗА ЛЮТГЕНС

Заметила я в камере одну молодую женщину с длинными черными волосами. Она все время прикрывала рот рукой. Звали ее Луизой. Она была вдовой Августа Лютгенса, рабочего-революционера из Гамоурга. Гитлер держал его пять лет, в тюрьме, потом казнил.

На Лубянку Луизу привезли в начале войны, жестоко пытали, выбили все зубы. Она стыдилась уродства, прятала запавший рот...

Ей отбили внутренности, она была страшно худа и вечно голодна. Я от баланды отказывалась, не могла есть из одной черепушки со всеми, не

могла видеть, как бедные женщины грязными пальцами вылавливали крупинки и делили клецки. Я отдавала Луизе свою баланду и от хлебной пайки отламывала кусок. Я все время спала,- может быть поэтому еще могла обходиться малым. В обед раздавался грохот, делил и вторую баланду, руками пересчитывали клецки, я отказывалась и от этого обеда. Луиза уговаривала меня, но я отдавала ей все. Она благодарила меня по-немецки: «Я не забуду это до конца жизни». Она не верила мне — будто я не хочу есть. Она обещала за меня выносить парашу, она готова была боготворить меня... А я приучила себя довольствоваться одним хлебом, 400 граммов мне хватало. Сколько меня не мучили в тюрьмах и на этапе, я была упитана более других. Ведь мама буквально закармливала меня. «Ешь, ешь, доченька, неизвестно, что еще в этой жизни может приключиться...» Она как в воду смотрела.

Я и на Лубянке не ела баланду, выливала в уборную. Потом объявила голодовку, тридцать дней не принимала пайки. Мне пригрозили, что будут кормить насильно. Я пообещала так дать ногой,— вместе с аппаратурой полетят к той стенке... Я могла это сделать, я была сильной, молодой. Конечно, и мои силы могли истощиться, но что-то еще осталось. На воле я была очень полной, руки — как у поросенка задние ножки... Так что я жила в тюрьме за счет собственного жира.

...Как она ела, бедная Луиза? Губы, синие, разбитые, почти черные, провалились внутрь, она все повторяла: «Стыдно, стыдно...» Я успокаивала ее: «Не мучайтесь, это же они, негодяи, выбили вам зубы». Глаза у нее черные, большие, красивые, ей было около тридцати, она такая хорошая,

привлекательная — даже изуродованная палачами.

Во время оправки уголовницы захватывали все места у рукомойников, никто не мог подойти к сосочкам, ни попить, ни руки помыть. Уголовницы занимали верхние нары, они были хозяевами тюрьмы...

Но на одном месте, возле открытого окна никто не ложился, там сильно дуло, зато было свободно. Там я и легла. Я очень хотела спать, меня восемь месяцев пытали бессонницей и на этапе мы не спали три недели...

В лагерь мы прибыли вместе с Луизой. Она все время хотела есть, она только об этом говорила, только об этом думала. Что они с ней сделали там, на Лубянке?

Однажды в лагере объявили набор поваров на дальнюю подкомандировку, на овечьи пастбища, в Чуйскую долину. Луиза вызвалась сразу. Охотников туда почти не было, ведь попасть в долину можно было только один раз в год, весной. Я пыталась отговорить ее, но Луиза отвечала: «Пусть я погибну, но я хочу последний раз в жизни поесть до сыта, а потом — что будет». Пришлось смириться. Главным чабаном там был Яша, он меня уважал. Я попросила его помочь бедной Луизе, просила не давать ее в обиду.

Ее послали к Зеленому озеру, возле станции Чу. Она все повторяла: «Я хочу хоть раз досыта наесться. Тогда я могу и умереть.» А чтобы не потерять совсем друг друга, мы договорились посылать с оказией тряпочки: я передаю старшему чабану для Луизы красный лоскуток, она мне — кусочек мешковины. Это мне весть: она еще жива. Бумаги, карандаша не было и в

помине — ни у нее, ни у меня. Это же лагерь.

Яша рассказывал, что Луизе подбрасывали ягнят, которые появлялись у овец по дороге, во время перегона отары. Этих ягнят она выхаживала, растила, потом питалась ими. Хлеба там не видели,соли тоже, но Яша завозил ей ячменные зерна, из них можно было что-то печь, только размолоть надо было. У Луизы ведь не было ни одного зуба, как она там ела ? В лагере с зубами обходились просто — пожалуешься лекпому,— мол, зуб болит, так при первом же посещении дантиста выдернут этот зуб и — марш на работу. Протезирование? Это слово, если кто и помнил с воли, здесь забывал.

...Минуло три года, война шла к концу. Весной сорок пятого появился в зоне Яша: «Матильда, не привез я тебе ничего от Луизы. Мы нашли ее скелет, она лежала на топчане, в кухне, окна и двери — открыты. На скелете — крысиный помет. Крысы обглодали каждую косточку, даже связки, хрящики все сожрали, остались лишь клочки черных и седых волос (она в тюрьме поседела). Я спросила Яшу:

— Она хоть поправилась немного?

— Нет, она стала страшная, как привидение. Глаза огромные, черные, волосы побелели. Она была слишком истощена, очень болела, наверно ей в тюрьме отбили внутренности, ни мясо, ни ячмень ей уже не помогли, может это питание шло ей во вред... Она жила одна, а кругом — волки, стаи волков... Мы проведывали ее только два раза в год, там же горы, глубокий снег, зима лютая...

Я спросила Яшу:

— Вы ее так и оставили, Луизу, не похоронили?

— Что я мог сделать? Только кости с топчана ссыпать. Ведь крысы ничего не оставили. Да и кто будет долбить могилу, там одни камни... Пришлют нового человека, кости, может, сожгут на костре... Это же не овца. Вот если овца погибает, на нее составят акт, в двух экземплярах: — один в управление, второй — в ветеринарную часть.

А человек, это всего-навсего человек. Был и — нет его.

...Незадолго до отправки на Зеленое озеро Луиза опросила меня, когда я выйду на волю, найти книгу, где рассказано о казни ее мужа Августа Лютгенса. Она не просила разыскать дочерей, разве можно это сделать советской подданой, это же будет — связь с врагами.

...В Москве я пошла в библиотеку. В одной книге — она называется «Воспрянет род людской» — помещена фотография молодого моряка Августа Лютгенса. За участие в революционном движении он был приговорен в двадцати годам каторги, бежал из Бременской тюрьмы, потом вернулся в Германию. Его схватили в Гамбурге-Альтоне летом 1932 года. Казнили Лютгенса публично, на площади, в присутствии жены и политзаключенных. В последнюю минуту он попросил снять в него кандалы, ему не отказали в предсмертной просьбе. Лютгенс поднял свободные руки, потянулся, соединил кулаки и обрушил их на голову палача. Палач упал замертво. Лютгенса обезглавили. Луиза лишилась чувства. Перед смертью Август успел крикнуть:

— Я умираю за пролетарскую революцию!

Для вдовы эти слова стали завещанием. А двум

дочерям Лютгенс оставил накануне казни письмо: «...Дорогие дети! Когда вы получите это письмо, вашего папы уже не будет... когда вы подрастете и будете изучать всемирную историю, то поймете, кем был ваш папа, за что он боролся и умер. И вы поймете, почему ваш папа поступил так, а не иначе. Итак, растите борцами. Прощайте!»

Лариса

Невмоготу было в лагере первое время. На общих работах никто не выживал. Одна надежда — вырваться за зону, в ВОХРу, прачкой или поварихой. Приедут в Просторное плантаторы — мы их звали купцами — набирать девок. Ходят и смотрят на этот скот, то есть на нас. Кому охота в зоне сидеть на цепи, подыхать от непосильной работы и голода? Каждая старается выглядеть привлекательней. Иная умоляет:

— Гражданин начальник, возьмите меня, я буду все для вас делать, я умею готовить, вязать, я буду ухаживать за вашими детьми... Умоляю, возьмите, возьмите...

Смилостивится купец, заберет.

Я тогда молодая еще была, красивая, меня охотно брали в прачки. Однажды вернулась в свою зону через полгода, меня спрашивают:

— Где работала?

— У начальника в постели затылком наволочки стирала...

Первые пять лет трудно было, а потом перезнакомились, приспособились. Там был Мебония, добрый человек, заведующий зерновым складом. Он четвертый раз сидел, много о Сталине знал.

Раньше он в правительстве меньшевиков состоял. Ему смертный приговор на врагов принесли, он подписать отказался. Я, говорит, им жизнь не дал, я не имею права у них жизнь отнимать. Не хотел он большевиков стрелять. Хороший, хороший был человек. Он нам мясо даже давал.

Заведующим пекарней был немец, тоже очень хороший человек. Он нам хлеб пшеничный давал, иногда муки, мы пельмени даже делали... Бывало, крупы ячменной даст, которая для лошадей предназначена, а в середку спрячет мешочек муки. Он не всем давал, это он мне давал, я учетчицей была.

ПРОСТОРНОЕ. СИВКОВ

Матильда

Меня из Долинки привезли в Просторное, на лагпункт, отведенный специально для немцев. Ходить я не могла, бруцеллез поразил суставы, палку держать не могла, даже двумя руками. Наш этап принимало местное начальство. Меня заметил Сивков, начальник санчасти:

— Это что такое?

— Гражданин начальник, не могу ходить...

Доктор Сивков выбил ногой палку, на которую я опиралась. Я упала. Тогда он начал бить меня ногами в живот. Это у нас, заключенных ноги были обуты в ч у н и, изготовленные из старых автомобильных покрышек. Вольные начальники ходили в сапогах, в ботинках.

Бросили меня в барак, на нижних нарах места нет, на верхние я залезть не могу. Да и мочусь непрерывно: доктор мне все внутренности отбил. Сколько раз так били. И других женщин били...

Выкинули меня на двор, а уже октябрь стоит, холодно, дожди начались. Под стенкой конюшни-барака сделали мне ложе из камней, чья-то сердобольная рука бросила мне из оконца охапку сена, на подстилку.

Лежала я на виду, и женщины, уходя на работу, били меня ногами. Почему и не бить, если есть существо, еще более несчастное, чем они?.. Приходя с работы тоже били. И когда шли в столовую за баландой, били. Больше всех старались блатнячки — воровайки, мокрушницы, рецидивистки всех мастей. Эти были обуты в ботинки, наравне с вольными начальниками.

Лариса

Я жила на лагпункте в Просторном, работала бригадиром. Пришли мы однажды с работы в зону, видим,— на земле, возле барака лежит женщина. Ей плохо, она постелила под себя какую-то тряпку и лежит прямо на земле, а ее пинают ногами. Для блатных девок — это первое удовольствие. Я знала, что так уж заведено: слабого добивать до смерти. Но все ж вступилась:

— Что это вы ее? Что она вам сделала?

— Да она такая-сякая, она троцкистка.

— Я тоже троцкистка.

— Нет, ты не троцкистка, ты н а ш а.

Матильда

...Мерзла я страшно на камнях, особенно ночами. Одну только ночь я тогда провела в тепле, праздничную ночь под 7 ноября. День революции наши охранники сделали своим праздником: запирали всех в бараках, устраивали повальный шмон, все отбирали, даже иголки самодельные.Вот и меня втащили в барак. На одну ночь.

Скоро зима началась, там она морозная, снежная, нашлось и мне место в бараке. А к весне я уже ползать начала.

Лариса

...Рано утром на разводе эту женщину тоже бьют, толкают, она идти не может, а ее все бьют. Вижу такое дело и говорю ей:

— Пойдем.

— Не могу...

— Пойдем, пойдем. Не бойся, сделаем норму за тебя, подкормишься, окрепнешь. Иначе пропадешь.

Ну, сделала я за нее норму, и за себя, конечно, поволокли ее домой. Только вот Сивков, начальник санчасти, уж очень взъелся на эту женщину.

Матильда

Сивков не терпел немцев, хотя сам был женат на немке. Она красиво вышивала, болела только очень и вскоре умерла. Потом подошла очередь Сивкова, он умирал от рака горла. Перед смертью

Сивков просил начальника похоронить его так, чтобы зеки не вырыли. Главное — одежду заранее всю порезать, а то ведь выроют и снимут с мертвого. Когда его хоронили, поставили гроб на две скамьи и изрезали голубую рубаху на ленточки. Брюки исполосовали и ботинки.

Его все зеки ненавидели и каждый, кто попадал на кладбище, испражнялся на его могиле.

Лариса решила взять меня на посевную, в другую зону. Ходить я еще не могла, она настояла:

— Давай, давай! — Потащили меня. Терехов увидел, начальник ОЛПа (отдельного лагерного пункта):

— Куда ты эту тварь тащишь?

— Ничего, будет работать: привяжем ее руку к точилу — пусть крутит...

Все же настояла на своем Лариса, вывезла меня на санях — летом тоже на санях грузы перевозили. Прибыли на полевой стан Ардабас, в двадцати пяти километрах от Просторного. Я не то что работать, стоять прямо не могла. Поля по одну сторону от дороги засеяли пшеницей, по другую сторону рос подсолнух.

Инструмент затачивал Адам Адамович, старый немец из-под Перми. Руки у меня отекли, как стеклянные были. Он привязывает мою руку к точилу, а у самого — слезы на глазах...

Если бы не он, да Лариса, пропала бы я в первый же год.

Лариса

Меня забрали с Белореченской, в тридцать седьмом. Было мне тогда тридцать лет, а младшему сыну — шесть с половиной. Работала я на стан-

ции, на железной дороге, ни в чем я не была виновата, ничего не сделала, а написала на меня сестра мужа. Это я уже потом узнала, в конце следствия, что по ее доносу меня взяли. Управление МВД находилось в Туапсе, туда меня и отправили. Там сильно били, пятеро мужиков били. Повалят меня на пол — сапогами, сапогами. В это время музыка у них играла, патефон они заводили, танго играли «Брызги шампанского» и еще что -то подобное. Крики мои заглушали. Однажды убежала от них. Там был такой длинный коридор, меня в нем держали на стуле. А в камеру не запирали, в камерах мужчины сидели. По коридору ходили два стрелка, и был там еще один маленький коридорчик, из него — дверь во двор. Я эту дверь сразу не заметила, а потом, на третьи или четвертые сутки, под вечер, решилась: подошла незаметно к двери и выскочила на волю. Меня каждый вечер били, часов в одиннадцать принимались бить, я не могла больше терпеть. Выбежала во двор, а напротив — забор. Откуда Бог дал силы,— перемахнула через забор, выскочила на шоссе. Вижу, идет какой-то мужчина, я бросилась к нему: «Спаси меня! Спасите, товарищ! Они меня убьют!..» Но он испугался, отворачивается... Вижу — за мной уже бегут стрелок и следователь. Взяли меня, а следователь говорит: «Ну что вы разнервничались, успокойтесь». Ласково так говорит.

Вечером опять меня били. И еще один день. Избили и бросили чуть живую на полу. Я как только очнулась, часа в два ночи это было, сказала им: «Давайте все подпишу. Только дайте мне прочитать, что там написано». Вот я читаю дело с самого начала. Родилась я, значит, в 1907 году в

семье помещика и принадлежала к дворянскому сословию. Это так они написали. Нет, говорю, не буду подписывать. Я простая крестьянка, зачем же вы меня в дворяне произвели?

А зря я сразу им не подписала, они бы тогда мне дали пять лет и — лады. Я же все отказывалась, они со мной пять дней мучались. Вот и дали десятку...

Как только я бумаги подписала, меня отправили в Майкоп, оттуда — в Краснодар. В тюрьме я получила приговор — решение тройки УВД из Ростова: десять лет лагерей. Решение вынесли 4 июля 1938 года — эту дату на всю жизнь запомнила. И как меня в Майкоп везли из Туапсе. Помоему, они звери, они извращенные, они садисты. Посадили меня в такую маленькую платформу, не платформу — вагончик, «калужанка» называется. Сижу впереди, в сторонке от моториста, а сзади — два гебиста. Пьяные. Вдруг приказывают:

— Сиди, не двигайся, сиди смирно.— И начали стрелять сзади — хлоп, хлоп, хлоп,— из револьвера, только пули свистят мимо ушей: вжик, вжик...— Сиди, не поворачивайся!

А сами стреляют. Не в голову, а рядом. Стекло дырявят в оконце. Калужанка проезжает родную Белоречнскую, они стреляют и смеются...

Я никогда не поверила бы, что у нас в стране может такое твориться, пока на себе не испытала.

В Майкопе привезли меня в тюрьму, привели в камеру, а там негде сесть, войти даже нельзя. Втиснули меня с трудом. Лежали женщины арестованные на полу «замком», тесно, ногами сплелись.Поворачивались все вместе, по команде.

Не лучше было и в Краснодаре, но оттуда уже поехали этапом в Казахстан.

ЛЕСНОЕ

Лариса

Скоро послали меня в Лесное, на посевную, бригадиром-учетчиком тракторной бригады. Я умела очень хорошо выписывать хлеб, паек дневной, акты составляла, простои оформляла, все нормы знала. Этому меня научили в Долинке, на курсах нормировщиков при управлении лагеря. Потому меня все просили учетчиком в бригады.

Вот я одному бригадиру и говорю:

— Пойду к тебе, если возьмешь Матильду.

— А на кой черт она нужна?!

— Возьмешь ее горючевозом.

Не хотел он брать Матильду, а взял. Выехали мы в Лесное,ругаются все, преследую ее. На кого Бог, на того и люди...

Бригадир говорит мне:

— Иди, полюбуйся на свою Матильду...

Матильда взяла маленькую хворостину, подошла к быку. Он пасется себе, на нее не смотрит, а она подойти боится. Это ж такое мирное животное, никогда не обидит. Матильда он него отскакивает...

— Ты видишь? Кого ты мне дала, а?! — спрашивает бригадир.

— Ничего, она привыкнет. Человек в жизни не видел быка. Она привыкнет.

Помогла я Матильде надеть на быка хомут, сели мы с ней, поехали. Пока сидела рядом, она бодрилась, а как осталась одна, пала духом. Потом привыкла, стала хорошим горючевозом, хоть куда! Возила для тракторов бензин, автол и прочее.

Однажды накормила она быков пшеницей, да без меры.Их раздуло, еще малость и околеют. Зовет Матильда меня: «Ой, ой, ой...» Взяла я этих быков да и погнала в Просторное, шесть верст гнала — их только таким способом можно было спасти. Пригнала на место, там им сделали прокол, отходили мы их.

Такое она мне горе сделала...

После того случая уехала я учетчицей на овцеферму. И ее забрала с собой.

Матильда

Казахстанскую пшеницу подняли немцы. Это уже потом сочинили сказки — будто целину распахали комсомольцы. Сюда прибыли ссыльные немцы, сотни тысяч. Они освоили бескрайние степи, построили добротные каменные дома, отсыпали и вымостили дороги, развели овощи, засеяли поля хлебом, заложили свиноводческие хозяйства...

Когда простроили Турксиб, железную дорогу, все станции, все поселки заселяли в основном русскими. Они работали на станциях, в депо, на заводах. А землю поднимали, землю обрабатывали ссыльные немцы.

Началась война, и в Казахстан потянулись новые потоки ссыльных — переселяли целую республику, с Поволжья. Сюда, в Просторное, пригнали тысяч пять. Глазом нельзя было окинуть эту землю, отсюда и название местности ПРОСТОРНОЕ. Там было одиннадцать участков: Бринза, Лесное, Новая точка, Медине, Байчегир, Итульген...

На каждом лагпункте работало от трехсот до тысячи заключенных.

...Когда первые немцы распахали казахстанскую целину, превратили степь в богатую житницу, зерно не успевали вывозить. И в военные годы зерна было столько, что его с трудом перелопачивали, оно могло сгореть, испортиться. Какие сады высадили здесь — это тоже заслуга тружеников-немцев, русских было мало, единицы...

Года три назад я приезжала туда, в Казахстан, там у меня есть друзья. Хозяин, Генрих Генрихович, дает мне ключи от дома, ключи от машины:

— Матильда, вот, возьми, владей всем, только помоги получить визу на выезд в Германию, похлопочи — больше мне ничего не надо.

Я ничего не понимаю:

— Что вы делаете, у вас же не дом, а дворец, не комнаты — хоромы, и второй дом — кухня отдельно в саду, и гараж, и «Волга»... Чего вам не хватает?

— Воли, свободы мне не хватает. Я не имею даже права вернуться в Крым. Там, под Симферополем, у меня дом был лучше этого, меня выселили, разрешили взять с собой 20 килограммов вещей и — все... А я работал, я не спекулянт, мы все труженики... За что нам досталась эта доля?..

Сколько их выжило в лагере, «фашистов»? Почему их так называли, старых, поселян Крыма, Поволжья. И меня иначе, как фашисткой, не называли.

Лагерную каторгу более двух-трех месяцев никто вынести не мог. В зону конвой забирал

только тех, кто выполнил дневную норму. Им полагалась пайка — 450 граммов хлеба. Если не выполнишь — 300 граммов. И вкалывай до самой ночи.

В моей бригаде было всего десять человек, в бригадах по снегозадержанию — по двадцать пять — тридцать работяг. Они вырезали из снега кубы и складывали длинные стенки.

Самая тяжелая работа выпала на нашу долю и на долю саманной бригады. Саман — это глина, замешанная с соломой. Летом ли, зимой, бригада готовила из самана кирпичи для строительства домов. Все — помещения для охраны, бани, медпункты, бараки,— все строили из самана. Бригады ногами месили глину, по двенадцать — четырнадцать часов в сутки месили глину, голые пятки трескались, в иную трещину входил палец... Единственное лекарство, которое помогало, это собственная моча. Мужчины управлялись с лечением просто, женщинам было труднее. Посуды — никакой. Если кому удавалось найти консервную банку, это считалось редкой удачей. Каждая тряпочка, выброшенная вольными на помойку — богатство. Стирали тряпочку в песке, в золе, мыла не видели годами.

Кизяк ВОХРе возили для отопления. А у нас бараки никогда не отапливали. И в сорокаградусные морозы не топили. Если мы, зеки, проходя мимо вахты, несли хоть клок соломы, надзиратели отбирали. Мы должны были подыхать не только от голода и надрывной работы. Холод тоже работал на Сталина.

Матильде дали на короткий срок пропуск на бесконвойное хождение, пропуск под номером тринадцать. Охрана ее ненавидела. Стоило Матильде подойти к вахте и назвать свой номер,— дежурный переспрашивал с издевкой (придуривался): «Шо?..» Она повторяла: «Тринадцать». Дежурный орал: «Какого х.. ты тут болтаешь, не понимают тебя!»

Я обычно сзади Матильды шла. И на этот раз — сзади. Как дам ей в спину, она пролетела проход за зону как пуля из ружья... А я голову в окошко сунула: «Что она тебе, х..м ложку изо рта выбила что ли?!»

Дежурный схватил винтовку: «Я вот, Бондаренко, всажу тебе пулю промеж ног, тогда узнаешь...»

Что мне оставалось делать, как ответить? Снимаю при всех штаны, нагибаюсь и выставляю голый зад: «Стреляй, гад, стреляй! В зоне стрелять не будешь, сука!»

Женщины отворачивались. Потом они говорили Матильде по-немецки: «Фрау Матильда, это же позор, как вы можете дружить с этой проституткой?..»

Я на них не обижалась, я держала зло на охрану, на вертухаев. Бедная Тиля, она пыталась приспособиться, показывала цифру 13 на пальцах. Вертухай говорил: «Шо ты мене кажешь? Я тоби не понимаю. А ну, выходь, Хвышман!»

МАТИЛЬДА КАЧАЕТ ПРАВА

Матильда

Всякий раз, когда в зону прибывала какая-нибудь комиссия, меня запирали в баню на замок. Я не боялась начальников и говорила им всю правду, я просила войти в наше безысходное положение.

Кум забрал у заключенного Клюгера бриллиант, а квитанции не выдал. Начальник ВОХРы брал отборное зерно, по шесть-семь мешков, на корм кабанам. У них свиньи были, что вот этот платяной шкаф. Кабанов совсем закормили,— они уже стоять не могли...

Однажды в наш барак зашли приезжие начальники, я соскочила с нар:

— Граждане начальники, выслушайте нас, мы же люди, мы не скоты. Вот нас здесь 250 женщин, у каждой бывают менструации, мы ходим и спим в брюках. У нас нет ни капли воды... Загляните в нашу уборную,— там даже к стене нельзя прислониться... Мы же люди, мы же не животные, помогите нам, граждане начальники...

Начальство было местное, карлаговское. Один спрашивает меня:

— Как фамилия?

А наш начальник за меня отвечает:

— Это знаменитая Фишман, мы ее знаем.

— Что вы знаете? — спрашиваю я его.— Вы ничего не знаете! Вы преступники. Вы губите людей. Посмотрите, сколько здесь раковых больных, они заболели по вашей вине!

...С тех пор меня стали запирать в баню, лишь только слух пройдет, что к нам едет комиссия.

— Хвышлман, выходь,... твою мать! Выходь!

Там была одна комендантша, так она мне говорила:

— Фишман, вы позорите все бараки. Немцы хотят вас утопить.

Я ей ответила:

— Хорошо, я скажу Савельевой...

Лариса виртуозно владела языком, она так матюкалась, — никто не выдерживал. А я, никогда не слышавшая бранного слова — у нас красноармейцы разве что чертыхались — я должна была привыкать ко всему. И привыкла.

Однажды меня перед приездом начальства, как обычно, заперли в бане, но я выбила шайкой окно, вместе с рамой. Под окном, из-под бани, вытекали нечистоты. Зона большая, нечистоты текли зеленой, в белых разводах рекой. Зловоние стояло неописуемое... Спустила я ноги из окна и впервые в жизни помолилась: «Господи, помоги мне...» И прыгнула в эту гущу. Вынырнула, хватаю воздух, не могу достать ногами дна, еще выгребаю, дальше, стараюсь достать землю. Вырвалась и попластунски, как солдат, ползу по траве, очищаю всю эту слизь. Полтора километра ползла на брюхе, переворачивалась, обтиралась травой, да где там, разве все снимешь с себя... Так я доползла до Мебонии.

Мебония при мне начал четвертую десятку в лагере. Он из Гори, где родился и Сталин. Он рассказывал, каким тот был распутником. Будущий генсек сидел за воровство, он кого-то ограбил, утащил много серебряных вещей. Мебония говорил, что Сталин — никакой не политик, а вор. В духовной семинарии он тоже попался на краже. Таскался по монашкам, развратничал.

Мебония говорит мне:

— Матылда, умная женщина... В нашем бараке пятнадцать ленинградцев, все говорят — Матылда умная женщина. Зачем ты о д ы н идешь против советской власти? Ты дурной или что? Ничего нэ будит. Их право, их власть. Ты ничего не сделаешь. Ты что хочешь, на другую землю? Здесь Его власть, Сталина. Всэ остальные люди — Его жополизы, живоглоты... всэ, всэ, всэ! Они ему жопу целуют, а ты хочешь по другому сделать, да? Этот начальник, который приезжает сюда,— такая же сволочь, как тот, главный, кремлевский...

— Нет, я добьюсь правды, будет правда!

Мы услышали гудок автомобиля. Перед нами длинное здание, с километр, а внутри — перегородки, отсеки, там хранилось зерно. Его время от времени перелопачивали, чтобы не портилось, Мебония говорит:

— Как пойдешь? Видишь, на крыше стрелок? Один шаг сделаешь, он тебя стреляет.

А я свое:

— Как он повернется, пойдет туда, я побегу вдоль склада.

— Не побежишь, он услышит, песок будет хрустеть... Сейчас ты будешь мертвый.

— Посмотрим.

— Вай, вай, вай, Матылда! Женщина, хорошая женщина, что сам лезешь на смерть?.. Как жалко...

— Значит, судьба. Дай мне мешок, пожалуйста.

Добрый грузин дал мешок, я обтерла слизь — на шее, кругом. Стало легче дышать. Смотрю на стрелка — он дошел до края, повернулся. Когда он

дошел до середины, я на пальцах, на кончиках пальцев побежала, я делала огромные шаги, мне казалось, что из меня сейчас шпагат получится. Я так бежала и выстрела ждала, и верила, что проскочу... Бежала и угодила прямо к машине. Шофер затормозил. Мне кричат:

— Стой, стой!

Я остановилась.

— Откуда? — спрашивает меня какой-то начальник.

— Из бани.

— Как фамилия?

За меня ответил начальник нашего лагпункта Терехов:

— Ну, это известная Фишман.

А меня уже не остановить.

— Граждане начальники, выслушайте меня, у меня государственный вопрос, не личный, нет. Во имя государства, во имя Родины, на пользу войны я хочу с вами говорить.

...Что за начальник приехал, я не знала. Видела только, что он в черной шинели, с золотыми погонами. Это был прокурор, ездили иногда по лагерям прокуроры по надзору за местами заключения. С ним в машине сидели Терехов и кум. Я им говорю:

— Граждане начальники, вы меня потом расстреляйте, если увидите ложь, хоть одну каплю, хоть одно слово неправды,— казните меня. Сейчас идет война, Родина в опасности, у меня очень важный вопрос, государственно важный. Только выслушайте меня, обязательно выслушайте!.. А потом расстреляйте.— Говорю, повторяю, а у самой слезы текут по щекам...

— Из какого барака? — спрашивает меня приезжий.

— Из первого женского.

Заговорил опять Терехов:

— Это заводила на весь лагерь, знаменитый оратор...

Я не промолчала.

— Как угодно называйте, но я коммунистка, была коммунисткой и останусь. И убьете вы тоже коммунистку.

— Идите в барак и переоденьтесь. Вас вызовут.

— Сердечно вас благодарю.— Я низко поклонилась и добавила: — Я очень жду.

...Весь вечер я ждала, пришла ночь, это были мучительные минуты. Вызвали меня в два часа ночи. За мной пришел стрелок:

— Хвышман, выходь, .. твою мать!

Подошла к порогу, Лариса меня перекрестила.

— Матильда, ты сама себе смерть нашла.

— Ну и Бог с ней. Как судьба назначила, так и будет.

...Стрелок по дороге мне угрожал:

— Хвышман, сука, я тебе сейчас все пять пуль закатаю, ты никому покоя не даешь. Я тебя на месте порешу, б.. такая!

— Гражданин стрелок, если вы меня будете ругать, я на вас начальнику пожалуюсь. Они пусть меня ругают, вы — нет.

— Иди, иди, не оглядывайся, а то сейчас вот штыком пропорю!

Привели меня в «третью хату» — так называли дом ОЧО, оперативно-чекистского отдела, где кум сидел обычно. Завели меня в кабинет. Стою перед начальником, руки назад.

— Граждане начальники, милые, дорогие, разрешите сесть, у меня ноги дрожат, меня стрелок по дороге обещал уничтожить, хотел всю обойму выпустить в меня. Я сяду и скажу все, что я обязана вам сказать.

Мне дали табуретку.

— Граждане начальники, сейчас идет воина, не на жизнь, а на смерть.

— Это мы без тебя знаем.

— Конечно. Но сейчас я скажу главное. Бриллианты и золото нужны стране, как никогда. Равно как и хлеб...

— О каких бриллиантах вы говорите?

— А вот наш начальник, наш уполномоченный, Грибанов, взял у заключенной Крюгер кольцо с бриллиантом. Кольцо вернул, а бриллиант вытащил. Он должен был дать ей расписку.

— А что, разве заключенные могут иметь бриллианты?

— Нет, нет, все должно быть у государства, потому что сейчас идет война.

Начальники переглянулись.

— А ты знаешь, что заключенные не имеют права на вольных ничего говорить?

— А если он преступник, вор, разве и тогда нельзя? Ведь вот он вор, он разворовывает государственные ценности. Мой папа именем революции расстрелял в Ялте, в банке, Алдонова, присланного из Москвы. Он расстрелял его за то, что тот украл государственные деньги. А они здесь вот что делают. Наш гражданин начальник Терехов вскармливает свинью в два с половиной метра...

— Откуда ты знаешь, что она в два с половиной метра?

— Когда я сторожем была на току, он прислал своего конюха, и тот взял шесть мешков отборного зерна. Спрашиваю его: «Зачем тебе так много пшеницы?», а он: «Там такой кабан,— за два дня все сожрет. Он за час два ведра пшеницы съедает, огромный, более двух метров длины».

Начальники опять переглянулись. Я продолжаю.

— Возьмите начальника охраны. Это человек, который должен порядок соблюдать. Если заключенный взял горсть моркови, ему дают 10 лет. Если он запрячет в свои чуни сто граммов семечек, ему дают 10 лет. А начальник ВОХРы по десять мешков отборной пшеницы берет. Берет и предупреждает: «Если ты, б..., скажешь кому-нибудь, я тебя отсюда живой не выпущу». Я согласна не выйти отсюда живой. Но зерно он не имеет права воровать. Вы посмотрите сколько людей погибло, пока плотину разбирали и новую сделали. Сколько птицы, гусей, уток здесь плавает... Все это вскармливается на поте и крови заключенных. Они добывают это зерно для армии, а охранники выкармливают свиней и птицу для себя. Они выменивают у нас, заключенных, золотые коронки, дают кусок хлеба за зуб.

В общем, я сказала все-все... Они только переглядывались. А тот, в черном, даже вроде улыбнулся мне, придал мне уверенности, подбодрил. А закончила я так:

— Пусть я уйду из жизни, но я буду знать, что этих преступников уберут отсюда. Если заключенному за сто граммов дают пять и десять лет, то им надо давать, этим ворюгам с партбилетами, по

двадцать пять. Все. Больше у меня к вам ничего нет.

— Отведите ее в барак,— распорядился начальник.

Лариса

Матильда захотела в лагере порядок установить... Какая-то немка пришла: у нее бриллиант из кольца потерялся. Ну какое твое собачье дело? Пусть хоть двадцать бриллиантов пропадает.

Приехала комиссия из Москвы. Матильда на работу не пошла, притворилась тяжелобольной, лежит на нарах. Заходит в барак комиссия, кто-то командует:

— Встать!

Матильда лежит:

— Почему я должна вставать? Я больна. Вы лучше посмотрите, на чем мы лежим? Мы на жердях лежим. Каково это после тяжелого дня...

Матильда разошлась, не остановить... Она и про жерди и про посуду, мол, в той же миске, из которой едим, в ней же и трусы замываем. В общем, начала она порядки свои выказывать, а комиссии все это ни к чему. Есть такая пословица: собака собаку не съест.

Верно, начальника лагеря сняли. Его вот за что сняли. В совхозе были племенные лошади, не лошади — красавцы писанные. Начальник обменял их на местных, казахских. Те были никудышные, смотреть не на что — ни работы с них, ни виду. Зато большие деньги с казахов взял начальник. Это он во время войны сделал.

...Пока ждала Матильду, я не спала, всех богов помянула, думала больше свою Тилю не увижу. Наконец она пришла, а говорить не может, обещала завтра, на работе все рассказать.

Утром вся зона узнала: начальника нашего лагеря и кума, да и начальника охраны убрали. Стрелки между собой: «Слышишь, эта б... Фишман всех нас засыпала. Но ничего, мы ей устроим...»

Матильда

...На работу часто следовали с бригадами мужчин. Им было легче, они могли на ходу облегчать мочевой пузырь. Женщины просились, но конвой не разрешал. Иногда разрешал и убивал, ведь шаг влево — шаг вправо считалось «попыткой»... Некоторые стрелки натренировались одной пулей убивать двоих. За голову платили 60 рублей. Я всегда мочилась на ходу. (Все это разбавляется с мензесом, бахилы — так называли лагерные ботинки — чуни или бахилы — тоже немного впитывали). Но я никогда не просила конвой пустить меня в сторонку. Лариса шла сзади и приговаривала: «Давай, давай, не держи, я все потом отмою». И она брала мою одежду полоскать в речке. Если бы не она, меня давно бы там казнили. Она меня не отпускала ни на шаг, нигде, ни на минуту.

В буран нас все равно водили на работу. Ходили вдоль веревки, держались за нее крепко. Если кто отпустит веревку, или ветром его оторвет, он на шаг-другой отстанет от ряда, стрелок

сзади пристрелит. Пихнет в сторону и прикончит. В буран не слышно выстрела.

Охранник не оставит вас ни за что, он вас добьет.

Один раз меня ветром оторвало от веревки, Лариса ухватила за ворот, она порвала его, но спасла от верной гибели.

Лариса

— Передай Матылде, зачем себя не жалеет. Она умная женщина, хорошая женщина, почему не понимает — одна против машины идет? Вот я расписался за четвертую десятку и молчу. Что я один могу сделать? У нас в зоне, в бараке, ленинградские люди тоже хотят на Матылду посмотреть — что за человек, одна думает все перевернуть, она живая отсюда не выйдет...

Все уже знали, что начальников и старого кума сняли по ее заявлению, после разговора с прокурором. Бывало, идет она мимо больницы, а оттуда кричат:

— Мать, голос, голос!

Они хотели услышать Матильду.

Вызвал ее новый кум, ЕРМОЛЕНКО — это имя тоже надо запомнить и обнародовать. Пусть все знают наших палачей.

Вызывает Ермоленко:

— Фишман, что это у вас за условная перекличка с заключенными?

— Откуда я знаю? Вы же сами прикрепили меня к мужской зоне. Они меня спрашивают — приду ли я сегодня. Я отвечаю — когда приду. Вот и все.

СТАРАЯ ЧЕКИСТКА

Матильда

Стала я работать в мужской зоне. Первым делом пришла в барак, где жили ленинградцы. Их сюда привезли давно, задолго до войны. Спрашиваю одного:

— Скажите, папаша, вы здесь все из Ленинграда. Кто именно убил Кирова?

— Сперва скажите мне, за что вы сидите?

— Я сижу ни за что,— ответила я твердо.

— Вы, значит, ни за что сидите. А мы за что? У вас голова работает?

— Трудно ответить... Может, она теперь и не работает...

— Так вот, слушайте, убил один человек, по указанию правительства. А вы ищете убийцу среди нас... Мы просто жители Ленинграда, и виновны в убийстве Кирова не более, чем вы.

— Спасибо вам,— сказала я и подумала: как он осторожен, говорит «правительство», не называет того, единственного...

А он:

— Может быть, вы доживете до воли, запомните: в нашем бараке 250 человек, каждый день кто-нибудь умирает, от голода, от холода. Нас взяли летом, без одежды, без вещей, в бараке нет печи, стены позеленели, стены не выдерживают этой сырости, здесь же нельзя жить, нельзя выжить... Скажите там, в санчасти...

Что я могла сделать? Я обошла все бараки, там было грязно, до отвращения грязно, не то что у ленинградцев. Это были интеллигентные люди, от

них я за все время не слышала ни одного бранного слова, они умирали с достоинством.

В бараке уголовников мне пришлось лечить мальчика. Урки дали ему женское имя «Катя» и насиловали его зверски. Он страшно страдал, ему все разорвали... Великой хитростью достала вазелин, принесла ему. Он, бедный, лежал и стонал...

...Однажды направили в мужскую зону врача-стоматолога, еврейку. Ее сразу же завербовал кум, взял с нее подписку. Вскоре ей представился случай для доноса. Проходя по БУРу (бараку усиленного режима), она заметила возле окна стальную стрелу. Запертые в бараке штрафники устроили там подобие тира: нарисовали на стене круглую мишень и состязались в метании стрелы в цель.

Старушка-врач донесла, пришли надзиратели, устроили шмон (обыск) и нашли стрелу. Когда на другой день доктор пришла в барак, ее раскачали и бросили на проволочное ограждение, на провода под током высокого напряжения. Так казнили стукачку.

Назначили в эту зону лекпомом бывшего учителя. И этого несчастного кум завербовал. Учитель был тоже стар, изголодался, и готов был служить за кусок хлеба самому дьяволу. Начал и он доносить на заключенных, таких же, как сам. Они взяли его, скрутили, достали из ящичка, который он постоянно носил с собой, бинт, и этим бинтом привязали член к двери. Рот закрыли кляпом — и давай тянуть. Кончился дед...

Вызывает кум меня:

— Пойдешь работать в БУР лекпомом.

— Что ж,— отвечаю,— что ж, я пойду туда, куда пошлют.

— Но ты должна дать расписку — обязательство,— закончил кум.

— Нет, на это вы не рассчитывайте,— ответила я.— Нет, гражданин начальник, вы уже погубили двоих, бабку и деда, а мне жить еще не надоело.

— Тогда пойдешь в общую зону.

...В эту ночь я не спала. Вспомнила молодые свои чекистские годы.

* * *

После землетрясения 1927 года пострадали все города и поселки южного берега Крыма. От Ялты почти ничего не осталось, и уцелевших служащих направляли в другие города. Я попала в Абхазию, в Сухуми.

Подошел 1936 год. Массовый террор набирал темпы. Братские народы Закавказья страдали от истребительной внутренней войны не меньше народов России. Наместник Сталина на Кавказе Берия знал о пристрастии Большого Папы и уничтожал грузин, мингрелов, абхазцев десятками тысяч.

Подследственных в Сухумском управлении НКВД держали в подвале. Однажды, спускаясь за чем-то вниз, я увидела на лестничной площадке нечто вроде стеклянного шкафа, а внутри — человека, изможденного, полуживого. По запавшим желтым щекам стекали капли пота. Может быть, то были слезы? В узнике я опознала знакомого партийца. Забыла фамилию... Имя помню — Илларион. В стеклянный шкаф не проникал свежий

воздух. Илларион потерял сознание, свалился со стула. В такие шкафы помещали самых упорных узников, тех, что не подписывали чистосердечные признания...

К тому времени я уже начала привыкать к местным художествам, но стеклянный гроб!.. Я поднялась в кабинет Ладария, наркома внутренних дел Абхазии, положила на стол партбилет и заявила, что отказываюсь работать в этом учреждении.

— Можете заодно исключить меня из партии.

— Не хочешь работать у нас, сдохнешь от чахотки,— сказал нарком.— На, забирай свой партбилет. Пойдешь работать в санаторий «Азра» для больных туберкулезом горла.

МЕТЕЛЬ

Матильда

Однажды спецконвой отвел меня в Просторное по вызову начальника ветеринарной части. Его жена пыталась вызвать искусственные роды, сделала неудачный аборт, открылось кровотечение. Я имела специальность фельдшера-акушерки,— мне удалось спасти женщину. Провожая меня в обратный путь, начальник дал своего возницу, запряг в сани племенного жеребца. Путь на участок Медине, откуда меня привели сюда, лежал через снежные поля, мимо сопок. Долго ехали, очень долго, пора бы уже быть зоне. Возница спрашивает:

— Доктор, доктор, ты вешки видишь?

Вешками, жердями, поставленными вдоль санного пути, обозначали дорогу. Возница был с одним глазом. плохо видел. Я пригляделась к обочине.

— Нет, никаких вешек не вижу...

— Значит, мы заблудились.

Начиналась метель, на мне была одна телогрейка, возница же поехал в меховом тулупе. Конь притащил сани в глубокую лощину и завяз в глубоком снегу.

— За этого коня нам с тобой еще по десятке дадут, у него яйца отмерзнут,— заметил возница.

— Выпрягайте.

— У меня руки замерзли, ничего не чувствуют, пальцы закоченели.

Тогда я выскочила из саней, рассупонила, выпрягла коня, ударила по крупу, и он пошел, пошел сам и пришел в Просторное. Там догадались, что с людьми случилась беда, отправились искать. Об этом я узнала потом, а пока надо было спасть жизни. Я забыла упомянуть, что начальник ветчасти подарил мне совковую лопату. В лагере это — целое богатство! Вот этой лопатой я начала сгребать снег, вырезать кубы твердого снега и строить перед санями заслон от ветра. Он усилился, поземка свистела, наметала огромные сугробы. Сани были невелики, я соорудила из них подобие крыши и — дом готов. Только вырыла под крышей яму в снегу, позвала возницу. Но он отказался двинуться с места, закутался в свою шубу и сидит. Я стащила его силой в яму. Мне бывалые зеки говорили — застанет в пути метель,— выкопай яму, устрой берлогу и не вылезай, пока ветер не стихнет...

Только мы устроились, слышу — жуткий вой,

лязганье зубов, возня на крыше. Это волчья стая пыталась до нас добраться. Волки скребли когтями по саням, рычали... Вспомнила я другой совет: когда на тебя в степи нападут волки, не кричи, а вой, вой по-волчьи, да грозно вой,— волки испугаются и отстанут. Не знаю, что отпугнуло волков, может быть, и мои завывания, но их скоро не стало слышно. Возница затих в своей толстой шубе, да так и застыл навсегда. Я согревалась песнями боевой молодости.

Все пушки, пушки грохотали,
Трещал наш пулемет,
Кадеты отступали,—
Мы двигались вперед!

Вот так я пела до рассвета, утром выбралась из своей берлоги. Метель стихла, снега нанесло целые горы, если нас кто искал, то найти под снегом не мог. Я взобралась на сопку и разглядела внизу, в долине, дымок над длинной крышей кошары. Это была овцеферма Егинджал. Я увидела, как из кошары выводили отару овец и кинулась по глубокому снегу вниз, навстречу. Овец охраняли огромные сторожевые собаки, они бросились ко мне. Еывалые люди советовали не убегать от собак, а вставать на четвереньки и рычать на них. Я упала в снег и зарылась поглубже: этих собак не смог бы напугать сам черт, так огромны и свирепы они были. За собаками спешил человек с граблями, он кричал что-то, пытаясь их остановить, но собаки были уже возле меня. Они бы меня загрызли, разорвали бы на куски, будь я на ногах... Человек откопал меня и помог дойти до кошары. Две недели пробыла я на участке Егинджал, пришла в себя, поправилась.

АРЕСТАНТСКИЕ РАДОСТИ

Матильда

Мы умирали с голоду. Но была у нас одна радость — собачья кухня. Она находилась неподалеку от нашей жилой зоны, и проходя мимо нее, колонна всякий раз замедляла шаг: из кухни доносились волшебные запахи мяса, настоящего мяса. И овсянки. Мы шли и мысленно обедали с ними, мы ели по-человечески, внюхиваясь в собачью стряпню... Мы шли медленнее, еще медленнее, мы готовы были совсем остановиться, но раздавалась команда:

— Прибавить шаг! Давай, давай, ...вашу мать!

Случались праздники и на нашей арестантской кухне, когда поступала баранина. Не совсем баранина, а внутренности павших овец. Если в кошаре чабан обнаружит павшую овцу, туберкулезную, он вспарывает брюхо и первым делом вытаскивает легкие, желудок, кишки,— все внутренности. Они сплошь загноились, смердят... Вот эта «баранина» и поступала на нашу кухню. На радость заключенным. В этот день я баланду не ела, я знала, какое мясо плавало в нашем «супе»...

Лариса

Мне довелось работать на овцеферме, в ветеринарной части. Я там выходила, вырастила маленького баранчика, Борьку. Он бегал за мной, как привязанный. Подрос немного Борька и пропал. Прихожу как-то к себе, вижу, мой Борька уже

висит, шкурку беленькую содрали. Подъехала бедарка (двуколка) начальника, туда забросили тушку и увезли.

Матильда

Начальники не одно зерно таскали государственное. В каждой отаре овец паслись частные овцы охранников, начальников, оперативников... Куму и начальнику лагеря ежедневно поставляли ярочек на обед. У них к столу всегда были свежие овощи. Нас, заключенных, кормили годами одной баландой. Это были самые настоящие истребительные лагеря. Если тебя не подстрелит охранник, голод подточит.

На овцеферме мы лежали взаперти в кошаре на овечьем навозе. Немцам доить овец не позволяли и — мне заодно. Так я ни разу и не попробовала овечьего молока, зато бруцеллез на всю жизнь приобрела. Дойку доверяли только казахам. Смотрю, как молоко в ведра стекает, и плачу. Охранник следит:

— Хвышман, что глазами сцышь! А ну, выходь!

Сколько лет потом снился мне один и тот же сон. Я купила кувшин молока. Топленого, с пенкой. Только поднесу кувшин ко рту, пенку губами возьму...«Подъем! На развод!»

Поднимаюсь с нар, плачу. Я уж просила одного заключенного священника:

— Батюшка, как надо молиться на ночь, чтоб приснилась мама?

Он не знал...

Лариса

Нам все завидовали: мать прислала мне два гребешка костяных, вычесывать вшей. Все к нам подлизывались. Вычесать вшей из головы — тоже праздник. Сплошные праздники...

А еще у нас был — неслыханное богатство в зоне — котелок. Так меня и звали: «Курва с котелком».

Матильда

Лариса добыла котеночка. Ходила к какому-то старичку, любезничала с ним, он давал ей иногда бутылочку молока козьего. Так она выкормила этого котенка. Выросла настоящая кошка, да какая! Она наловчилась ловить всякую живность: то двух сусликов принесет, то крыс или мышей... Лариса считала добычу, делила пополам и приговаривала: «У меня есть ножичек (то был лагерный нож, осколок пилы, заточенный об камень), у меня есть сковородка (кусок железа с ладонь величиной), сейчас мы их зажарим... «Она отрывала головы сусликам (делила: «тебе и мне, тебе и мне...») и срывала шкурку как перчатку, отрезала лапки, с кишок снимала сало, потом, как беркут вырывала в высокой траве дикий чеснок, это была приправа...

Лариса

Сварим с Матильдой сусликов или мышей, я ем и приговариваю:

— Смотри, Тиля, не глотай сразу, ты подержи

во рту, чтобы почувствовать мясо. Да косточку пососи, погрызи, погрызи косточку-то...

— Так зубов же нет...

— Ну и х.. с ними, что нет. А ты все равно грызи.

Мыши как воробушки, маленькие, косточки тоненькие... Воробьев мы тоже ели. Мы их нанизывали на острую палку и — на огонь. Только-только обгорят перышки — и в рот. Соли не было, но они шли полусырые, прямо с палки. Это был наш шашлык, фирменное блюдо. Где мы брали воробьев? Я достала крепкую, ровную палку, как биту. С этой палкой я бегала к Мебонии, на зерновой склад. Он меня очень любил. Там у него воробьев было видимо-невидимо... Кину палку и одним махом четырех, а то и пятерых подобью. Тем и спасались.

Кошку, которая нас с Тилей кормила, мы называла мамой. Ее застрелил охранник Кабиров, б... такая. Разве это забудешь? Нас кто-то продал. Ведь кошка таскала нам живность. Значит, жизнь наша будет продлена. Кто же это потерпит?.. Арестантки завидовали:

— Откуда у вас мясо?

Я отвечала:

— Вот наш начальник снабжения,— и указывала на кошку. Она была беленькая, наша кормилица, Кабиров увидел ее возле нашего барака и пристрелил.

Матильда

Мы с Ларисой посадили картофель. Мы его окапывали, поливали как могли. Картошка выросла

вот такая, в кулак. Охранники тоже посадили картофель, но они же ничего делать не хотели, картошка уродилась у них мелкая. Они у нас крупную отобрали, а нам дали свою. Щедрые люди: могли ведь ничего не оставить, просто отобрать нашу... Лариса стала их матюкать. Они подняли винтовки:

— Становись.

Я упала им в ноги:

— Не надо, не надо! Убивайте нас вместе.

Лариса

...Они повели нас вместе в зону. Завели меня внутрь, а Матильду выпустили за зону, там, где мы рядом с проволочным ограждением устроили свой огород. Она написала ксиву: «Ларисочка родненькая, пойди к пузику». (Мы условились называть кума «пузиком», а начальника лагеря — Веревкиным). Я ответила: «Не пойду я ни к каким пузикам, пусть я пропаду, пусть меня водят под конвоем, пусть я погибну — никуда не пойду». Это я впервые сорвалась, с этой картошкой...

Матильда

А сколько радости приносил банный день... Один раз в двадцать дней нам давали шайку деревянную воды со щелоком из караганника, это настой такой. Если ты хотела напиться и помыть хоть что-то, ты просила банщика: «Не надо, не надо щелока...» И вот ты пила сколько хотела; один

раз за двадцать дней — сколько хотела, а остатки уж выливала на одно место. Все тело оставалось немытым. Женщины в ватных штанах вытряхивали их после прожарки — в банный день полагалась дезинфекция одежды — перед каждой насыпалась кучка красной трухи. Все ходили с мокрыми по щиколотку ногами, в зловонной крови. От всех несло мертвечиной.

Лариса

Зато ягод было сколько душе угодно!

Ягодник в саду занимал 40 га, очень много было черной смородины, крупной, душистой. Ягоды собирали тоже мы, зеки, только пробовать нам не давали, суки. Норму назначали нечеловеческую, а не выполнишь — в карцер, на 300 граммов хлеба. Охранники следили строго, увидят, если кто ягоды в рот положил, крикнут: «Чего жрешь, б...!» И сапогом под зад, по хребту. Сами ели сколько хотелось, и кошелками домой уносили. Все ягоды — к столу начальников.

Матильда

В дни праздников мы тоже радовались. Радовались, глядя на начальников. У них гремела музыка, там плясали, пели. Особую радость им доставляла песня «Широка страна моя родная» и эти строки:

...Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

В эти дни нас, предварительно обыскав как следует, раздевали догола, ставили на голову, женщин тоже (заглядывали во все места, рылись везде, каждую жердочку обнюхивали — это называлось «пролетарским шмоном»), в эти дни нас запирали на замок в полуразрушенных бараках, мы жались по стенкам и наблюдали в щели, выглядывали в окошки: начальство гуляет...

КЛАДБИЩЕ

Умирали часто, в бараках, в лазарете — от истощения, от непосильного труда. Трупы вывозили на повозке, запряженной быком, зимой — на санях. Санитары накладывали мертвяков штабелем: сначала один ряд, потом, поперек — второй, сверху еще один. Штабель перевязывали веревкой, чтобы в дороге никто не потерялся. Бык так просто с места не трогал, пока ему не крикнут: «Цоб, ...твою мать!», он стоял неподвижно. Зато получив привычную команду, тащился на кладбище сам. Придем на место, встанет и начинает трясти сани с боку на бок, скинет всех мертвецов и замычит. Придут могильщики, чуть набросают сверху мерзлых комьев земли, вот и все похороны.

Но случались покойники другой категории, низшей. В нашем лагере расстреливали почти каждый день. Ночью поднимали очередную жертву «на этап» с вещами. Выводили за сопки и пускали «в расход». Там и бросали тела. По весне стаи ворон кружили над тем местом. Сбегались одичавшие собаки, растаскивали трупы, носились по поселку, а в пасти — оторванные руки, ноги...

Вороны от покойников белые косточки оставляли.

Кладбищем распоряжался Брендель, польский еврей, родом из Львова. Он получал из дома богатые посылки. Надо было случиться такому,— жена кума, лагерного уполномоченного органов госбезопасности, увлекалась вышиванием. Жизнь в Просторном сытая, тихая, что ей было делать? Брендель написал домой, оттуда прислали ниток мулине. За это кум назначил его старшим на кладбище. Мы годами не видели никакого мыла, а от Бренделя — об этом не могла мечтать ни одна лагерница — он него пахло земляничным мылом...

Основным поставщиком в хозяйстве Бренделя была больница, а в той лагерной больнице — палата № 40. Сюда помещали безнадежных. Они умирали ежедневно, истощенные до такой степени, когда уже пища не впрок, организм ничего не принимает. Я ходила между коек, присаживалась к умирающим. Их было нетрудно угадать: перед смертью бедняги в последний раз лихорадочным взором окидывали барак (в лазарете барак носил гордое название «корпус») и судорожно перебирали прозрачными пальцами тонкие лагерные одеяла. Подсяду к кому-нибудь.

— Что тебе, может, воды подать?

— Ничего не надо. Конец мне...

— Ты что это? Мы с тобой еще на воле встретимся, покурим всласть да по рюмке выпьем.

— Эх, мамаша, чуток пораньше бы, я может, встал бы еще... Теперь все.

— Брось ты об этом,— говорю ему, я еще твоих детей нянчить буду.

Он вроде улыбнется, или мне так покажется. Ведь арестантское лицо после тюрем, это не со-

всем человеческое лицо. Он будто улыбнется, сухие губы чуть дрогнут, потом тело вытянется и — готов. Тут же его санитары подхватывают: надо сразу рубаху снять, пока теплый. А замерзнет, придется ее резать.

Жаль рубаху.

Лариса

Я тогда бесконвойная была, по пропуску ходила, значит, новости узнавала первая. Моя землячка Маша Сергиенко, молодая, не совсем еще порченная, работала в отряде ВОХРы прачкой. Как-то раз летом она услышала, что ночью пригонят большой этап из России, из самой Москвы. Я сказала Тиле, и поутру мы пошли с ней вместе узнавать: куда поместили новеньких. Мы их не нашли, в нашу зону они не попали. Я выспрашивала возчиков, тоже бесконвойных,— нет, и на дальние подкомандировки никто не прибывал. Но от лагерника правды не спрячешь, у него слух и нюх — что у той ищейки. Отыскался след этапа. Наш экспедитор возвращался в ту ночь на грузовике из Долинки, он слышал за кладбищем, где начиналась глубокая лощина, частые выстрелы.

Весной из-под снега показались черепа и конечности мертвяков, куда слетались большущие стаи ворон. Нас, бесконвойных, на кладбище не пускали, за кладбище — и подавно, но мы уже все знали. Сколько тысяч матерей, жен осиротили, изверги, сколько детей без отцов осталось...

Начальник приказал засыпать ту лощину, а заодно — перепахать все поле-кладбище. Послали вольного тракториста, но он недолго пахал. Как

увидел кучи тел, оторванные руки-ноги, бросил машину и побежал назад. Его потом в психзоне видели, тронулся умом, бедняга.

Начальнички, те умом не тронутся, нет. Они и сейчас живут припеваючи в домах, построенных на нашей крови, живут на курортах, наши пенсии нищенские заедают. Никто с них за убитых-замученных не спросит... Никто...

Матильда

Могильщиком у Бренделя работал украинский националист Верба, необычайной физической силы мужик. Копать там могилы было невозможно — не грунт, а камни, валуны, их нужно выковыривать ломами. Да мерзлота. Лагерники мрут как мухи, тут уж не до могил... Бандеровец Верба заболел, куда делась его былая сила. Теперь он просто сваливал покойников, с бирками на ногах, на дно общей ямы, чуть присыпал землей, камнями и сбрасывал следующую партию, уже поперек. Если мертвец попадался рослый, Верба сворачивал шею, прижимал голову к плечу и втискивал в яму.

От болезни Верба высох, почернел, один нос торчал, длинный, тонкий, как птичий клюв. Когда подошла его очередь, никто ему отдельной ямы не рыл, тоже свернули шею и бросили в общую яму. Смерть Вербы казалась нелепой, люди к нему привыкли, он стал как бы неотъемлемым инвентарем лагерного быта — между жизнью и смертью.

— Где Верба? — спрашивали зеки.

— У Бренделя остался...

МИНЦЕН-МАЙЕР

Ее направили в мою караганную бригаду зимой. Полуодетые, на морозе, в глубоком снегу, мы заготавливали дрова из караганника, рубили мерзлые, кривые стволы простыми тяпками, тупыми, плохо заправленными. Минцен-Майер была так истощена, что не могла отрубить ни одной ветки... Я брала у других бригадниц и собирала ей кучку. Надо же было хоть полнормы показать. Норма на человека была пять кубометров, ее и здоровый мужик, с топором, ни за что не выполнит, а тут больные, немощные женщины. Приходилось туфтить. Придет десятник с контрольным замером, пока в одном конце замеряет кучки, пока переходит к средним, я успеваю перенести с обмеренного участка в другой конец несколько охапок. Вся мокрая от пота, спешу по глубокому снегу.

...В дальнем конце стоит женщина и бьет тяпкой по одной и той же ветке. Темно уже, пора сниматься с работы, а она все рубит, рубит, рубит. Стрелок кричит: «Эй, фашистка, давай!» Она не слышит, но остановилась, не рубит уже.

— Бригадир, иди за ней! Какого х... она там стоит!

Бегу за ней, по пояс в снегу бегу.

— Товарищ Минцен-Майер, неужели вы не слышите? Из-за вас меня заставили сюда бежать...

Она не отвечает.

— Милая, что с вами?

А она как лед... Стоял мороз в пятьдесят градусов.

Я позвала людей, вытащили немку на дорогу, подошел стрелок, постучал прикладом по грудной клетке, сделал заключение:

— Пи...ц, накрылась.

И дал команду двигаться.

— Но мы не можем ее здесь оставить, ее волки сожрут,— это я говорю.

— Ни х...я, волки мертвых не жрут. Становись!

Лариса

Однажды вызвал меня кум и потребовал доносить на Тилю. «Фишман фашистка,— говорит он мне,— она и здесь шпионит за всеми. А ты, наша, русская, советская. Ну, оступилась раз в жизни, отбудешь срок, но останешься патриоткой. А Фишман — враг и умрет врагом. Таких выпускать на волю нельзя. Будешь раз в месяц писать обо всем, что она говорит, что делает...»

Я наотрез отказалась:

— Какой же она враг, гражданин начальник, она честно служила родине, у нее все близкие, и отец, и братья, и сын погибли...

А кум свое:

— Да ты не бойся, никто не узнает. Будешь раз в месяц заходить в медпункт, к старшему санитару. Попросишь кусок марли, он даст тебе лист бумаги, напишешь все, что надо, и гуляй.

Я заплакала, сделала вид, будто испугалась и опять отказалась. Больше он меня не вызывал.

ВИТЯ БЕР

Матильда

Ему было девятнадцать, работал он в ремонтной мастерской. Третья часть, оперативно-чекистская, царство кума, находилась рядом. Так вот, стали вызывать Витю в третью хату чуть ли не ежедневно. Вокруг хаты высокие тополя, она стоит на холме, всем видно, кого туда направляют. За Витей установили слежку.

— Слушай, Витька, ты что, хочешь, чтобы тебя утопили в отхожем месте? Почему тебя кум так часто вызывает?

— Ребята, клянусь, я ни при чем. Кум заставляет меня доносить на́ вас, я должен сообщать ему все: о чем вы говорите, что делаете, не изготавливаете ли ножи, пики... Вот из БУРа принесли стрелу, кум всполошился...

Витя заверял товарищей, что не дал куму подписки.

— Почему же ты продолжаешь ходить туда?

— Как же я не пойду, за мной каждый раз стрелка посылают. Кум еще надеется меня принудить...

Вите не поверили и предупредили, что если он еще раз туда пойдет, его утопят.

В тот день он не пошел на обед, остался в своей мастерской. Все пришли с обеда, инструменталка закрыта. Взломали замок и увидели Витю, висящего в петле. Он привязал веревку к верхней балке, взобрался по лестнице наверх, надел петлю на шею и прыгнул вниз. На груди записка, клок

наждачной бумаги. На обратной стороне прочитали:

«Товарищи мои, своей смертью докажу, что я не стукач, я честный человек, в моей смерти прошу винить кума».

Хоронили Витю так. Вырыли яму и сбоку, в самом низу — еще одну яму, для тела. Гробов там не было, люди не хотели, чтобы земля засыпала его честные глаза. Вскоре на могиле Вити появился огромный камень — трактористы приволокли. Внизу надпись:

ВИТЯ БЕР.
ОН БЫЛ ЧЕСТНЫМ ТОВАРИЩЕМ.

Чьи-то добрые руки выдолбили эти буквы зубилом. Кум распорядился убрать камень с могилы. И еще раз убил Витю Бера, убил зримую память о нем.

Витя рассказывал, что его мама была учительницей. Где она теперь, в восточной, в западной Германии? Пусть узнает о последних днях сына. Пусть узнает имя убийцы. Кума звали ЕРМОЛЕНКО.

ИРЕН

Сколько лет прошло, сколько людей умерло у меня на руках в лагерных бараках. Но эта... Ее привезли к нам в Саратовскую тюрьму. Камера набита до отказа, но ее силой втолкнули, дверью прижали к толпе, она кому-то наступила на ноги...

— Куда лезешь, падло!

— Я не знаю, меня дверью прижали...

Я говорю:

— Доченька, иди по стенке, иди так, как-будто ты на катке, не поднимай ноги, скользи, скользи. Я тебе руку подам, и ты дойдешь до серединки. Так она и сделала, а я ее притянула к себе.

— Откуда ты?

— Из Москвы.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Сколько тебе дали?

— Двадцать пять.

— За что?

— Я рассказала анекдот. Я боюсь, я теперь очень боюсь... Не спрашивайте меня, пожалуйста...

— Меня ты не бойся. Я тебя своей грудью защищать буду.

— ... Она жила в Зарядье — на этом месте стоит теперь гостиница «Россия»,— шла домой и увидела на памятнике Минину и Пожарскому фанерку с надписью:

СМОТРИ-КА, КНЯЗЬ, КАКАЯ МРАЗЬ
В СТЕНАХ КРЕМЛЕВСКИХ ЗАВЕЛАСЬ.

Фанерка эта на ленточке, была надета на руку Минина, протянутую к Кремлю. На другой день Ирен пришла в школу, она училась в девятом классе. «Девочки, я читала — на руке у Минина было написано...» — и повторила. Тотчас комсорг побежала в учительскую, через десять минут в школу прибыл агент НКВД и девочку увезли.

«Когда меня осудили на 25 лет, мне сказали, что если я об этом еще кому-нибудь расскажу, меня расстреляют».

Она попала в наш лагерь, немецкий. На тяже-

лых работах — мы выкапывали из плотины огромные камни, вот как эти тумбы,— она надорвалась, у нее мензес начался страшный, кровь пошла кусками... Она знала, что я фельдшер.

— Тетя Матильда, что со мной делается?

— Деточка, я поговорю с доктором, чтобы тебя оставили в зоне. Иначе это пагубно скажется на всей жизни.

Ирен лежит на нарах, плавает в крови. А нары были из жердей. Не из досок — из жердей. По желобам стекает кровь. Зашла в барак врач.

Ирен просит:

— Доктор Таня, что мне делать, у меня кровь течет.

— Выходи на работу! Будешь тут валяться!.. Это у тебя с недо...

Неподалеку лежала Миня Дворецкая, мать шестерых детей. Она тоже обращается к доктору:

— Тетя Таня, мой колофа не держит... Хочу колофа поднять, а он вниз...

— Это у тебя с пере... Давай, давай, выходи!

Доктор вышла. Миня спрашивает:

— Вас ист дас, с пере...?

Ирен тоже спрашивает:

— Что это такое, «с недо...» Какая это болезнь?

...Ирен, девочка, какая она была красивая, какие у нее были чудные волосы. Куда она потом делась, не знаю.

Лариса

А я знаю. Ее отправили в дальний ОЛП, тоже женский. Начальником там был один армейский

капитан, из штрафников. Он не пропускал ни одной бабы. Сидит себе в конторке и наблюдает из оконца. Увидит какую помоложе, поманит пальцем:

— А ну подь сюда.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

— Тебя как зовут?

— Воронкина, Зинаида.

Начальник задумается, повременит несколько, да где там, разве всех упомнишь.

— Зинаида, Зинаида... Ты у меня, кажется, на отметке не была, а?

— Да что вы, гражданин начальник, я только вчера прибыла.

— Тем более. Придешь ко мне после отбоя. Охране скажешь — я велел.

Их было у него в зоне более пятисот. Всех он, может, и не перепробовал, но старался. Мы его так и звали — «санпропускник».

Мне потом на воле подруга рассказывала — она большая книжница была — про одного римского императора. Ему каждый день после обеда новую приводили, из пленных рабынь. Я про римских императоров не читала, довольно своих.

Вот к этому капитану и попала бедная Ирен, недоучившаяся школьница. Она все Матильду вспоминала, плакала. Капитан, как у него заведено было, использовал Ирен. Она родила, ребенка отобрали, а ее отправили с первым же этапом дальше.

У всех мамок детей отбирали, куда-то их девали. Я думаю, из них выращивали государственных охранников-пограничников или конвоиров.

Судьба Ирен могла постигнуть и мою младшую сестренку, Люду. Ее тоже забрали в семнадцать лет, когда мы жили в Белореченской. Она шла домой из булочной, несла в руках полторы буханки черного хлеба. Видит открытый вагон у самого перрона, внутри — мать с двумя малышами. У одного красные ножки, он замерзает, второй — у материнской груди. Старший просит: «Маты, хлиба!» Мать увидела школьницу с хлебом: «Девочка, девочка, дай хлеба, дети помирают...» Люда отдала полбуханки. Сзади возник мужчина.

— Фамилия!

— А вам зачем?

— Я тебя спрашиваю. Фамилия!

— Что я вам сделала?

Мужчина вытащил красную книжечку.

— Пройдем.

Он привел ее в отделение НКВД. На железной дороге тоже соблюдали государственную безопасность. Людмиле велели немедля принести паспорт. Она пришла домой в слезах:

— Папа, что со мной сейчас случилось...

— И в кого ты такая истеричка? Ничего тебе не сделают. На паспорт, иди объясни, как было дело, и тебя отпустят.

Она пошла и не вернулась. Люду обвинили в пособничестве врагу и дали десятку, отправили на Север. Пропала моя сестренка...

ВОЛОДЯ КУЛАМОВ

Матильда

Был у меня в мужской зоне, в поселке Байчегир, сынок, я так его и звала, я считала Володю сыном. Ему едва минуло шестнадцать, он очень страдал от голода. Увидел как-то щенка в зоне, заманил к себе в барак, удавил и спрятал тушку на нарах, под голову. Стукачи донесли, Володю выволокли раздетого на двор, привязали к столбу возле ворот. Мороз стоял 45°, в этот день на работу не выводили. Ко мне прибежали в медпункт и сообщили, что случилось. Я, как была, в одной майке, побежала к воротам. Володя уже ничего не чувствовал, висел на веревках, уронив голову... Его привязал к столбу стрелок. То был зверь, настоящий зверь, не человек. Фамилия палача Полулях. Он увидел меня, кричит:

— Хвышман, я тебэ ось...

Поднял винтовку, прицелился.

Я разорвала майку на груди:

— На, стреляй, гад!

И кинулась к бараку:

— Товарищи, выходи! Все выходи! Спасайте Володю!

Я готова была восстание поднять. Мужчины выбежали из барака, кинулись к воротам и... остановились.

— Товарищи, что же вы смотрите, пусть стреляет, всех не перестреляет.

Я подбежала к Володе, за мной другие, развязали узлы, подхватила закоченевшее тело, взвалила на плечи — откуда силы взялись — и понесла в свою кабину, в санчасть. Начала оттирать

его снегом. Сама была слабая, истощенная, позвала на помощь освобожденных от работы зеков, старых работяг. Они бегали за снегом, вместе оттирали. Я достала пузырек с заветными 50 граммами спирта, зажала мальчику нос пальцами, влила в рот. Только тогда Володя открыл глаза...

Я прыгала, я пела, плясала, вместе со мной радовались старики. Они принесли еще снега, в руках носили, у нас не было ни одной миски, даже банки, не было ничего.

Володя выжил, поправился. Весной, к моему дню рождения, он подарил рисунок: мальчик с девочкой преподносят мне цветы... Он был способным художником, Володя Куламов. Его потом куда-то этапировали, потерялся след сынка. Может, он живет теперь в родном Грозном.

Я не хотела оставлять без последствий подлого поступка охранника и передала с одним вольным человеком жалобу в управление Карагандинского ИТЛ, в село Долинку. Я просила убрать Полуляха, наказать его. Но ему все сошло с рук. Наказали меня, убрали из медпункта мужской зоны. И вновь я попала на общие работы, на гибель.

СЫН ЛАРИСЫ

Лариса

Помню Володю Куламова, его Матильда спасла. Мой младший Лёня тоже чудом остался жив. Нет, в лагерь он не попал, но досталось ему не меньше. Немцы в Белореченскую пришли на второй год

войны. Лёне было двенадцать лет, он голодал, искал банки из-под консервов на помойках, вылизывал. Немцы его схватили, дали поесть, но даром кормить не стали, а поставили пастухом, перегонять стада коров с Кубани — через Румынию в Германию.

Прошло много лет, я встретилась с Лёней, узнаю — у него другая фамилия, Стахурский. Посмотрела документы, он стал поляком, и год рождения вовсе не его. Когда их, подростков, погнали в лагерь, прошёл слух, что русских будут убивать. Тут случай вышел, помер мальчик-поляк, который с Лёней шёл. Лёня взял его документы, а свои выкинул. И стал Рышардом Стахурским, сошёл за поляка, жив остался. Потом он долго скитался по разным странам. Он у меня немецкий знает язык, английский знает, французский, румынский и ещё... Лёня, спрашиваю, откуда ты знаешь столько? Ведь ш е с т ь языков, я посчитала. Ты же в школе мало учился.

— Мама, когда жрать захочешь, за месяц выучишь любой язык, хорошо выучишь... И гнали меня отовсюду, и били. Бывало, хлеба попросишь, а тебя бьют, бьют, только кровь соленая во рту... Мама, ни одного ласкового слова я не услышал в те годы, ни один человек ни разу меня не пожалел.

Матильда

В конце войны и после падения Берлина в лагеря погнали миллионы русских солдат. Многие попали в немецкий плен еще в начале войны, жертвы сталинского военного гения. В нашем

лагере они умирали тысячами — от голода, холода, изнурительной работы. Скольким я закрыла глаза... Сколько их, умирая, просили: «Тетя Матильда, ты выживешь, выйдешь на волю. Сходи в церковь, поставь хоть за три копейки свечку Николе Угоднику».

...И я хожу в по церквам, пока ноги носят, и зажигаю свечки. Молодые ребята остались в лагерной зоне не оплаканные, без могил, без последнего материнского взгляда...

ИОГАНЕС Фон БРЕДО

Это случилось в Медине, на овцеферме. На лагпункте я была лекарским помощником, лекпомом. Сама и врач, и фельдшер, и медсестра, и санитарка в одном лице. В зоне содержали военнопленных. Одного офицера, бывшего капитана подводной лодки Иоганеса фон Бредо, назначили чабаном. Когда он проходил мимо солдат, они вставали по стойке «смирно» и честь отдавали. Я спросила их:

— Что это вы ему честь отдаете, вы де не в Германии.

— Когда мы учились в школе, нам все учителя говорили: «Старайтесь быть таким, как он...»

Фон Бредо был знаменитым капитаном. Солдаты ему каждый день туфли чистили. Но вот блатные украли туфли, а уж зима пришла. Капитан стоял на т ы р л е, на голой, вытоптанной площадке, где овцы собирались на водопой. Он стоял босой, а рабочий день — так называлась эта каторга — тянулся с пяти утра до пяти вечера. Увидела я босого на тырле и отдала свои старые

валенки (новые водились только у блатных и придурков, то есть, у начальничков из зеков). Уж как он меня благодарил... «Мути (мать), сколько буду жить, никогда этого не забуду. Посмотри на Большую Медведицу, вот на ту звезду, как меня спасла Русская немка». Я доставала ячмень у пастуха, что пас волов, варила. Кашу готовила на горькой солончаковой воде, ею люди травились. Но другой не было, кругом одни солончаки. Ложка каши на такой воде — это жизнь. Капитан ел горячую кашу и плакал. «Никогда, никогда, до самой смерти не забуду, мути, мути... Суждено было Иоганесу фон Бредо выжить. Года два промучили военнопленных немцев, многие погибли, оставшихся вызывали в Долинку, в Управление. Все решили — на казнь везут. Но вот вернулись возчики и рассказали, что немцев одели в чистые телогрейки, выдали новые брюки, чистые матрацы и посадили в поезд. Капитан просил передать мне, что их отправили домой.

КОМБРИГ ВЫСТАВКИН

Лариса

Комбриг Выставкин попал к нам в Просторное во время войны. В каком он до этого лагере был, не помню. Его забрали в тридцать седьмом. Он жил в Москве, близко знал Тухачевского, и когда маршала объявили врагом народа и шпионом, стал готовиться к аресту. «Я не был женат, жил с матерью. Сам собрал вещи, уложил в чемодан — смену белья, мыло, зубную щетку. Пришли за

мной поздно ночью. Мать, увидев гостей, пошла на кухню сварить кофе.

— Мама, не суетись,— говорю ей. Она ничего не понимает, меня уже повели к выходу, а она все еще ничего не понимает... Когда я ей сказал, что меня арестовали, она упала замертво. Кинулся к ней, нет, хотел кинуться,— агенты схватили, крепко держат. Не дали проститься».

— Сталин не знает, что творится, он бы не допустил.— Сказала я.

Выставкин прикрикнул на меня:

— Да ты не стукачка ли? Или притворяешься?

Я и Матильде то же самое говорила. Не скоро дурман выветрился...

ПРОФЕССОР КИШ

Матильда

На воле профессор Киш преподавал анатомию в Саратовском медицинском институте. Однажды нам с ним выпало задание — возить кизяк для ВОХРы. Кизяк — это высушенный овечий навоз, ВОХРа — военизированная охрана, наши добровольные палачи. Ну а наблюдать за нами поставили уголовника Федьку и проститутку Шурку. Это уже другой сорт палачей, внутри зоны. У них есть плетки — погонять быков, у них есть суровые бинты для перевязывания бычьих ног. И доски на санях, иначе как же его возить, кизяк? И широкие рогожины подстелены. Они с удобствами едут на своих досках, а мы — хоть пешком по глубокому снегу иди... Но пристроилась я на палке, а

профессор сел сбоку, еле держится и приговаривает: Я не могу больше страдать. Лучше умереть.

Едем, едем, у профессора идет кровь, вместе с мочой льется. Я кричу:

— Федя, Федя, постой!

Он оглянулся:

— Какого х... тебе надо? И не остановился.

Смотрю, далеко-далеко вешка стоит. Я молодая еще была, всего тридцать шесть лет, я побежала, вытащила вешку из мерзлой земли. Теперь у нас на двоих будет одна палка, быков подстегивать. А без палки, без кнута быки не шли. Стоит бык на месте, хоть искричись вся. Федя знал, как с ними обращаться. Как крикнет: «Цоб! Е... твою мать!» — бык трогается. Случалось, бык заупрямится, ляжет, тогда Федя-блатарь возьмет хвост в руку, рванет, бык мигом поднимается... Это все я подсмотрела.

Едем. Снег глубокий лежит. По одну сторону дороги — волчья свадьба, по другую сторону — другая волчья свадьба. Мы по колее едем, волкам до нас и дела нет. Они, наверно, сыты были. Может, вместе с воронами человечинкой полакомились. Профессор смотрит на них в ужасе:

— Я боюсь, они нас сейчас сожрут — и плачет. Он плачет, слезы стекают по усам, замерзают на щеках. Тут у профессора бык стал. Он слез с жердочки, подошел к быку и что-то будто сказал ему на ухо. Мне стало смешно, я остановила своего быка, подошла к профессору. Он попросил: «Будьте так любезны, закройте свои уши». Я сделала вид, будто уши закрыла, а сама слушаю. Профессор робко, неумело говорит быку: «Е...твою мать, ты будешь меня слушать?» Бык не понял. Тогда я подошла: «Пожалуйста, оставьте».

Отвела профессора в сторонку, к своим саням, подняла палку, как крикну: «Цоб, е... твою мать!» Пошли наши быки, как миленькие пошли...

Наконец прибыли на место, где лежали штабелями квадратные плиты кизяка. Как же его грузить? У нас всего две палки. Федя приказал Кишу: «Ну-ка, открой рот». Увидев во рту золотые коронки, сказал уверенно: «Вот эти два зуба я возьму, а ее на ночь оставлю».

Грязный, гнусный урка... Я похолодела. Профессор вновь открыл рот, показал Феде другую сторону: «У меня есть еще один зуб. Возьмите его, только ее не надо трогать. У нее дети».

Он ничего обо мне не знал, профессор Киш.

Блатной взял инструмент, другой рукой обхватил голову и вырвал одну за другой три золотые коронки. Чем он орудовал? Это были не клещи и даже не плоскогубцы, а ключ гаечный. Он прихватил нижнюю губу, порвал рот моему спасителю. Нижняя челюсть у него повисла. Я заплакала.

— Профессор, родненький, я не могу, я...

— Нет, надо быть гордым. Это не человек. Это свинья проклятая... Нет, лучше я погибну.

За три золотые коронки наш благодетель Федя выдал нам две большие рогожины, мы погрузили кизяк и двинулись в обратный путь. На наше несчастье поднялась сильная метель. Меня давно научили: если попадешь в метель, освободи вола от уздечки, возьми за хвост, намотай покрепче на руку и дерни, да не забудь заветные слова. Бык сам приведет тебя к скирде сена или жилью. Я так и сделала.

...Профессор ехал уже лежа, совсем замерз. А я шла, я шла, ногами переступала, сколько

могла. Наконец мой бык привез нас жилью, там была скирда сена с жердью сверху, бык подцепил ее рогами. Я закричала: «Спасите, спасите!» Мы очутились около кухни, крики услышал истопник. Появились люди, нас стали оттирать снегом.

Профессора спасти не удалось. Он заболел двусторонним воспалением легких, долго лежал в бараке, а когда его забрали в санчасть, было уже поздно.

Его звали Гарри Готфридович КИШ.

НА ВОЛЕ

Лариса

Я вышла на волю раньше Тили, но мы сговорились уехать отсюда вместе. Потом она сказала, что сразу ехать в Россию нельзя: кто нас примет, кому мы нужны? И верно, в родной Белореченьке у меня никого не осталось. Я писала соседям по многу раз, никто не ответил, лишь перед самым освобождением получила письмо. Родители померли — мама раньше отца, нашу квартиру занял военный с семьей, сын не объявился, сестра сгинула в лагерях.

Ну, освободилась я, поехала в Долинку, взяли меня судомойкой в вольную столовую. Думала, дождусь здесь подруги, а там решим, куда податься. С полгода проработала в столовой, отъелась, стала на женщину похожа, умудрилась платье купить, обувку вольную. Тут и Тиля заявляется. Выдали ей справку об освобождении из

лагеря, но паспорта не дают. Мне дали, ей нет. С немцами со всеми так. Тиля надумала податься в Джамбул, там знакомые обещали в больницу взять на работу. А мне так захотелось домой, до слез захотелось. И дома нет, и родных никого, а вот захотелось хоть глазом одним взглянуть. Подругу ждать — может, ее никогда не отпустят, их всех на высылку отправляли. Бог даст, свидимся...

Расцеловались мы с Тилей, поплакали вместе, и она проводила меня до автобуса на Караганду. Туда немцев тоже не пускали. Рассказывать как домой приехала, не стоит, все было как соседи описали. Хотела сначала в Краснодар податься, все ж город южный, сытный, но испугалась: в большом городе больше охранников, опять заметут. Посоветовала мне одна бывалая женщина обосноваться в Майкопе. Городок тихий и Белореченская рядом. Я ведь о родных думала, вдруг объявятся. В Майкопе устроилась в рабочую столовую, заведующая хорошая попалась, но посмотрела паспорт — откуда я приехала,— велела прописаться сначала. И началось... В милиции сказали, что город режимный, центр Адыгейской автономной области, и таким, как я, здесь делать нечего. А то вышлют туда, откуда приехала. А на работу без прописки не берут.

Пошла я искать хозяина с авторитетом, который имел бы блат в милиции. Не нашла такого. Это как в лагере, пока не обживешься, тебя топчут. На время поселилась у одной старушки, она меня за дешево пустила, только прописать не захотела, боялась этой прописки, как черт ладана. Хотела устроиться уборщицей в швейную мастерскую, согласна была на любую работу, но и там

без прописки не взяли. Вот на какие качели вольные попала. Заведующая мастерской посоветовала обратиться в редакцию газеты «Адыгейская правда». Спасибо за совет, только эта самая «Правда» не про нас. Пошла я опять в милицию, попала к другому начальнику, к замполиту. Это по-русски означает заместитель по политической части. Сидит за большим столом, развалился, еле в кресле умещается, точно наш лагерный начальник, сидит, щупает меня наглыми глазами,— ну, настоящий замполит.

— Нет, Савельева, прописать мы тебя не можем, у тебя в паспорте пункт 39 Положения о паспортизации, значит, в большом городе тебе не место.

— Как же мне быть?

— Ты не расстраивайся. Мы тебе поможем. Пойдешь работать в нашу столовую.

Начальник поднялся, по имени назвал, по спине погладил.

— Но предупреждаю: веди себя прилично, никому воли не давай. О прописке не беспокойся.

И началась моя новая вольная жизнь. Этот замполит, в возрасте уже, оказался таким развратником, что и лагерным уркам не снилось. Целый год отработала я в ихней столовке, надо было прописку закрепить. Наведывалась к себе, в Белореченскую, узнала, будто в Харькове объявился двоюродный брат. Мы с ним не виделись с детства, теперь у него уже двое детей, живет в своем доме. Поехала к брату. Дом оказался домиком на окраине, но я осталась там, занялась хозяйством, детьми. Брат с женой рады, а настоящего чувства нет. Он партийный, она в школе преподает историю. Им не понять нас, лагерников.

Я хоть по дому все делала — и готовила, и стирала, и ремонт сама,— спасибо, в лагере обучили, а все ж хотелось денег заработать. Пенсию мне определили в тридцать рублей, это на один раз на базар сходить. Нанялась к одному генералу семью обшивать. Он платил хорошо, поначалу был такой обходительный, потом начал тоже безобразничать. Устроилась в столовую официанткой — там еще хлеще.

...В Белореченской тюрьме, в тридцать восьмом году, начальник однажды вызвал к себе, напоил спиртом и повалил на диван. С того раза и пошло. Как только не измывались надо мной начальнички и все — партийные. Тот, тюремный, добрый был, давал поесть, в чистую камеру поместил, с кроватью, с одеялом. Он меня долго не отправлял на этап, жалел. От других куска хлеба не дождалась. ... И лютовали они жестоко. Женщина для них, что пыль дорожная. На волю вышла — один черт! Каждый норовит у тебя отнять что-нибудь. А что можно взять у бедной женщины? Сидят жирные коты в своих хоромах, твоя нужда, твоя беда им до фени.

Одна Матильда меня понимала, да где она, моя подружка Тиля? Тут подошел съезд партии, на нем выступил Хрущев. Газет я не читала, ни к чему они мне. И на этот раз схитрили вожди, не напечатали речи Никиты Сергеевича. Дома брат с женой чего-то шепчутся, таятся от меня. Днем, когда они на работе были, я нашла в шкафу документ — закрытое письмо партийное. Вообще, неувязка получается: «Партия и народ едины!», а правду от народа прячут. Прочитала я про Сталина — вот когда у меня глаза открылись, вот кто наш главный мучитель. А я на него молилась, всю

жизнь молилась, думала, это начальники на местах перегибают. Он же, Отец Родной, ни о чем таком не ведает. Прочитала письмо — молчок, брату ни слова. Он потом сам заговорил, дескать, скоро невинным осужденным будут новые документы выдавать, может и пенсии назначат человеческие и жилье дадут. И называется все это *реабилитация*. Он говорит, а я не верю. Не верю и все. Начнут ворошить старое, поднимать *дела*, глядишь, снова упрячут туда, куда Макар телят не гонял. Если б они нас вправду жалели, почему после смерти Сталина не выпустили? Они амнистию ворюгам дали, спекулянтам да хулиганам, а нас подыхать оставили за проволокой. Нет, новой власти мы тоже не нужны. Лучше я уж из Харькова уеду куда-нибудь подальше на Север, сама уеду, без конвоя.

Брат не хотел меня отпускать. Подавай, говорит, заявление о реабилитации. А зачем она мне, реабилитация? Что мне из нее щи хлебать? Мое дело поступило к ним и будет принято решение. Это брат подал заявление вместо меня, и все сделалось. Вызвали еще раз и выдали справку: «Ваше дело пересмотрено и за отсутствием состава преступления производством прекращено». Значит, не было преступления, было дьявольское производство. Столько-то миллионов загублено, столько-то осталось калеками, столько-то — сиротами. Сколько, никто не знает.

Я спросила, как насчет средств к существованию, как получить жилье. Ответили: деньги, двухмесячный оклад можете получить по старому месту жительства, а квартирами мы не распоряжаемся.

Умылась я этими словами и пошла домой.

Проводила Ларису и будто осиротела. После лагеря меня оставили навечно в далеком Казахстане, в городе (все же в городе) Джамбуле, без права выезда, на спецпоселение. Я продолжала писать в Москву заявления. В 1956 году получила, наконец-то, ответ из Верховного Суда СССР: мое дело пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления. С этой справкой я поспешила в комендатуру. Дежурный офицер, казах, забрал мою справку, обругал матом.

— Убирайся вон!

Я заплакала. Комендант ударил меня по лицу. И еще раз. Сломал нос, выбил зубы. Я закричала, в кабинет вошел другой комендант, старший.

— Отдай женщине документ,— приказал он.

Старший офицер взял от меня расписку, я запомнила текст: «Даю настоящую расписку в том, что мне объявлено об освобождении из спецпоселения без права возвращения на место, где ранее проживала. Мне также разъяснено, что строения и другое имущество, конфискованное у меня при аресте, возвращению или возмещению не подлежит... мая 1956 г.»

Я запомнила фамилию доброго начальника — Виноградов. По его записке мне в милиции выдали паспорт. В Москву я выехала не сразу, хотелось на месте подработать немного, одеться прилично, только из этой затеи ничего не вышло.

...В двадцатом году была у меня в Харькове подруга, Надя Галембовская. Я работала в губерн-

ской ЧК, Надя жила у меня. К ней я и пришла в мае пятьдесят седьмого, приехав в Москву. Она работала в Министерстве тяжелой промышленности, а проживала на улице Богдана Хмельницкого. Я нажала на кнопку звонка, Надя приоткрыла дверь, увидела меня и сказала: «Матильда, я тебя принять не могу».

Пошла я на Курский вокзал, на самый пятачок, улеглась на скамье. Тут же появился милиционер.

— Что, пришла подработать?

...Я заплакала.

— Давай документы. Ну вот, с такими документами, а валяешься на скамейке...

— Куда же мне идти?

— В гостиницу.

— У меня нет денег.

— Это не моя забота. Чтоб я тебя больше здесь не видел.

Шла я по проспекту Мира и набрела на Пятницкое кладбище. Там, за церковью, на мраморной могильной плите я провела свою первую ночь после выхода на волю в любимой столице. Какое же это счастье, вытянуться во весь рост и спать на камне, положив под голову камень. В лагере подушкой мне служили два кирпича, вот и сгодилась привычка.

Утром пошла в Красногвардейский райком — там я состояла на партийном учете перед арестом. Принял первый секретарь.

— Где же ты раньше была? Вот если бы ты пришла сразу, в пятьдесят пятом году, когда тебя освободили, мы бы тебя и в партии восстановили и квартиру дали бы.

— Меня же оставили на спецпоселение, я отмечалась два раза в комендатуре, утром в семь часов и вечером в семь. Подписку с меня взяли: в случае неявки на отметку мне дадут двадцать пять лет каторги.

— Товарищ Фишман,— секретарь перешел на официальный тон,— я вам сказал все. Вы свободны.

И осталась я свободной от всего: ни партбилета, ни квартиры, ни работы, ни денег. На кладбище жить нельзя было. Меня засек сторож и позвал милиционера.

— Чтоб твоего духа тут не было! А то посажу! — Предупредил он.

Я ушла, а как только стемнело, вернулась, набила сторожу морду (чему-то меня лагерь научил) и покинула это место. Добралась на пятом трамвае до улицы Горького, того самого, который провозгласил: «Человек — это звучит гордо». Вагоновожатой я сказала, что прибыла из лагеря, денег нет.

— Ну, а если контролер нагрянет?

— У меня все равно, кроме телогрейки, ничего нет.

Наш разговор слышала одна старушка, она посоветовала мне пойти на Ваганьковское кладбище и собирать там бутылки. Их принимают в специальных пунктах. Я пересела на другой трамвай, добралась до Ваганьковского кладбища. Решила устроить логово подальше от входа, близ железнодорожного моста. Там можно было просто пройти через ограду. Приметила бездомную рыжую собаку, грязную, худющую. Значит, не одна буду здесь жить. В первый же день собрала пустые бутылки — поминки народ отмечал водоч-

кой — сдала в приемный пункт, купила булок французских. Теперь они — «городские». Взяла колбасы, поделилась с собакой. Она вскоре привыкла ко мне, спали вместе, согревались. Зароюсь носом в собачью шерсть, тепло, уютно... Но сон был тревожный, от всякого шороха просыпалась,— не идет ли кто? Ворона перелетела с дерева на дерево, сучки падают, я вздрагиваю. Утром сбрасываю с лица сучки, смотрю в небо: который час?

Первая покупка — сумка для бутылок. Легче стало носить, но настали холода. Вот и праздник нашей революции, 7 ноября. Я уже жила культурно, покупала себе «Вечернюю Москву». В этой газете прочитала, что скончалась старая коммунистка Надежда Голембовская и что гражданская панихида состоится в клубе на улице Стопани. Решила пойти, не постеснялась. Надо же было случиться такому, в клубе меня увидел соратник по гражданской войне в Крыму, Иван Дмитриевич Папанин. Теперь он знаменит, депутат Верховного Совета, Герой Советского Союза, одних орденов Ленина шесть, если не больше.

— Мотылек, ты ли это? И что это за вид? Где ты живешь?

— На кладбище.

— Как это? Брось шутить. Я все знаю, но тебя должны были реабилитировать...

Я рассказала о своих злоключениях.

— Ты знаешь где находится моя контора? Завтра же утром приезжай ко мне.

...Пропуск на мое имя уже был заказан. Папанин познакомил меня со своими сотрудниками, секретарь принесла из буфета чай с бутербродами, а я беззубая, не могу есть. Иван Дмитриевич повез

меня на своей машине в райком, к тому же секретарю. Встретили его с превеликим почтением, в приемной задержали всего минуту. Он вошел в кабинет, я чуть замешкалась. Первый секретарь, увидев меня, рявкнул:

— А ты куда?!

Я попятилась, но Папанин взял секретаря в оборот:

— Ты на кого кричишь? Ты на кого кричишь, ... твою мать! Или тебе надоело здесь работать?

Обложил его крепко, потом рассказал обо мне, о нашей семье.

— Дай-ка мне список реабилитированных на получение жилплощади.

— У меня список на квартиры в-о-о-т такой.— Секретарь развел широко руки. Принесли список. Папанин вычеркнул первую сверху фамилию и вписал мою.

— Это же генерал.— Заметил секретарь райкома.

— Ну и что? А она адмирал. Квартиру дашь ей немедленно!

На этом и расстались. Но комнату я получила только через семь месяцев.

При райкоме функционировала комиссия старых большевиков. Ее председатель, Яков Менкис, сказал мне:

— Молись, что тебя в Москву пустили.

— Кому молиться, почему молиться? Мне теперь квартиру дадут.

— ... (он произнес необходимое слово) получишь!

Поселилась я на Ленинградском проспекте в общей квартире; в комнате площадью девять квадратных метров,— ни одного метра сверх москов-

ской нормы. Началась новая жизнь, надо познавать ее законы. Присмотрелась и поняла, что есть возможность обменивать свою жилплощадь, с доплатой, в обход законов. Пенсию мне назначили мизерную, 60 рублей — за мужа. У меня никогда не было мужа, предстояли новые хлопоты. Написала в Комиссию по установлению персональных пенсий при Совете Министров, только не о себе, о брате. Ему тоже назначили пенсию в 60 рублей. Прибавили брату, заодно — мне. Дали 120 как члену партии с 1920 года.

Чтобы скопить денег для обмена, отказывала себе в еде, овсяной кашей питалась. В те годы квадратный метр жилплощади стоил на черном рынке 120 рублей. После трех обменов я въехала в комнату размеров 18 метров. Но важнее этого дела, важнее всего я считала розыск мамы. Я узнала, что ее сослали в Омскую область.

...Когда меня арестовали и привезли домой для обыска, мама крикнула агентам НКВД: «Моих сыновей расстреляли в Крыму, это сделала белогвардейская банда. Теперь схватили дочь. Какая банда ее забирает?»

Начался обыск. Мама спросила:

— Матильдочка, а если меня возьмут?

— Тебя не возьмут. А если все же возьмут, я тебя разыщу.

...В селе Горьковском Омской области мне рассказали о старой обезумевшей женщине, с размытыми горем глазами. Она ходила по селам, стучала в окна и спрашивала: «Скажите, люди добрые, моя доченька не приехала?»

Я пришла слишком поздно. Мама замерзла, голодная, больная, под чужим окном. Я пришла

на деревенское кладбище, где, как мне сказали, ее похоронили. Никто не мог указать мне место, я ходила от одной безымянной могилы к другой и выла...

«Мама, я пришла слишком поздно, я пришла поздно, я не могла раньше, я была в заключении, ты слышишь меня, мама?..»

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Судьба женщины в сталинских лагерях смерти, разве она не описана в книге Евгении Гинзбург, в десятках, сотнях книг? Но недремлеющие слуги Великого Друга Женщин поставили на этой литературе печать запрета. Лишь в наши дни правда выходит в свет. Очистительная правда.

...Лето 1944 года. Центральный пересыльный пункт Печорского лагеря. Заключенный Василий Задорожный полюбил юную Марину (ее фамилия не запомнилась), тоже заключенную. Задорожный, высокий, статный украинец, офицер-фронтовик, работал помощником начальника ЦПП по труду. Эта должность, самая важная в зоне, позволяла ему спасать Марину от этапов. Некоторое время они могли быть вместе.

Меня пока, до этапа, назначили на работу при клубе, на пересылке можно было еще как-то существовать. Марина работала медсестрой в арестантском лазарете. На фронт она попросилась на второй день войны, из десятого класса. Там стала медсестрой. Ее заприметил уполномоченный СМЕРШ, распорядитель по части жизни и смерти во вверенной ему воинской части. Но именно этого красавица Марина уразуметь не могла. Уполномоченный устроил ей десять лет за «распространение ложных слухов». Тогда, да и не только тогда, правдивая информация отсутство-

вала, ее заменяли слухи, а за слух можно было засадить любого.

Марина полюбила Васю с силой отчаяния и была счастлива. Но арестантские радости скоротечны. То ли пом. по труду забыл дать начальнику очередную взятку, то ли кум на него взъелся — так или иначе Василия самого назначили на этап. Уж лучше бы на месте казнили. Для придурка (должностного лица из зеков) этап часто означал верную гибель. Блатные не упустят случай посчитаться с пом. по труду, с комендантом или с нормировщиком.

Я видел как Василия уводили за зону, ему даже не дали проститься с Мариной. Ее заперли в карцер, раздев почти донага. Но Марина сумела распорядиться своей жизнью по-своему. Она повесилась на резинке от трусов. Как ей удалось привязать резинку к решетке над дверью и засунуть голову в петлю? Но она это сделала.

Я видел женские этапы. Я бывал на женских колоннах. Помню зону в Красном Куте, под городом Печорой (тогда это был маленький поселок), где содержали младенцев, отнятых у лагерниц. Содержали? Нет — уничтожали. А те немногие, что выжили, никогда не произнесут слово «мама».

...На пересылку прибывает женский этап. После нудной, изнурительной проверки новеньких ведут в баню. Там уже поджидает жадная орава блатных и придурков. Все молодые, красивые достаются им на растерзание. Вольные начальники тоже не брезгуют свежатинкой, им поставляют отборных. Многие женщины выходят

из бани в лагерном тряпье, чуть прикрыв наготу мешковиной. Одежду надо сдавать в прожарку, то есть в дезинфекцию, если по-вольному. Приличные платья, белье, пальто,— все исчезает, «на сменку» блатари дают ограбленным грязную рванину.

Но самое худшее впереди. В лагере самое худшее всегда впереди. Через неделю-другую формируется этап на производственную колонну. Как откупиться, чем? Позади следственные тюрьмы, пытки, голод, многодневный этап. Теперь вот — колонна, каторжные работы на лесоповале, в котлованах, в каменных карьерах, на строительстве дороги. И трехярусные нары в дырявых бараках, дикий произвол охраны, жестокие игры блатных девок. И вечно серое заполярное небо, серые бушлаты, серая баланда. И неотступные мысли о детях, оставленных на воле, о стариках...

Сколько их не вернулось с Печоры и с Воркуты, с Колымы, с Новой Земли? Сколько погибло на Волге, на Лене, на Сыр-Дарье? Пять миллионов, десять, пятнадцать?..

Среди них были «указницы»; осужденные по новому Указу за прогул на производстве,— они прибывали на пересылку тысячами. Еще больше попадало за мелкие хищения. Им давали — щедро, равномерно — по пять лет за початок кукурузы, принесенный с поля голодным детям, за горсть муки. В истребительные лагеря шли и шли зарешеченные эшелоны с женами и дочерьми «врагов народа». С ними вместе — активные коммунистки, такие как Матильда.

В отряде ее любовно называли Мотыльком. Она таскала на себе тяжеленный пулемет Максим: стреляла по врагам советской власти, потом служила в органах ВЧК-ОГПУ. В Абхазском управле-

нии, в этом маленьком филиале Лубянки, стремились во всем подражать центру, завели даже особый оперативный архив. Преданный Матильде сослуживец, с риском для жизни, достал со стеллажа под грифом «ф» папку, наполненную доносами. Доносы на Матильду Фишман написали коллеги чекисты.

Уже тогда, в двадцатые годы, внутренние доносы стали обыденным явлением. Вся деятельность Органов, вся жизнь так называемых чекистов была густо замешана на зависти, злобе, жестокости. И если к началу тридцатых некоторые старые чекисты еще сохраняли крупицы человечности, генсек постарался их убрать. Для задуманной им генеральной резни такие люди не годились.

А Матильда, что могло поколебать ее фанатичную преданность власти и партии? Сколько нетленного патриотизма в этой истерзанной, заживо распятой женщине. Его хватило бы на целую армию сталинских охранников, бериевских головорезов.

Сын Матильды Антон мог ведь стать не летчиком, а работником Органов. По примеру матери. И тогда бы он пытал-убивал честных граждан, ни в чем не повинных сограждан своих. Таким он вышел из-под пресса сталинской системы воспитания.

О московских тюрьмах — внутренней (на Лубянке), о Лефортовской, Бутырской написано много. Пусть правдивое свидетельство Фишман ляжет на весы Истории, подобно сообщениям о гибели в Лефортово пятидесяти двух командиров корпусов или большевика Осипа Пятницкого и несметного числа других жертв.

Мне довелось опубликовать некоторые данные о сталинском терроре в период 1935—1941: арестовано всего 19 840 000 человек, из них уничтожено в тюрьмах семь миллионов. Остальных добивали в лагерях. Массовые казни в тюрьмах совершались до вынесения судебных приговоров, после вынесения и без суда.

В восемнадцатом году семью Леонарда Фишмана навещал в Ялте старый политкаторжанин Макар Дерябин, недавно освободившийся из Орловского централа. Он отсидел десять лет за участие в убийстве в Севастополе в 1906 году вице-адмирала Чухнина. Дерябин вышел на волю здоровым, откормленным, полным сил,— таким он запомнился Матильде. Попав потом в сталинские тюрьмы, она могла поразмышлять о царском произволе. И ссылку царскую было с чем сравнить. Разработанная и душевно опекаемая лично генсеком лагерная система во всем, до малых деталей, повторяла сработанное им государство. Две привилегированные касты, охранники и блатные — две категории уголовников, опора запроволочной империи. Та же иерархия, покоящаяся на страхе и голоде, те же бандитские нравы — пытки, убийства, провокации, доносы.

В Зоне Малой как в Зоне Большой.

У Матильды сложилось свое мнение о покорителях казахстанских целинных земель. Ей запомнились немцы. А мы назовем еще вечно ссылаемых-переселяемых тружеников-корейцев, да бывших лагерников — сотни тысяч их осталось по окончании срока на месте, в Северном Казахстане. Возвращение в Россию не сулило им ничего

кроме нового срока... Да не забыть русских эмигрантов, вернее их детей, выросших на чужбине, в Китае. В 1955 году Никита Хрущев впустил их на родину отцов, сколько тысяч — нам неизвестно. Репатриантов грабили на границе, на станциях, в дороге на Север. Как грабили — пусть расскажут очевидцы. Все это было бесчеловечно, в лучших традициях так и не изжитой сталинщины.

Вот кто поднимал целину. Комсомольцы прибудут в Казахстан потом. Их нарекут героями. Немцев же, тех, что трудились на казахстанской пашне много лет, назовут фашистами.

В военные годя я встречал на Воркуте, в Заполярье немцев, высланных с родного Поволжья. Их тоже называли фашистами. Русских, украинцев, грузин, узбеков,— всех не перечесть,— клеймили «врагами народа». Государственный аппарат дезинформации и клеветы действовал в Малой Зоне с тем же размахом, что в Зоне Большой. Это нетрудно уразуметь. Но почему Матильда, заслуженная коммунистка, выросшая в семье революционера, оказалась вместе с «фашистами»? Ее сын погиб в бою с гитлеровцами, она же сама, добровольно, направилась в фашистскую камеру.

Дикая эпоха. Перевернутый мир.

В тюрьме бывшая чекистка Матильда Фишман начала прозревать. Судьба чешки Коти Раб, профессора Готфрида Киша, русского Володи Куламова, немецкого капитана фон Бредо стала ее судьбой. Под конец жизни она решила выполнить свой долг перед замученными.

...Дочери Августа Лютгенса (живы ли они?) пусть прочтут эту повесть, пусть узнают о гибели матери в казахстанском лагере. Казнь их отца, соратника Тельмана, в гитлеровской Германии и гибель матери-коммунистки в сталинской России — это стало уже частицей всемирной истории.

Прошли десятилетия, многое изменилось в мире. Подросло новое поколение борцов. И новое поколение палачей. Вновь тащат на дыбу честных людей — за правдивое слово.

Книгу, в которой рассказано о последних днях Августа Лютгенса, назвали «Воспрянет род людской».

Воспрянет ли?

* * *

Реабилитация. Я знаю, что это такое. Тебя никто не ищет, государству ты обуза: надо пересматривать дело, обеспечить жильем, работой, пенсией, если стал инвалидом. Ты пишешь, ходишь по инстанциям, ждешь. И снова ходишь. Все делается втайне, никто не объявляет о восстановлении твоего честного имени, никто не огласит имен доносчиков, провокаторов, палачей. Ты требуешь наказания для них? Зачем смешить облеченных особым доверием товарищей, ты же видишь, им некогда — сколько миллионов предстоит реабилитировать, сколько миллионов...

Ларисе эта реабилитация была ни к чему, она ее боялась. Она вышла на волю, но страх остался. И — недоверие к властям. Другое дело Матильда. Ей нужен был партбилет — для самоутверждения. И как пропуск в сытую жизнь. Партстаж с 1920 года давал многое.

Матильда умерла в восемьдесят пятом, она тяжело болела: бруцеллез, сердце, пробитое штыком легкое... Мы похоронили ее — гроб несли вчетвером, три студента и я — на дальнем кладбище, под скупым февральским солнцем. Стандартные могильные квадраты, очерченные одинаковыми бетонными бордюрами. Стандартные квадратные участки, уходящие к горизонту. Найдет ли там успокоение ее мятежный дух? Судьба была к ней несправелива до самого конца, лишив радости обновленной жизни.

Лариса скончалась вслед за ней, через два года, так и не дождавшись своей жилплощади. После нее не осталось ничего, даже фотографий. Сохранился ее бесхитростный рассказ — пусть он послужит бедной женщине надгробием.

Матильда и Лариса назвали своих палачей — тюремных и лагерных (не всех, всех не упомнишь). Сталинисты до сих пор держат их имена в тайне. Палачам обеспечена приятная, подкрепленная солидной пенсией жизнь в просторных хоромах, на богатых виллах под Москвой и Петербургом, на Кавказе, в Крыму.

...В лагерной зоне юные арестанты просили тетю Матильду поставить в церкви свечку Николе Угоднику. Чего стоит сталинская барабанная пропаганда перед лицом смерти, когда обнажается суть человека, Ему надоело работать на Вождя. И умирать за Него надоело.

Человек просто хочет жить.

ИСТОЧНИКИ

/Краткий перечень/

ОН БЫЛ НЕОТРАЗИМ

Агабин Б. Маршал не отступил.— «Гудок», 1991, 9 мая.

Аллилуева С. И. Двадцать писем к другу. Нью-Йорк, 1981.

Бережков В. М. Как я стал переводчиком Сталина. М., 1993.

Гронский И. М. Воспоминания старого коммуниста. Записи 1977—1983 годов. Архив автора.

Джилас М. Беседы со Сталиным.— В однотомнике «Лицо тоталитаризма». М., 1992.

Лисовцев Э. Ночной прием в Кремле.— «Независимая газета», 1993, 10 сентября.

Лион В. Я. Поезд в Потсдам.— «Гудок», 1991, 9 мая.

Овруцкий Л. Развенчивание.— «Советская культура», 1988, 19 мая.

Роллан Р. Наше путешествие с женой в СССР: июнь — июль 1935.— «Вопросы литературы». М., 1989, №№ 3—5.

Рыбин А. Т. Рядом со Сталиным. М., 1993.

Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М., 1989.
Снегов А. В. Воспоминания. Рукопись. Архив автора.
Троцкий Л. Д. Сталин. Т. I, М., 1990.
Он же — в сборнике «Портреты революционеров. Веном, 1988.
Чулаки М. Я был директором Большого театра.
Эйдельман Н. Гости Сталина.— «Литературная газета», 1990, 27 июня.
Черчилль У. Вторая мировая война. Книги 1, 2, 3. М., 1991. Вторая мировая война в воспоминаниях Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Корделла Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта Эйзенхауэра. М., 1990.

СУДЕБНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Ваксберг А. И. Царица доказательств. Вышинский и его жертвы. М., 1992.
Геллер М. /составитель/. Заря советского правосудия. Лондон, 1991.
Враги перед судом.— «Пролетарская правда», Киев, 1923, 25 ноября.
«Известия», 1922, апрель — май.
Кутузов В. Ленинградское дело.— «Диалог», Л-д, 1987, № 18—19.
Ленинградское дело. Сб., Л-д, 1990.
Ленин В. И. Собр. соч. 5 изд., т. 44, с. 396—397.
Рапопорт В., Алексеев Ю. Измена родине. Лондон, 1988.
Смородин Д. Н. Открытый процесс не состоялся (Год 1937) — «Диалог», 1989, №№ 28, 29.

Сталин против Мартова.— «Вперед», Петроград, 1918, март — май.
Шумский В. Это не мои показания.— «Вечерний С-Петербург», 1993, 14 апреля.
Эвельсон Е. Судебные процессы по экономическим делам в СССР. Лондон, 1986.
Янсен М. Суд без суда. 1922 год. М., 1993.
Он же. Первый показательный.— «Независимая газета», 1992, 4 сентября.

МЕЦЕНАТ

Алешин С. Дебют.— «Современная драматургия», 1990, № 4.
Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. С-П, 1992.
Борщаговский А. М. Записки баловня судьбы. М., 1991.
Бурлацкий Ф. М. Вожди и советники. М., 1990.
Белозёрская-Булгакова Л. Е. Воспоминания. М., 1990.
Вульф В. Тарасова, ставшая привычной.— «Независимая газета», 1992, 1 февраля.
Бабиченко Д. М. Писатели и цензоры (Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК) М.,
Дневник Елены Булгаковой. М., 1990.
Дымшиц А. Добрый человек из Ленинграда.— «Литературная Россия», 1963, № 49.
Козловский И. С. Музыка — радость и боль моя. М., 1992.
Он же. Фрагменты воспоминаний. Запись 1988 года. Архив автора.

Куманёв В. А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. М., 1991.
Курганов О. И. Избранное. М., 1992.
Кожевников М. Большой театр не хочет умирать.— «Неделя», 1991, № 42.
Литературный фронт. История политической цензуры. 1932—1946. Сборник документов. Составитель Бабиченко Д. М., 1994.
Лазарева Ю. Напомнил газетный очерк.— «Челябинский рабочий», 1991, 20 февраля.
Львов-Анохин В. Театральная легенда.— «Известия», 1990, 10 ноября.
Маленькие курьезы Большого театра.— «Театральная жизнь», 1990, № 21.
Мацкин А. Пленники догмы.— «Независимая газета», 1992, 4 февраля.
Меликян Г. Донос как жанр партийной литературы.— «Известия», 1994, 26 ноября.
О Вс. Мейерхольде — «Вопросы литературы», 1989, № 6.
Нинов А. Загадки «Батума».— «Театр», 1991, № 7.
Парфёнов Л. Встречаясь с ним, люди светлели.— «Культура», 1993, 24 июля.
Петровский М. Дело о «Батуме».— «Театр», 1990, № 2.
Письмо Михаила Булгакова правительству.— «Литературная газета» — Досье. 1991, № 5.
Рыбин А. Т. Рядом со Сталиным. М., 1992.
Сталин И. В. Соч., т. XI, М., 1949, с. 326—329.
Сердобольский О. У министра Фурцевой были свои претензии к Адаму и Еве.— «С-Петербургские ведомости», 1992, 26 июня.
Сердобольский О. Солисты Большого.— «Известия», 1993, 24 июля.

Он же. Товарищ Сталин помог Козловскому спеть на бис.— «С-Петербургские ведомости», 1993, 3 сентября.

Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М., 1989.

Смолянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.

Тулин Б., Шварц В. Жизнь и смерть актера Михоэлса.— «Советская культура», 1993, 25 июля.

«Театральная жизнь», 1990, № 2

Цимбал С. Л. Актер и драматург. Л-М, 1960.

Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988.

Цитриняк Г. Танцы для вождей. Игорь Моисеев вспоминает.— «ЛГ», 1991, 10 июля, № 27.

Шварц А. Жизнь и смерть Михаила Булгакова.— «Континент», Мюнхен, 1987, № 54.

Шварц Е. Л. Живу беспокойно (Из дневников). Л., 1990.

Эпштейн Е. Горький путь познания.— «Музыкальная жизнь», 1991, № 17—18.

Юмашева О., Лепихов Л. И. В. Сталин: Краткий курс истории советского театра.— «Искусство кино», 1991, № 5, с. 132—140.

СТАЛИН И КИНО (ПОД СИЯТЕЛЬНЫМ САПОГОМ)

Бернштейн А. Я. Кино в объятиях вождей.— «Литературные новости», 1993, январь, № 23.

Он же. Михаил Геловани. М., 1991.

Габрилович Е. Осколки жизни.— «Правда», 1991, 12 августа.
Зак М. От клятвы до покаяния.— «Советская культура», 1989, 27 июня.
Корявин Л. Сталин смотрит кино.— «Семья», 1992, апрель, № 13.
Латышев А. Г. Сталин и кино — в сб. Суровая драма народа. М., 1989.
Он же. И. В. Сталин об антиленинских ошибках и националистических извращениях в киноповести Довженко «Украина в огне».— «Искусство кино», 1990, № 4.
Он же. Две Сталинские премии.— «Искусство кино», 1990, № 11.
Он же. Опиум для народа.— «Созвездие», 1990, № 1.
Он же. Растоптанный Сашко.— «Утро России», 1994, № 49.
Скороходов Г. Ушла незаметно.— «Советская культура», 1992, 1 февраля.

МАСТЕР РЕКЛАМЫ

Малахов В. Трагедия Стаханова.— «Киевские новости», 1993,
Морозов С., Смирнов К. Человек после легенды.— «Известия», 1991, 28 сентября.
Чегодаева М. Ослепление.— «Советская культура», 1989, 24 июня.
Яковлев Г. Мамлакат.— «Правда», 1981, 7 марта.

Вайнберг Н. Солист ГУЛАГа.— «С-Петербургские ведомости», 1991, 21 сентября.
Козлов А. Г. Огни лагерной рампы. М., 1992.
Куликова Т. Линия судьбы.— «Труд».
Образцова И. Крепостная актриса.— «Ленинградская правда», 1991, 12 января.
Петрушанская А. П. Разорванная жизнь. Рукопись. Архив автора.
Ясный В. К. Печорская трагедия. Абезьский театр. Рукопись. Архив автора.
Воспрянет род людской. Краткие биографии и последние письма борцов антифашистского сопротивления. М,: 1961, с. 340.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ О МАТИЛЬДЕ И ЛАРИСЕ

А. Антонов-Овсеенко

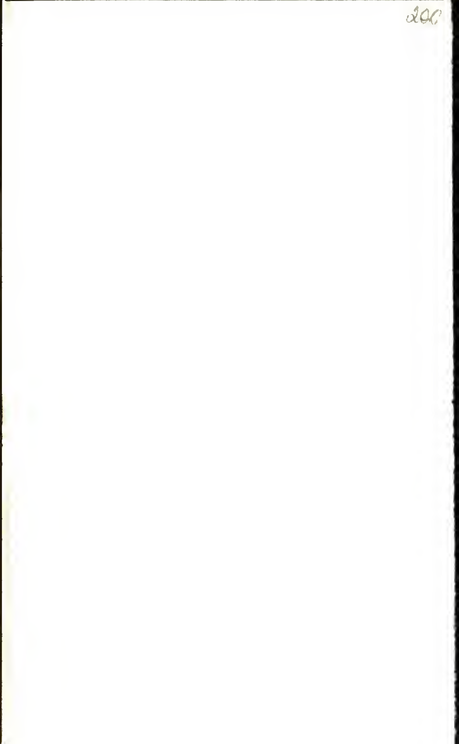
ТЕАТР ИОСИФА СТАЛИНА

ЛР—07830 от 22.01.93.

Сдано в набор 14.02.95. Подписано в печать 27.03.95. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага типогр. Печать высокая. Гарнитура школьная. Усл. печ. л. 20,16. Тираж 30 000 экз. Заказ № 2969.

Издательство «Грэгори-Пэйдж»

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Роскомпечати. 127018, Москва, Сущевский вал, 49



«ГРЭГОРИ-ПЭЙДЖ»